

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

364/3 3.2017

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации

«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи

Министерства культуры и архивов Иркутской области

Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Память

К 80-летию драматурга Александра Вампилова

Валентин Распутин. Истины Александра Вампилова.....	3
Сергей Смирнов. «И спросил, где университет...»	6
Вспоминая Саню... Встреча с одногруппниками Александра Вампилова	15

Поэзия

Александр Вампилов. Прощай-прости	24
«И буду жить в своём народе!» Стихотворный венок Александру Вампилову	28
Владимир Скиф. Да святится в веках твоё имя. Из цикла «Венок Вампилову»	72
Григорий Блехман. Так всегда — жалеешь слишком поздно	77
Светлана Анина. И в улыбке печаль затаится.....	99
Дина Фиалковская. Как трудно нынче память приручить	107

Драматургия

Александр Вампилов. Дом окнами в поле. Комедия в одном действии (вариант).....	41
Александр Вампилов. Валентина. Вариант финала	51

Литературная загадка

А. Санин. Счастье Кати Козловой (Тихая Заводь). Пьеса в одном действии	55
Валентина Семёнова. Запоздалое открытие иркутян	67

Проза

Александр Вампилов. Моя любовь. Рассказы и «Записные книжки».....	82
<i>К 80-летию писателя Кима Балкова</i>	
Ким Балков. Ямщик, не гони лошадей. Рассказы	114

Критика

Надежда Тендитник. Неразгаданный Вампилов.....	138
--	-----

Светлана Михеева. Тот самый ангел.....	147
Вера Харченко. «В театре спрессованы все времена...»	156
Оксана Грязнова. Мир писателя Кима Балкова	162
Аркадий Елфимов. Герои на все времена.....	169

Публицистика

Александр Вампилов. Весёлая Танька	172
Анатолий Байбородин. «Одинокая бродит гармонь...» <i>Очерк</i>	187
Нина Ягодинцева. О стратегии спасения Союза писателей	207
Андрей Антипин. Две реки. Две судьбы. <i>Очерк</i>	213
Надежда Зинченко. Алтарник. <i>Очерк</i>	230

Календарь

К 200-летию Константина Сергеевича Аксакова

Иван Андриевский. Русскость по Аксакову	247
--	-----

Вернисаж

К 90-летию иркутского художника Владимира Тетенькина

Иван Краснобаев. Сибирский Левитан.....	252
--	-----

«Сучиотка к феду»

Литературные пародии	256
----------------------------	-----

Хроника

Иркутские литературные события.....	261
-------------------------------------	-----

Книжная лавка

Сибирские книги	263
-----------------------	-----

Главный редактор **А.Г. БАЙБОРОДИН**
 Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**
 Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**
 Заведующий отделом прозы **С.В. ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Воронов,
 И.И. Козлов, Р.Г. Михеева, М.П. Попова, А.И. Сальников, С.В. Шегебаева

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Л.Н. Заступова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
 информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
 Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 304. Адрес учредителя: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 303.
 Телефон редакции: 48-66-80, добавочный: 300. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru

Подписано в печать 10.07.2017 г. Выход в свет: 27.07.2017 г. Формат 70х108/16.

Усл-печ. л. 22. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Е-mail: info@printline.ru Сайт: http://www.printline.ru

Отпечатано в типографии: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Р/сч. № 40702810608030001744

к/с 30101810200000000777 Банк получателя ФЛ ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск

Сч. № 30101810200000000777

БИК 040407777

ИНН/ КПП 3808086540/381201001

ОКПО 13623582

ОКПО 13623582

Память



К 80-летию драматурга Александра Вампилова

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Истины Александра Вампилова

В поэзии Николай Рубцов, в прозе Василий Шукшин, в драматургии Александр Вампилов... — кажется, самую душу и самую надежду почти в единовременье потеряла с этими именами российская литература... И, кажется, сама совесть навсегда осталась с ними в литературе...

Народ наш на удивление чуток к таланту; едва ли где-нибудь ещё, у другого какого народа, можно отыскать подобную чуткость. У нашего читателя (если говорить, о литературе) она связана чуть ли не с личной надеждой; он относится к таланту не как к явлению, явившемуся и существующему независимо от него, — нет, он чаял его и ждал, он словно бы часть доли своей отдал для его рождения, и он дождался. Талант ещё и не признан, он как художник только набирает силу, ничто вслух не отличает его покуда от неталанта, но читатель какими-то неведомыми токами и подводными течениями уже знает о нём и жадно ловит каждое его слово, отыскивая податливым, необыкновенно развитым к ней сердцем истину о себе самом и о своём, времени, ту святую и нелукавую истину, без которой, как без труда, человек в здравье и нравственности существовать не может.

И потеря таланта, гибель его воспринимается нашим читателем и зрителем как личная трагедия.

Мы забываем, к сожалению, что он, талант, вобрав в себя художественный дар многих и многих людей и наделенный, казалось бы, огромным сердцем добра и понимания, для собственной жизни имеет это сердце в одном экземпляре и обычных размерах, да и то с самого начала большое болью тех же многих и многих людей.

Сердце Александра Вампилова не выдержало всего в нескольких метрах от берега, к которому он плыл, после того как, натолкнувшись на скрытый под байкальской водой топляк, перевернулась лодка. Через день ему исполнилось бы 35 лет, он и поехал с товарищем в тот вечер 17 августа 1972 года, чтобы наловить ко дню рождения рыбы. Товарищ спасся, он — нет. Теперь, по прошествии этих лет, всё больше и больше верится, что трагическая гибель его, случайная тем, что это произошло именно так и именно тогда, сама то себе не была случайной, и этот трудный, с застарелой одышкой разговор: почему мы не ценим по достоинству талант, пока он с нами... и словно какая-то посторонняя сила, жестоким образом наводя высшую справедливость, наказывает нас... «Утиную охоту», этого «героя нашего времени» в лице Зилова, Вампилов, к счастью, успел написать. Не будем

скромничать: Зилов — не просто герой, один из героев одной из вампиловских пьес, это тип, явление далеко не одинарное и небезопасное, и с «зиловщиной», пустившей глубокие социальные корни, нам впереди ещё бороться и бороться, страдать от неё и страдать — и, быть может, самая большая заслуга Вампилова как драматурга в том и состоит, что он один из первых её распознал и показал, и показал настолько ярко, с такой художественной силой, что мы только-только сейчас стыдливо решаемся посмотреть это на сцене. «Художник только (потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть» (Л. Толстой). И что бы ни говорили критики о том, будто Зилов — человек отживший, по сути, мертвец, этому мертвецу, поверьте, суждено долгое здравствование.



*Второй слева поэт П. Реутский, и далее —
В. Распутин, А. Вампилов*

О Вампилове теперь пишут много и охотно, критики, перебивая друг друга, спорят о его героях и говорят настолько разное, что появилось даже выражение «восторженное непонимание Вампилова». Непонимание это идёт от предпосылок искусства, а не от предпосылок жизни, с которыми всякий раз начинал творить своё искусство Вампилов. Его герои вечерами выходят на сцену чуть ли

не каждого большого театра страны, и его же герои, не всегда ведая, что это они и есть, смотрят на себя из зала и смеются... Впрочем, не только смеются, этого было бы слишком мало: Вампилов писал пьесы отнюдь не для того, чтобы зритель со спокойной душой отдыхал в театре, он и вообще не признавал искусства, создаваемого для отдохновения. Все, кто близко знал Александра Вампилова, помнят его слова по этому поводу, о том же он начал говорить, но, к сожалению, не сумел сказать в оставшейся незаконченной пьесе «Несравненный Наконечников». Зритель, приходя в театр на Вампилова, невольно попадает под нелёгкое нравственное испытание, своего рода исповедь — его, зрителя, исповедь, в которую он, один раньше, другой позже, так или иначе вовлекается ещё во время спектакля и которая долго продолжается после спектакля, — в этом незаметная, но удивительная сила и тихая страсть его таланта. И когда говорят о «театре Вампилова», следует, очевидно, иметь в виду не только то, что предлагается зрителю, но и то, что случается с ним, сторону глубокого психологического воздействия его пьес, которую театральная условность словно бы даже ещё и увеличивает, а не снижает. К тому же вампиловские пьесы, похоже, сами диктуют свою постановку и не допускают разночтений.

Вместе с Вампиловым в театр пришли искренность и доброта — чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, необходимые для нашего существования и для искусства. Нельзя сказать, что их не было до него — были, конечно, но не в той, очевидно, убедительности и близости к зрителю; до последнего предела раскрылась перед нами наивная и чистая душа Сарафанова в «Старшем сыне» и стоном застонала, уверяя старую истину: «Все люди — братья», которая в нашей повседневности превращается почти в смешной парадокс. Вышла на сцену Валентина

(«Прошлым летом в Чулимске»), и невольно отступило перед ней всё низкое и грязное — вышла не просто героиня, несущая в себе черты добродетели, вышла сама страдающая добродетель. Слабые, не защищённые и не умеющие защититься перед прозой жизни люди, но, посмотрите, какая стойкая, какая полная внутренняя убеждённость у них в главных и святых законах человеческого существования. И в слезах, и в отчаянии не перестанут они веровать, как фанатики, в лучшую человеческую сущность, не замечая, как слепые, сущности худшей. Можно гадать, что будет с Валентиной дальше, там, за границами пьесы, как сложится её судьба в житейском смысле, но в том, что веры она не изменит и в добродетели своей не ослабнет и не сдастся, сомневаться нельзя. Эту уверенность Вампилов оставляет в нас без всяких оговорок.

Многие из нас, пожалуй, хотели бы очутиться на месте Шаманова, которого любит Валентина.

Казалось бы, да, и в рассказах, и в пьесах (и даже в газетных очерках — когда Вампилов работал в газете) старые, знакомые истины. Он не пытался выдумывать новые, их нет, он ставил лишь их в нынешние условия, и они начинали звучать по-новому. Вечные, как день и ночь, не тускнеющие, нестареющие темы искусства, которые никогда не перестанут волновать человечество, — жизнь и смерть, любовь и ненависть, счастье и горе, совесть и долг. Каждое новое время привносит в эти понятия свои отличительные признаки, они-то и метят время, но сами эти понятия при всей их сложности и хрупкости остаются неизменными. Любить одному человеку другого значило тысячу лет назад то же самое, что и теперь. Но как любить? Что несёт в себе это первое и самое чувствительное чувство? Чем оно обогащает? Что заставляет терять? Насколько оно долговечно? Пока будет жив хоть один человек, он станет любить и ненавидеть по-своему, он будет бояться и желать смерти, как никто до него не боялся её и не звал. Человеческие чувства неповторимы.

Истины старые, но вечные, не знающие во времени ни морального, ни физического износа. У Вампилова они имеют ещё и ту важную особенность, что получают в каждом читателе и зрителе некое личное, собственное озарение. Как, каким образом удаётся ему внушить каждому из нас, что это относится именно к нам (к нам, стало быть, ко мне), в первую очередь касается нас и обращено именно к нашим чувствам, остаётся загадкой, но прямое обращение, с одной стороны, и личный отзыв, личное соучастие — с другой, тут налицо. И не один из нас, выйдя из театра или прочитав пьесу, ловит себя на детском и наивном желании превратиться в того же, скажем, старшего сына Сарафанова, чтобы помочь этому доброму, до старости сохранившему светлую душу человеку в нашей сложной и донельзя запутанной жизни. Искусство может только мечтать о подобном его восприятии.

Кажется, главный вопрос, который постоянно задает Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь всё то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно стали различимы даже и противоположности — любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение... Тут нельзя опять не вспомнить Зилова, который, не имея сил сопротивляться, позволил, чтобы все первые названия перешли в нём во вторые...

Но, читая Вампилова, снова и снова с надеждой возвращаешься к старому убеждению Достоевского: «Мир спасёт красота».

«И спросил, где университет...»

В самом первом опубликованном при жизни Александра Вампилова варианте пьесы «Прощание в июне» (альманах «Ангара». 1966. № 1) есть такой примечательный монолог главного героя Николая Колесова: «Пять лет назад я приехал в этот город, вышел из вагона и спросил, где университет. Мне показали: во-он, на том берегу. Я помню, как мне захотелось броситься туда вплавь, напрямик — так не терпелось всё это начать... Да, я слишком торопился. Рвался к цели, летел как угорелый напролом, не разбирая дороги...»¹. Кроме того, во всех вариантах пьесы, включая раннюю «Ярмарку», действие основных эпизодов происходит в университетском общежитии и в самом здании вампиловской «Alma mater» (выпускной вечер). Университет в жизни драматурга по праву занимал особое место. В первом корпусе (нынешний адрес — бульвар Гагарина, 20), где в конце 1950-х размещались все факультеты, и состоялось боевое крещение Александра Вампилова как писателя.

«При нашей многотиражке «Иркутский университет», — вспоминал Василий Прокопьевич Трушкин, — несколько лет существовал литературный кружок. Мне случилось возглавлять его — вероятно, тоже счастливое стечение обстоятельств. В маленькой комнатухе, где мы собирались, было, как говорят, демократично: запросто сидели, беседовали и курили. Я курил, и ребяташки курили. Мне памятли несколько человек, участников кружка. До сих пор памятли, потому что потом они заявили о себе очень талантливо... В этом же литературном кружке и участвовал Саня Вампилов. Вот о нём надо рассказать поподробнее... Когда мы как-то к Маю готовили праздничный номер многотиражки, меня привлекли миниатюры, отпечатанные на машинке, буквально полторы-две странички. Страшно, мне показалось, интересные... с покоряющим каким-то юмором. Всё это было сделано с великолепным чувством художественного слова. И подписано — «А. Санин». Я пришёл... я фамилии-то не знаю такой... я говорю: «Кто это А. Санин?» Поднимается тоненький юноша, кудрявый, говорит: «Это я, Вампилов. Это мои». Я сказал: «Ну здорово!», заставил его вслух читать. Здесь же в кружке он читал. Как сейчас помню, он читал с абсолютно серьёзным лицом, у него в глазах, может быть, только бегали какие-то чёртики, а так абсолютно серьёзно страшно смешные вещи...

Вот так началось моё знакомство с Саней Вампиловым. Саня стал печататься широко — и в альманахе, и в «Молодёжке». А когда в 1961 году выпустил свою первую книжку юморесок... я опубликовал небольшую статейку на страницах нашего альманаха «Ангара» под названием «Первые книги» и там разбирал книгу «Стечение обстоятельств», потом стихи участника кружка, рано умершего талантливого бурятского поэта Кима Ильина. Там же я писал ещё об одном кружковце — Володе Гусенкове»².

Своих питомцев Трушкин привёл в Союз писателей, всегда искренне радовался их публикациям.

¹Цит. по: Вампилов А.В. Драматургическое наследие / вступ. ст. А. Калягина и Г. Товстоногова. Иркутск : Изд. ОАО «Иркут. обл. тип. № 1», 2002. С. 251.

²Трушкин В.П. Друзья мои... : Из дневников 1937 — 1964 годов. Очерки и статьи. Из альбома «Нефтефлот литературы». Воспоминания о В.П. Трушкине / сост. А.В. Трушкина; вступ. ст. Б.С. Ротенфельда. Иркутск, 2001. С. 21–22.

Первым выступлением двадцатилетнего Александра Вампилова в печати стал рассказ под названием «Персидская сирень». Он был опубликован в газете «Иркутский университет» 1 ноября 1957 года, а при включении в первую книжку получил своё каноническое название «Финский нож и персидская сирень».

Среди однокурсников Александра Вампилова оказалось немало юношей, впоследствии ставших писателями и журналистами (А. Румянцев, И. Петров, В. Зоркин).

Валентин Распутин был, если можно так выразиться, «однофакультетником». Типологические параллели между их творческими судьбами напрашиваются сами собой. Исследователи не раз говорили об этом в связи с так называемым «иркутским мифом», своеобразным региональным вариантом «шестидесятничества», вошедшим в историю города на Ангаре как феномен писательской «стенки», образовавшейся после читинского семинара молодых писателей (1965).

Очевидны общность генетических и географических истоков в лице «малой родины» (Аталанка — Кутулик — Иркутск), «Альма Матер» и первых шагов в литературе (филфак ИГУ и его Научная библиотека, молодёжная журналистика как способ сохранения духовного и творческого потенциала (газеты «Советская молодёжь» и «Красноярский комсомолец»).

Из воспоминаний Евгения Евтушенко и Геннадия Машкина узнаём, что оба писателя одновременно прошли на Высших литературных курсах в Москве самиздатовскую школу «потаённого» Андрея Платонова, получив ночью во дворе Литинститута от вдовы и дочери писателя «Котлован» и «Чевенгур». Ситуация, которую Александр Вампилов тут же назвал «сюжетом для небольшого рассказа»³.

Любопытные суждения, проливающие свет на взаимоотношения Валентина Распутина и Александра Вампилова как части «иркутского мифа», содержатся и в воспоминаниях литературоведа и журналиста Павла Забелина.

Если принять эти мемуары на веру, то однажды в кухонных посиделках между писателями даже возник полушутливый спор о том, кого из них уже к тому времени можно было причислять к разряду классиков!⁴

Все однокурсники напишут воспоминания о студенческой поре Александра Вампилова, вошедшие в издания произведений драматурга, а также ряд коллективных сборников.

Андрей Румянцев так и назовёт свою книгу о драматурге «Александр Вампилов: студенческие годы», большая часть материалов которой войдёт в издание ЖЗЛ (2015)⁵.

Огромную работу проведёт по исследованию музыкальных пристрастий Александра Вампилова Игорь Петров в книге «Слово с музыкой сольется»: «Университет предоставил первокурсникам широкое поле деятельности: кроме лекций и семинаров — художественные вечера, кружки, секции. Пятеро парней из нашей, второй группы — Б. Кислов, А. Румянцев, А. Вампилов, В. Гребенцов и я, а также «примкнувший» к нам из первой группы В. Мутин записались в университетский струнный оркестр, которым руководил опытный музыкант, энтузиаст народной музыки М.С. Гезунгейт. «Струнным» оркестр называли, отличая его от популярного тогда в городе эстрадного оркестра ИГУ под управлением Ю. Морошина. Точнее, он был домрово-балалаечным, андреевского типа, с разделени-

³Машкин Г.Н. Стенкой и в одиночку : Воспоминательное повествование. Иркутск : Изд. ГП «Иркутская областная типография №1», 1998. С.104.

⁴Александр Вампилов в воспоминаниях и фотографиях : сб. / сост. А.Г. Румянцев. Иркутск : Изд-во журн. «Сибирь» совместно с ООО «Письмена», 1999. С. 313–315.

⁵Румянцев А.Г. Вампилов. М. : Молодая гвардия, 2015. 332 с.

ем инструментов на группы (примы, альты, тенора, басы, контрабасы), а внутри групп — и на пульты. В отличие от распространенных в те годы «неаполитанских» оркестров (мандолины и гитары), оркестр народных инструментов давал возможность исполнять многоголосные произведения, даже с элементами полифонии, в полной мере ощутить красоту гармонии, в конечном счете — развивать симфоническое мышление.

Привлекало нас и то, что в репертуаре оркестра, помимо народной музыки, были и пьесы классического репертуара — произведения В. Андреева, И. Штрауса, Ф. Шуберта, Э. Грига, Ж. Бизе, П. Чайковского, М. Глинки. Только один из нас — Вадик Гребенцов был подготовленным музыкантом (окончил музыкальную школу по классу скрипки), мы с Саней и Володя Мутин играли до этого в школьных оркестрах, а Борис Кислов и Андрей Румянцев учились играть и осваивали нотную грамоту (пройдя вначале стадию «цифровки») в ходе репетиций. Игра в оркестре и, главное, систематическое и углубленное изучение мировой и отечественной литературы (мы все-таки были филологами) вызвали естественную потребность в расширении музыкального кругозора. К сожалению, Иркутск, считавшийся всегда одним из музыкальных городов Сибири, не мог полностью удовлетворить эту потребность: симфонический оркестр радиокомитета был сформирован еще в начале 50-х годов, а в театре музыкальной комедии мы появлялись лишь в дни «коллективных выходов», да еще в летние сезоны могли слушать духовой оркестр, регулярно игравший на открытой площадке в саду имени Парижской Коммуны у постаментов бывшего памятника Александру III. Каково было нам в июньские дни готовиться к сессии в фундаментальной библиотеке ИГУ, когда ровно в шесть часов вечера его звуки врываются в раскрытые окна читального зала. Оркестр, кстати, был весьма приличный, исполнял фантазии на темы песен, оперетт, старинные вальсы, популярные классические произведения. Чего стоило, к примеру, блестящее исполнение Второй рапсодии Ф. Листа! В тихие и теплые летние вечера, когда на улицах Иркутска затихало и днем-то редкое автомобильное движение, а центральные улицы превращались в бульвары с толпами гуляющих горожан (вспомните Сильву из «Старшего сына»: «Я принимаю там с восьми до одиннадцати»), звуки духового оркестра были слышны на противоположном конце улицы Карла Маркса — у завода имени Куйбышева! Кстати, атмосфера «летнего сада» как места семейных гуляний исчезла, когда рядом с концертной эстрадой была сооружена танцевальная площадка и на смену духовой музыке пришли модные ритмы джаза.

И именно в эти годы, в середине 50-х, произошла поистине революция в сфере звукозаписи: появились электрофоны и долгоиграющие пластинки. Даже самые первые, еще на 78 оборотов, вмещали в себя произведения крупных форм, что же говорить о пластинках-гигантах на 33 оборота? На них записывались симфонии, инструментальные концерты, сонаты, оперы.

Пластинок было мало, и мы охотились за ними. Нередко, не щадя тощего студенческого кошелька, брали по два-три экземпляра, чтобы поделиться с друзьями. До сих пор у меня в фонотеке хранятся пластинки, купленные в те годы В. Мутиним, Б. Леонтьевым, А. Вампиловым — Двадцать пятая симфония и «Маленькая ночная серенада» В. Моцарта, танцы из «Руслана и Людмилы» и «Ивана Сусанина» М. Глинки, «Приглашение к танцу» К.-М. Вебера, «Струнная серенада» П. Чайковского. Прослушивание пластинок становилось неотъемлемой частью собраний нашей своеобразной студенческой «Camerata» в старом

корпусе общежития на улице 25-го Октября, наряду с чтением стихов и прозы, обсуждением литературных новинок или просто любительским музицированием. Душой компании всегда был Александр Вампилов, хотя о каком-либо лидерстве он никогда не помышлял»⁶.

Забавные истории из студенческой жизни будут впоследствии вспоминать Арнольд Харитонов и Владимир Мутин.

«...Когда прошла эйфория по поводу того, что мы стали студентами, и можно стало хоть что-то оценивать, оказалось, что учёба в университете — вовсе не сплошной праздник с блестящими лекциями, что есть предметы и преподаватели бесконечно нудные, и с этим ничего поделать нельзя, если хочешь получить диплом. Сначала каждый из нас начал новую после школы жизнь, как мы не раз начинали и начинаем её «с понедельника», дав себе слово всё учить, читать и конспектировать. Некоторые это слово сдержали, но эти «некоторые» — в основном, девочки, народ вообще более организованный. Среди ребят я таких что-то не припомню. У большинства из нас к последним курсам обилие толстых общих тетрадей для каждого предмета заменялось одной для всех, и, представьте, её вполне хватало, ещё и оставалось место для первых литературных опытов. Такую тетрадку я увидел недавно в Кутулике, в музее Вампилова, и от воспоминаний сладко зануло сердце. Саня иногда, видимо, в приступе добросовестности, принимался записывать лекции, из-под его пера выходили пахнущие нафталином строки: «Программа КПСС о развитии социалистической государственности», «Борьба против буржуазной философии». Но достаточно перевернуть тетрадку, открыть её не с парадной обложки, и мир переворачивается вместе с ней, встаёт с головы на ноги. Здесь — забавные рисунки и начатый рассказ «Конец романа». Живые человеческие слова: «Сентябрь. Тёмная, без звёзд ночь. Две лампочки на столбах, несколько светящихся окон освещают перрон захолустной железнодорожной станции...» Уйти в этот мир куда интересней, чем слушать, как КПСС собирается развивать социалистическую государственность или бороться с буржуазной философией»⁷.

«Тогда же, на первом ещё курсе, Саня предложил поставить спектакль — «Свадьбу» Чехова. <...> Тут надо сказать, что отделение филологов было в основном, естественно, девчачьим, парней — раз-два и обчёлся. И с тех пор до пятого, выпускного, курса «играли» мы этот спектакль, выдёргивая и в разговорах, и в спорах чеховские реплики: «В Греции всё есть... Я не Спиноза какой-нибудь. Я человек положительный и с характером... Вы мне зубы не заговаривайте! Я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный!.. Атмосферы мне, атмосферы... Я с вами, папаша, вполне согласный... Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Одним словом, позвольте вам выйти вон!» (Потом вампиловский Калошин скажет: «Я не велик барин, не метранпаж какой-нибудь, могу и подвинуться...»)

Надо было видеть, как играл Апломбова Вампилов. Небрежно откинутая с сигареткой левая рука, интонации гаринские — надменность и напыщенность — просто-таки выпирали из создаваемого им образа.

Спектакль мы так и не поставили, но на репетициях в разных аудиториях и в общежитии помирали со смеху и над текстом, и над тем, что выделявали...

⁶Петров И. К. Слово с музыкой сольется. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1997. С. 22–26.

⁷Харитонов А.И. Эх, путь-дорожка... : Записки провинциального журналиста. Иркутск : Издатель Сапронов Г.К. ; Агентство «Комсомольская правда — Байкал», 2002. С. 95–101.

Всё, чем жил Александр Вампилов в студенческие годы, — все эти наигрыши, розыгрыши, прозвища, — всё было потом трансформировано в его рассказах и пьесах. Сыновья лейтенанта Шмидта... Один из сыновей — герой его «Предместья». О лейтенанте помянет Калошин в «Истории с метранпажем». В «Свидании» будет даже введена почти прямая цитата из «Золотого телёнка»: «Гордая и таинственная...».

Однажды друг рассказал Сане анекдотический случай, происшедший на танцах: он решил проводить девушку, как честный человек, до дому. Час он «упражнял свои лёгкие, выказывая все признаки влюблённости, и говорил не останавливаясь...». При прощании решил всё же познакомиться. «Мы с вами уже знакомились. Вы провожали меня с танцев месяц назад...» Под пером Вампилова этот анекдот превратился в прелестную миниатюру «Девичья память»...

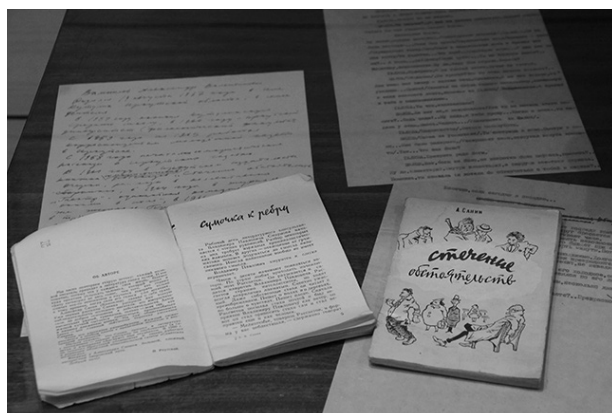
Сочинять у нас пытались все: выпускался даже рукописный журнал «Подснежник». Хохоту было полным-полно: над фразой, над сюжетом. Вот, к примеру, фразочка: «Он пошёл в овчарню в смысле повеситься...» — из рассказа об отвергнутой любви. Или о любви весенней: «Она набросилась на него, как волк на вкусную пищу...» Были и такие смехотворящие строки — из неистощимого редакционного самотёка «Молодёжки» (так мы называли газету «Советская молодёжь»): «С любовью глядит проходимец на бронзовый облик его...», «Из подворотни выбрел пёс лохматый и вдруг завоил, словно не к добру, подкрадывался сумрак бородатый, подвязывая сумочку к ребру...» Пока разбирались с формой глагола — завоил, завоял, завыл, — Вампилов на следующий день принёс на литературное объединение университета юмористический рассказ «Сумочка к ребру», где это «адское слово» «завоил» и этот куплет был обыгран великолепно: «Всё встречалось: поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого... Нет-нет! Это что-то жуткое... Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я всё-таки человек рядовой, с ограниченным воображением, у меня ребёнок, ещё могут быть дети... Я уйду с этой работы. Завтра же. Сегодня же! Займусь чем-нибудь другим... Буду менять собственную тень на шагреновую кожу — спокойнее...»⁸

Первая серьёзная статья о творчестве Александра Вампилова под названием «В битве за человеческие сердца» была написана преподававшей в ИГУ советскую литературу Надеждой Степановной Тендитник и опубликована в альманахе «Сибирь» вместе с пьесой «Прошлым летом в Чулимске» в 1972 году. Статья, кстати, дала название и книге Н.С. Тендитник, выпущенной в Иркутске. А вскоре в Новосибирске выходит небольшого объёма книга о Вампилове того же автора, выпустившего впоследствии ещё одну монографию об Александре Вампилове «Перед лицом правды». В ней так говорилось о студенческой поре в жизни драматурга:

«В 1954 году А. Вампилов не поступил на историко-филологический факультет — не хватило знаний по немецкому языку. Но после упорных занятий, в 1955 г., стал студентом. Осенью этого года, после колхозной студенческой страды, познакомился с В. Распутиным.

Годы учёбы в Иркутском государственном университете, носившем тогда имя А.А. Жданова, охарактеризованы одним из близких и духовно, и человече-

⁸Цит. по : Вампилов А. Стечение обстоятельств : Рассказы и сцены; Фельетоны; Очерки и статьи; Из неоконченного и неопубликованного; о Вампилове / сост. В.Г. Распутин; примеч. Б. Ротенфельда. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. С. 293–294.



Публикации Алесандра Вампилова

ски А. Вампилову однокурсником А. Румянцевым в книге «Александр Вампилов. Студенческие годы». Подчеркнув, что специальность филолога выбрали из любви к предмету, в учёбе «особого рвения не проявляли», «к успехам пусть не во всех, но хотя бы в отдельных университетских дисциплинах никто не стремился», автор объяснил это отчасти тем, что «лекций, которые вызывали бы особый

интерес, оживленные толки и обсуждения в студенческой среде, не читалось».

Ситуация, как нам думается, требует объяснения и уточнения. Она связана с нелегкой ситуацией, в которой оказался тогда историко-филологический факультет. Он был когда-то старейшим при открытии университета, но продержался недолго и был переведен в пединститут. Возобновили его перед самой войной, и тут случилось неожиданное: в связи с эвакуацией учёных из Ленинграда и Москвы работали на факультете видные и выдающиеся учёные — К. Копержинский, М. Альтман, С. Лурье, О. Ильинская, К. Азадовский и др. Лекции слушали тогда вместе студенты и преподаватели. Тогда же, в годы войны, случилось чрезвычайное происшествие, после которого все эти ученые, не задерживаясь, при первой возможности уезжали, не всегда с благодарностью прощаясь с университетом. А было так: С. Лурье, крупному учёному, знатоку античности, был поручен доклад на тему: «Корни фашизма в античности». За давностью лет трудно установить, кто был заказчиком. Но кончилось все «прозрением»: «Какие могут быть исторические корни, да еще в античности, у такого случайного явления, как фашизм», и травлей ученого. Сразу после войны, особенно в период появления постановлений о литературе и искусстве, университет снова залихорадило. Был лишен докторского звания А. Абрамович, поделившийся со студентами знаниями насчет горьковского кризиса и полемики с Лениным. Прошла волна широкого разоблачения фольклориста А. Гуревича, обвиненного в фальсификации фольклора. Страх висел, царил в аудиториях. К 1954–55 учебному году, когда пришли однокурсники А. Вампилова, факультет едва-едва оживал»⁹.

...В 1996 году в Иркутске был основан Фонд Александра Вампилова, а впоследствии возник и Культурный центр имени драматурга (2012). Фонд на протяжении многих лет успешно выпускал малоформатные книжки, связанные с жизнью и творчеством драматурга, а в 2000 году совместно с университетом был осуществлён проект научно-просветительского характера — книга «Мир Александра Вампилова. Жизнь. Творчество. Судьба» с уточняющим подзаголовком «Материалы к путеводителю». Эта книга рождалась долго и мучительно. По первоначальной идее, должно было быть издание энциклопедического типа. Однако в процессе работы с авторами (а их в книге более сорока!) составители и редколлегия решили остановиться на структуре «путеводителя» по жизни, творчеству и

⁹Тендитник Н.С. *Перед лицом правды : Очерк жизни и творчества Александра Вампилова*. Иркутск : Изд-во журн. «Сибирь» : Товарищество «Письмена», 1997. С. 35–37.

судьбе всемирно известного драматурга, представив материалы по трём основным разделам — биографическому, научному и научно-популярному.

Состоящая из трёх разделов — «Жизнь», «Творчество», «Судьба», эта, по сути дела, коллективная монография стала попыткой консолидации усилий вампиловедов различного профиля: в первую очередь, авторитетных филологов — литературоведов России, а также театроведов, литературных критиков, журналистов и библиографов на пути составления издания, приближающегося к энциклопедическому, подобного пушкинской, лермонтовской, шевченковской энциклопедиям, а также словарям-справочникам по творчеству Достоевского и Шукшина. Сугубо биографические материалы сочетались с разбором произведений по жанрам и персонажам, выявлением основных особенностей его художественного мира. Особенно важно, что к исследованию проблем вампиловского творчества в этом издании, помимо литературоведов и театроведов, обратились философы (М. Рожанский) и лингвисты (Н. Баландина). На выход книги и её презентацию откликнулись все иркутские СМИ, впоследствии появились отклики и в столичных журналах («Москва»), и в новосибирских «Сибирских огнях». Издание в целом оценивалось позитивно, порой даже восторженно, хотя не обошлось и без критических замечаний.

Большинство материалов книги, многие из авторов которой являлись к тому времени авторитетными специалистами в своей отрасли науки, выводило вампиловедение на новые рубежи. Таковыми были исследования Н. Антипьева, Н. Киселёва, С. Козловой, С. Комарова, а также статьи И. Плехановой, Н. Погосовой, А. Собенникова, ряда других известных литературоведов.

В предвещающей книгу «Слове о Вампилове» известный литературный критик Валентин Курбатов сказал такие слова: «Что же за опыт мы нажили с той эпически давней поры при нынешних темпах всеобщего бегства из дому, когда мир давно валит прямым и от «калитки» (имеется в виду сквозной образ-символ из пьесы «Прошлым летом в Чулимске». — С.С.) не осталось и следа? В какую сторону спешит торопящееся общество и что видит в светлом, как сама его душа, творчестве Вампилова? Как читает его? Что за традиция настаивается в русском и мировом театре в понимании Вампилова? Всё это сошлось в зеркале книги «Мир Александра Вампилова», чтобы мы могли на мгновение остановить безумную колесницу времени и увидеть, как возвращается оболганный минувший день и как он темнеет и рассыпается на глазах в дробь изощрённого умозрения. Но вместе с этим и увидеть, как углубилось понимание равно и короткой жизни самого Вампилова, и его внешне так просто и сразу читаемых героев, которые спокойно пролистывают десятилетия, легко сходясь с каждым новым временем как свои, что лучше всего говорит о том, как далёк он был всегда от скоропортящейся моды»¹⁰.

Галина Солуянова, поздравляя исполнителей и авторов издания с десятилетним юбилеем выхода книги, говорила буквально следующее: «Актёры говорят, что каждая роль как ребёнок, и почти всегда любимый. Издатели могут так сказать про выпущенные книги. Но отличие всё-таки есть: спектакль не может жить долго, хотя и в театральной истории случались дивные исключения: «Синяя птица» во МХАТе, «Принцесса Турандот» в театре Вахтангова, «Братья и сёстры» в Театре

¹⁰Мир Александра Вампилова : Жизнь. Творчество. Судьба : материалы к путеводителю / сост. Л.В. Иоффе, С.Р. Смирнов, В.В. Шерстов; вступ. ст. В.Я. Курбатова. Иркутск : Издание ОГУП «Ирк. обл. тип. № 1», 2000. С. 9–10.

Европы... А рождённая книга остаётся не только в легендах, но и на библиотечных полках... Очень жаль, что в 2000 году выпущенная книга вышла тиражом лишь в 1000 экземпляров — она сразу стала библиографической редкостью; по сути, это энциклопедия жизни, творчества и судьбы Александра Валентиновича Вампилова, именитого земляка, кем мы истинно восхищаемся и гордимся...»¹¹

К девяностолетию Иркутского государственного университета факультетом филологии и журналистики ИГУ и Иркутским областным Фондом А. Вампилова была подготовлена к изданию книга «Alma mater Александра Вампилова», которая включала в себя статьи и материалы, посвященные творчеству одного из выдающихся его выпускников, воспоминания педагогов, а также известных писателей и журналистов, окончивших филологический факультет ИГУ, указатель новейшей научной литературы о творчестве писателя.

Это был четвёртый совместный проект факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета и Фонда А. Вампилова. Все предшествующие получили общероссийское признание (в том числе две книги вошли в еженедельный рейтинг «Литературной газеты» (2002, 2005). А наиболее полное на сегодняшний день научное издание текстов Александра Вампилова «Драматургическое наследие» в декабре 2002 года удостоилось права презентации в Московском художественном театре им. А.П. Чехова при участии выдающихся деятелей российской культуры — театроведов, режиссёров, актёров.

Издание книги «Alma mater Александра Вампилова» меньше всего преследовало «юбилейный» характер. Его жанр можно было определить как научно-мемуарно-справочный. По замыслу его создателей, это была очередная попытка консолидировать усилия учёных-вампиловедов различных регионов России, а также собрать по крупицам высказывания известных писателей и журналистов о драматурге.

В оформлении художником Владимиром Дейкуном был использован многолетний символ ИГУ — прежнее здание Научной библиотеки (Белый дом), где драматург, судя по воспоминаниям его друзей, проводил немало времени.

Первая часть книги — статьи известных учёных-филологов из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, ряда других городов. Но, естественно, что большая часть материалов принадлежит перу преподавателей ИГУ.

Вторая часть сборника — это своего рода «коллаж» опубликованных в разные годы воспоминаний преподавателей Иркутского университета, а также известных писателей и журналистов — выпускников ИГУ, об Александре Вампилове.

Третью часть составил указатель «Произведения А. Вампилова и основная литература о его творчестве (1997—2007)», созданный силами сотрудников кафедры новейшей русской литературы и ЦНДИ Научной библиотеки ИГУ.

В юбилейный для двух иркутских классиков, выпускников ИГУ, год университет в содружестве с Культурным центром Вампилова, иркутскими библиотеками проводит научные конференции, другие мероприятия памяти писателей, его сотрудники выпускают монографии и учебные пособия, осуществляют научное руководство стажёрами и магистрантами, интересующимися творчеством Александра Вампилова и Валентина Распутина, консультируют переводчиков и постановщиков пьес из разных стран мира (Китай, Италия, США, Франция и др.).

¹¹Из беседы с автором статьи в августе 2010 года.

Знаменательным событием в отечественном литературоведении стал выход монографии профессора ИГУ Ирины Плехановой «Александр Вампилов и Валентин Распутин: диалог художественных систем»¹².



Жизнь Александра Вампилова, как и его незабвенного друга Валентина Распутина, в Иркутском государственном университете успешно продолжается...

*Памятник драматургу в сквере
около драматического театра*

¹²Плеханова И.И. Александр Вампилов и Валентин Распутин: диалог художественных систем : монография. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2016. 329 с.

Вспоминая Саню...

*Встреча с одногруппниками
Александра Вампилова*



Одногруппники А.В. Вампилова в Иркутском госуниверситете И.К. Петров, В.И. Зоркин, Б.А. Кислов, Б.П. Леонтьев

Главными героями этой беседы в Центре Александра Вампилова 26 апреля 2017 года стали четыре замечательных человека — друзья Александра Вампилова по студенческой скамье. Игорь Константинович Петров, Борис Анатольевич Кислов, Борис Павлович Леонтьев и Виталий Иннокентьевич Зоркин. Кажется, впервые в печати появляется интервью такого рода — чтобы все четыре одногруппника (а всего в группе студентов-филологов было семь парней), живущих в Иркутске, вместе вспомнили университетские годы. Это путешествие в прошлое получилось поистине увлекательным, наполненным маленькими деталями и большими событиями, новыми фактами и старыми историями, осветившимися другим светом. Добро пожаловать в мир студентов факультета историко-филологического факультета ИГУ, учившихся с 1955 по 1960 год, где Александр Вампилов начал писать свои первые рассказы...

Г.А. Солуянова. Я очень рада, что вы откликнулись на нашу просьбу, ведь этот год для Александра Валентиновича юбилейный. Сегодня мы встречаем вас вместе с научными сотрудниками Екатериной Фалалеевой и Дмитрием Суровым, а меня вы знаете уже лет двадцать или больше, наверное. Одна из причин, почему мы решили собрать одногруппников Вампилова, — это то, что готовится спецвыпуск журнала «Сибирь», посвященный драматургу, и Центр принимает участие в формировании номера. Естественно, когда мы обсуждали, каким должен быть номер, мы сошлись во мнении, что должны включить туда воспоминания одно-

группников Александра Валентиновича. И для нас сегодня великое счастье, что вы к нам пришли. Мы же ежедневно Вампиловым занимаемся, у нас накопилось столько вопросов! Недавно мне позвонила Лидия Афанасьевна Казанцева, библиограф библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, и объявила о сенсационной находке: обнаружена юношеская пьеса А.В. Вампилова, которая была издана в 1960 году в горьковском альманахе и называется «Тихая Заводь». Пьеса подписана псевдонимом Вампилова — *А. Санин*, но она написана не Вампиловым. Уже сейчас некая доктор наук пишет, что обнаружена ранняя пьеса А.В. Вампилова, но в вампиловских сюжетах никогда не было той «махровой кондовости», того соцреализма, которыми пронизана пьеса «Тихая Заводь». Даже когда А.В. Вампилов работал в редакции газеты «Советская молодежь» и выполнял задания областной комсомольской газеты, он избегал штампов всегда. Я бы хотела, чтобы вы прочли пьесу и сказали, работал ли Александр Валентинович над чем-то подобным. Может быть, он кому-то подражал?

И.К. Петров. Никогда о таком не слышал.

Г.А. Солуянова. Я думаю, что люди, позиционировавшие данную пьесу как раннюю вампиловскую, руководствовались лишь именем автора — *А. Санин*. А вдруг в Союзе писателей города Горького был человек с фамилией Санин?

Б.П. Леонтьев. Вампилов бы сказал нам о пьесе.

Б.А. Кислов. Нет, эта пьеса определенно не Вампилова.

Г.А. Солуянова. Это точно не он, ни по слогу, ни по стилю, ни по тематике.

Б.П. Леонтьев. Если бы пьеса была написана Саней, он все равно где-нибудь бы обмолвился.



Б.А. Кислов

Б.А. Кислов. А я хочу сказать, что у Саши была такая особенность, которая, наверное, присуща всем авторам. Как только напишет что-нибудь — сразу обязательно надо кому-нибудь прочитать. Обычно он мчал в общежитие, где читал нам свои рассказы, а мы, естественно, хохотали. Саня бы не умолчал о целой пьесе, он вообще не скрывал то, над чем работал. Это вполне естественно, потому что любому автору интересно, какой будет реакция на

его произведение. И все первые рассказы Вампилова: «Стечение обстоятельств», «Финский нож»... всё это сначала проходило читку в нашей комнате.

И.К. Петров. Ольга [Вампилова] разыскала и опубликовала в 1975 году в «Литературной России» неизвестный рассказ Вампилова «Листок из альбома». Прочитал этот рассказ и понял, что уже читал его в 1958 году, на 3-й Железнодорожной. Я тогда в пионерском лагере месяц проработал, баянистом меня пригласили. Летом приехал в общежитие — всё занято абитурицией. Пришёл к Сане, и он, как в рассказе: «На, — говорит, — почитай, я за портвейном сбегаяю». А у нас портвейн был тогда напитком номер один.



И.К. Петров

Б.А. Кислов. Вся страна в то время пила портвейн.

И.К. Петров. И я прочёл этот рассказ, а там тоже друг приходит к другу, и тот показывает ему, правда, не рассказ, а альбом. У Сани с Люсей [первая жена драматурга] в ту пору была размолвка, и это отразилось на содержании рассказа. Там тоже герой сначала добивается неприступную невесту, а потом вдруг она перед ним ходит на цыпочках. Саня на-

писал этот рассказ после одной из ссор с Люсей. Они вообще часто ссорились. Написал и положил его в долгий ящик.

Г.А. Солуянова. А почему они ссорились?

И.К. Петров. Да кто их знает. Но вот то, что он гитару разбил — это действительно так.

Г.А. Солуянова. Он разбил гитару?

И.К. Петров. Да.

Б.А. Кислов. Да перестань ты... Не он. Ты просто забыл. «Почему они ссорились?» — никто на этот вопрос вам не ответит. Я думаю, что ни с кем он не делился, а если бы и поделился, то прежде всего с кем-то из нас. Единственный раз, когда он позволил себе высказаться на эту тему, это когда он не был дома несколько дней, а потом, накануне 1 мая, говорит: «Ну, ладно, я поеду домой. Я ведь, кажется, женат». Но это был единственный раз, и вряд ли кто-то с этим поспорит.

И.К. Петров. Да, он никогда не говорил об отношениях с Люсей. Я даже не помню, здоровалась ли она с нами.

В.И. Зоркин. Здоровалась.

И.К. Петров. Мы её встретили уже в 1963 году, на Карла Маркса, она шла нам с Борей навстречу: «Ой, мальчики, здравствуйте!» Мы поговорили, и когда она прощалась, она сказала: «Ну, пока, мальчики. Не забывайте Саню».

Г.А. Солуянова. А они уже были разведены?

И.К. Петров. Да, уже были разведены. Боря посмотрел ей в след и сказал: «Святая душа». Я помню эту фразу.

Б.А. Кислов. Нет, женщина она была великолепная. Хотя я не очень-то её знаю, но тем не менее. Такая мягкая, деликатная, я даже не представляю, как она могла ругаться, хотя, как женщина, должна была уметь это делать. А что касается разбитой гитары... Игорь, ты был на том дне рождения, когда гитара была разбита?

И.К. Петров. Нет.

Б.А. Кислов. Дело было так. Люся жила недалеко, напротив планетария. Меня и, по-моему, Андрюшку Румянцева она пригласила на свой день рождения. И Сашку, разумеется. Мы с Андреем долго думали, что купить на день рождения, а поскольку мы не знали, что именно подарить, мы по простоте своей купили

даже не духи, а одеколон. Довольно большую бутылку. Да, ещё те знатоки светских приёмов были. Принесли мы одеколон Люсе, а она, как человек деликатный, понюхала и говорит: «Ой, хороший». Я осознал всю прелесть этого подарка много-много лет спустя, им, наверное, было хорошо комаров травить. А у Люси была подруга — Люда Бендер, они некоторое время дружили, хотя люди были совершенно разные. Ну, так вот, пошли мы праздновать день рождения, естественно, выпили, а Люда Бендер пригласила с собой какого-то парня с уголовными наклонностями. Он вёл себя слегка странновато и хамовато.

В.И. Зоркин. А куда вы пошли?

Б.А. Кислов. Мы поднялись по лестнице, туда, где Люда жила в комнате. Там стол стоял, мы выпивали, закусывали, Санька на гитаре играл. Вот только я не помню, какая это гитара. Это та, что из Свердловска, которую ему дядя подарил? Та, которой он гордился, инкрустированная?

И.К. Петров. Нет, там, скорее всего, простая была.

Б.А. Кислов. Саня играл на гитаре, а потом мы вышли на улицу, пошли по 5-й Армии в направлении планетария. Почему-то гитара вдруг оказалась в руках у этого парня. Он захватил и хлопнул гитарой по металлической ограде, пробил гитару насквозь и тут же быстро убежал, как мальчишка. Сашка посмотрел на сломанную гитару и широким жестом закинул её в ближайшие кусты. Вот как было.

И.К. Петров. Я вспоминаю. Тогда он поздно пришёл, в первом часу ночи. Он всегда, когда задерживался, к нам заходил. Мы на 5-м курсе, живем в 17-й комнате. Я точно помню, что он пришёл мрачный и говорит: «Гитара сломана». Хотя, может быть, я тогда неправильно его понял, или это вообще был другой случай.

Г.А. Солуянова. Да, что ж вы там часто гитары били, что ли?

И.К. Петров. Да... не может быть две гитары.

Б.А. Кислов. Да, значит что-то одно! Кстати, с планетарием связана ещё одна история. Когда у нас было комсомольское собрание, то, поскольку там наметили определённый план мероприятий, Сашке поручили выход в планетарий. Сашка, конечно, этого не сделал, да и не собирался никогда делать. И мы время от времени поддразнивали его: «Слушай, Саня! Когда мы пойдём в планетарий?»

И.К. Петров. Было чуточку не так. На комсомольском собрании Люся Ларионова — наша «железная леди» — была секретарём. Она сразу собрала комсомольскую группу составлять план и слушать предложения комсомольцев. Саня тогда и предложил коллективный выход в планетарий. Идею записали, но в планетарий так и не сходили. На следующий год опять Саня предлагает коллективный выход в планетарий... В общем, он до 3-го курса это предлагал.

Б.А. Кислов. Но мы же ни разу не ходили!

И.К. Петров. Ни разу не ходили. Румянцев потом обыграл в книге всю эту иронию по поводу комсомола, который стал бюрократической системой.

Г.А. Солуянова. Я задам ещё один вопрос. Вот вы все состоявшиеся люди, что вы испытываете по отношению к Вампилову? Когда я получала первый диплом в театральном училище, мне мой мастер — Борис Степанович Кондратьев, говорил: «Если на курсе есть звезда, то все остальные до неё дотянутся — и курс

состоится». Нет ли у вас такого ощущения, что Вампилов помог вам в вашем становлении, или вы сами по себе состоялись?

Б.А. Кислов. В моём становлении сыграл, это он меня устроил в газету. А если серьёзно, конечно. Вот наше поколение, поколение 1937 года и около этого, оно особое. Например, все наши ребята женились по одному разу, а это тоже показатель. И не было такого, чтобы разводились. Была в нас надёжность какая-то. К тому же, при всех наших болезнях, поколение оказалось крепкое. Ещё ни у кого из нас не было серьёзной поддержки, мы никогда не тянули денег с родителей. Вот, Игорь, например, зарабатывал, когда учился, читал лекции.

И.К. Петров. Артель «Сырьёвщик на Депутатской», ещё хором руководил.

Б.А. Кислов. Я не хочу ругать современную молодёжь, но они не такие. Вот, сейчас я часто наблюдаю картину — здоровый дядя и его маленькая мама идут поступать в университет. Да, если бы меня на поступление привела мама, мне бы все 5 лет обучения это вспоминали!

В.И. Зоркин. К слову, у меня была дипломница. Мама её приводила, а потом сидела внизу на стульчике, ждала, когда кончится лекция.

Б.А. Кислов. Ну, ладно, моя мама жила за две тысячи километров, в Новосибирске. А, скажем, привёл бы Вадик Гребенцов своего отца или Виталий привёл бы свою маму — смеху было бы на все пять лет. Сами поступали, сами выживали, сами пробивались, как могли. И в этом смысле, это была здоровая закалка. Вот что-то в нас было заложено.

В.И. Зоркин. Я, когда был в аспирантуре, ехал из Питера в Иркутск. На маленькую стипендию купил томик Пушкина «Евгений Онегин» и доехал на одной бутылке кефира.

И.К. Петров. Дело в том, что из нас семерых только двое — Зоркин и Гребенцов — были городские, это высший уровень. А самый нижний уровень — мы с Андреем Румянцевым.

Б.А. Кислов. Почему?

И.К. Петров. Да потому, что мы из глухих деревень. Второй уровень — это Саня и Боря, это посёлок.



Б.П. Леонтьев

Б.П. Леонтьев. Мне 10 лет было, когда я переехал в город. В посёлке из книг нам привозили только учебники, а писали мы на газетах. В городе я пошёл в библиотеку, в читальный зал, и там так начитался, что поступал в университет без подготовки. И когда, будучи уже студентом, зашёл в ту же библиотеку, ко мне, улыбаясь, подбежали библиотекари. Я спросил: «Чем заслужил

такой приём?», а они ответили: «Вы у нас первый читатель».

Г.А. Солуянова. Мы сейчас дружим с музеем Валентина Григорьевича Распутина и вчера присутствовали на встрече «Что в слове, что за словом?», где высту-

пали Василий Козлов и Валентина Семёнова. Было очень интересно. Хорошо, что существуют такие места, куда можно прийти и узнать для себя много нового. Так вот, музей Валентина Григорьевича Распутина недавно прислал нам фотографию с просьбой сказать, кто изображён на ней рядом с Вампиловым. На этой фотографии Александр Вампилов и Людмила Добрачева смотрят друг на друга с такой любовью и нежностью!..

В.И. Зоркин. А кто автор фотографии?

Г.А. Солуянова. Мы не знаем.

В.И. Зоркин. Дело в том, что я часто снимал Саню, да и Боря тоже.

И.К. Петров. Да, я часто его снимал. Например, знаменитая фотография «На берегу пустынных волн» — моих рук дело.

Г.А. Солуянова. Это, где он в пальто стоит?

И.К. Петров. Да. Мы вышли тогда в пасмурный день на улицу, и я его снял на фоне моста. Потом я дал ему фотографию, он посмотрел на неё и выдал фразу: «На берегу пустынных волн».

Б.А. Кислов. Я думаю, мы слишком увлеклись и не ответили на поставленный вопрос. Я могу сказать, что в нашем становлении, во-первых, роль сыграло наше поколение, поколение 40-х годов. Мы увлекались литературой, музыкой. И на нас, одноклассников Вампилова, Сашино влияние сказывалось. Он задавал тон. Например, мы старались не опускаться до пошлости, до банальности вроде: «Мы комсомольцы, давайте споем песню».

Б.П. Леонтьев. А я комсомольцем никогда не был. И пионером не был.

Б.А. Кислов. Нельзя сказать, что мы были какими-то оппозиционерами. Но к таким вещам мы относились безразлично, официальная идеология нам была до лампочки. И никто из нас, кроме Андрюши Румянцева, никогда постов комсомольских не занимал.

И.К. Петров. Комсомольский пост он не занимал, он партийный пост занимал.

Б.А. Кислов. Но он этим не увлекался, ему это дело тоже было до лампочки. Я хочу сказать, что наши интересы были в другом. И я думаю, что Саша по-своему помог нам укрепить те задатки, которые были в нас изначально. Например, мы любили наш оркестр.

Г.А. Солуянова. А вы все были в оркестре?

В.И. Зоркин. Кроме меня. Я только вас снимал.

Б.А. Кислов. Ещё Андрей Румянцев в оркестр входил — играл на своей «бандуре». Так, раз в минуту брякнет. Как называется этот инструмент?

И.К. Петров. Балалайка-бас. Она громадная такая.

Б.А. Кислов. Не очень трудно играть на этом инструменте.

И.К. Петров. Я им всегда цифровку давал — вместо нот писал цифры.

Б.А. Кислов. Сашка и Игорь всегда ходили в аристократах. Они исполняли роль прим.

И.К. Петров. А на 4-м курсе, когда я стал руководителем, Саня стал у меня первой примой.

Д.Е. Суров. Раз уж мы затронули тему приятных воспоминаний, пусть каждый из вас поделится самым ярким и значимым для вас воспоминанием, связанным с А.В. Вампиловым.

Б.П. Леонтьев. Перед поступлением в аспирантуру у меня появилась проблема с жильём. Общежития не работали, и я не знал, куда мне пойти. Саша сказал мне тогда: «Мой брат сдаёт квартиру, живи там, о деньгах не беспокойся — я всё оплачу». Вот так Саня меня выручил.

Г.А. Солуянова. Это вы на 3-й Железнодорожной жили?

Б.П. Леонтьев. Да, там. И это лишь один из случаев. Однажды мы повздорили с В.Г. Распутиным. И он, и пятеро второкурсников даже бить меня тогда хотели. Я рассказал Сане об этой проблеме, он задумался, но ничего не сказал. А у него в то время каждый день рождения проходил с застольем и с друзьями, причём каждого он лично приглашал. И вот он меня пригласил. Я пришёл, смотрю, никого нет. Потом пришёл Распутин, и Саня сказал: «Вот я вас собрал, жмите руки и оставайтесь друзьями». Руку я, конечно, пожал, но друзьями мы с Распутиным так и не стали.



В.И. Зоркин

В.И. Зоркин. Я тоже вспомнил случай, который запал мне в душу. Это было первое знакомство с Вампиловым. Когда я поступал в университет, то сдавал 5 предметов. И для поступления нужно было набрать 25 баллов. Я набрал 24, так как получил «4» по географии. А 8 августа, в свой день рождения, я пошёл сдавать историю. В одной аудитории со мной тогда сидели парень и девушка. К билету я подготовился быстро, так как историю знал хорошо и даже вёл в школе с 9-го по 10-й класс исторический кружок. Вдруг мне в руку ударился бумажный шарик, я его разворачиваю, а там надпись: «Напиши про Медный бунт». Я быстро написал, что знал, и отправил бумагу обратно. Успешно сдав экзамен, я вышел в коридор и стал смотреть расписание на стене. Тут подходит

ко мне невысокий, чёрный, курчавый парень в тюбетейке и с зонтиком — Вадик Гребенцов. И тыкает меня зонтиком в живот.

И.К. Петров. Вадик пижонистый был немножко.

В.И. Зоркин. Я рассвирепел и отшвырнул его так, что он приземлился на стойку огнетушителя. Огнетушитель включился, а Вадик, шмыгнув на лестницу, был таков. И тут из аудитории выходит Саня, мы вместе зашли за угол, а там на подоконнике стояла Санина гитара, он небрежным жестом взял её за гриф, и мы пошли дальше. Когда мы вышли на улицу Саня спросил меня: «В футбол играешь?» Я сказал, что с футболом особо не дружу, но люблю велоспорт. Дальше Саня спросил меня про отца, я сказал, что мой отец погиб на фронте. В тот день и началась наша дружба, и не было момента, когда бы мы с Саней ссорились. Вспо-

минаю ещё один случай. Мы решили тогда пропустить лекцию по философии и зашли в гости к моему знакомому дяде Жене, Евгению Ивановичу Горохову, охотоведу, жил он в Учительском переулке. Сидели, разговаривали, выпивали. Дядя Женья решил показать нам старые ноты, которые он бережно хранил. Он вышел в сени, быстро вернулся с огромной папкой и положил её перед нами. Одна небольшая нотная тетрадь повергла Сашу в изумление: «Смотри-ка ты! Да это же есенинский «Клён ты мой опавший» в аранжировке Васильева-Буглая... Сейчас играют по-другому, но я считаю, это самая лучшая мелодия». И дядя Женья заиграл романсы на слова Апухтина «Песня туманная, песня далёкая», «Гремела музыка, горели ярко свечи», лихо исполнил романс «Пара гнедых». Потом все вместе мы спели грустное тургеневское «Утро туманное, утро седое». На прощание ещё раз послушали апухтинскую «Разбитую вазу». Мы с Сашей тихо пошли по Учительскому переулку, потом берегом Ушаковки. Прощаясь, он сказал только: «Интересный мужик дядя Женья! Простой, но, кажется, мудрый. Таким в жизни не везёт...» На том и расстались. Позже дядя Женья не раз вспоминал нашу встречу, а когда я окончил университет и уезжал, он неожиданно сделал мне подарок — свою гитару, которая в данный момент находится в музейной экспозиции этого Центра.

Б.А. Кислов. Есть у меня воспоминание, характеризующее наши с Саней отношения. Я родом из Новосибирска и для учёбы приехал в Иркутск. Я часто уезжал домой, даже на зимние каникулы. Помню, однажды приехал в Иркутск, зашёл в общежитие и встретил там Игоря. Сказал: «Игорь, поехали, мне тётя дала жареную утку». Мы поехали тогда к Сане на 3-ю Железнодорожную, помнишь?

И.К. Петров. Утку не помню.

Б.А. Кислов. Как это ты утку не помнишь? По-моему, ты не так часто их ел.

И.К. Петров. Да, может быть.

Б.А. Кислов. Приезжаем, Саня дома. Тут же мы накрыли на стол, и Саня, естественно, взял гитару начал играть «Если б я солнышком на небе сияла».

И.К. Петров. Шопена.

Б.А. Кислов. А в той песне переход очень красивый, и Саня немного грубовато, но очень точно определил этот переход с одной каденции на другую. Мы засиделись допоздна, и тогда я понял, до чего же мы всё-таки прикипели друг к другу. Нас ведь чисто формально определили по группам, но как-то так получилось, что все те люди, которые попали в нашу группу, оказались спаяны между собой. Да, и Сашка же постоянно был у нас в общежитии. Бывало, зайдёшь в комнату, а Саня спит на моей кровати. Один раз даже Миша пришёл разыскивать его в общежитие.

Г.А. Солуянова. Михаил Валентинович [старший брат драматурга]?

Б.А. Кислов. Да. Мы его Мишей звали. Пожалуй, больше Сани времени в общежитии проводил только Вадик Гребенцов. Про него даже говорили: «Вадик Гребенцов раньше всех встаёт в общежитии», хотя он ни дня в общежитии не жил.

Б.П. Леонтьев. Когда я бросил свою диссертацию, для меня остро встал вопрос поиска работы. А у нас тогда заведующим кафедрой был Забелин Павел Григорьевич, и он мне сказал: «Раз ты вампиловец, я тебе помогу». Он пошёл в обком партии и договорился, и я стал работать на самом партийном факультете будучи беспартийным.

Г.А. Солуянова. Игорь Константинович, ваша очередь.

И.К. Петров. Как-то раз мы поссорились с девочками-однруппницами, потому что на один из танцевальных вечеров они пригласили взвод курсантов ИВАТУ. Человек пятнадцать-двадцать. Мы, естественно, обиделись и собрались в закуске возле военной кафедры. Наш куратор, узнав об этом, пришла и начала нас уговаривать вернуться в актовЫй зал, на танцы. Именно из-за этого случая у Вампилова в пьесе «Старший сын» появился образ иватушника Кудимова. Что касается самого памятного события, оно случилось в 1957 году, Саня пригласил меня на день рождения. И вот после дня рождения я уже собрался домой, а Саня мне и говорит: «Да зачем тебе ехать? У тебя вроде всё с собой. Оставайся до 1 сентября, потом вместе поедem». И вот я десять дней жил в Кутулике. После своей деревни, после сенокоса, уборки урожая я вдруг стал белым человеком!

Б.П. Леонтьев. Я хотел поделиться ещё одним воспоминанием. Приехал я однажды в Аларский колхоз, погода была дождливая, и мы с ребятами не работали, нас одолела скука. Тогда мы с Саней залезли на крышу дома, где расположились первокурсники, и заложили там трубу. Наши однруппницы, конечно, были возмущены этим хулиганским поступком. В случае, если бы они пожаловались, то встал бы вопрос об отчислении меня и Сани. Ночь мы с Саней провели в переживаниях, но наутро девчонки решили нас простить.

В.И. Зоркин. Трубу открывал я, наверх лазил.

Б.П. Леонтьев. А до этого был случай. Когда я приехал, они голубей набили и устроили пир.

В.И. Зоркин. У Ларисы Курзо день рождения был.

И.К. Петров. А кто за голубями на крышу лазил?

В.И. Зоркин. Не знаю.

Г.А. Солуянова. Так, а Вампилов тоже голубей бил?

И.К. Петров. Нет. Мне кажется, вряд ли.

Б.А. Кислов. Ну, вдохновителем этого действия был наш лаборант Калошин. Санька даже выдал экспромт насчет него: «Судьбою злою нам подброшен Владимир Павлович Калошин», а потом, когда мы голубей ели, и Вадик Гребенцов стоял около печки, Саня и говорит: «Бледней ста тысяч мертвецов Вадим Авдеевич Гребенцов», и тут пошли уже наши экспромты: «Тащи скорее огурцов, Вадим Авдеевич Гребенцов» и так далее...

Г.А. Солуянова. Мы говорим вам спасибо! Вы не знаете, какая отрада в душе из-за того, что вы откликнулись на нашу просьбу и пришли!

Б.А. Кислов. Вот мы сейчас это всё вспоминаем, а скоро будем думать: «То ли это было до Октябрьской революции, то ли после?» Настолько это было давно.

*Расшифровка беседы:
научный сотрудник Центра А. Вампилова Дмитрий Суров*

*Литературная обработка, фотографии:
научный сотрудник Центра А. Вампилова Екатерина Фалалеева*

ПОЭЗИЯ



АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ

Прощай-прости

* * *

И весенним тихим вечером
Не до книг и совсем не до снов.
Вот луна (тучкой чуть покалечена),
Вечный спутник любви и стихов.
Вот тропинка — тропинка юности,
И по ней мне до счастья шагать.
При такой откровенной лунности
Счастья мне недолго искать.

* * *

О.Л.

В твои глаза случайно взглянешь —
Свои невольно отведёшь.
Раз на дороге твоей встанешь,
Другой далёко отойдёшь!

1952

* * *

М.Н.

Брошки, ленточки да банты
Дополняют красоту.
Подрастёшь — и будут франты
Посягать на красоту.

1952

* * *

Д-у

Хочешь впереди пути возноситься высоко,
но пока лишь нос* повыше, остальное — далеко.

* * *

Чёрные глаза мерещатся Петру,
Но какой-то голос: «В порошок сотру!»
Потерял Генаха из-за них покой,
А какой-то голос: «Не дойдёшь домой!»
Чей же это голос? Кто же смеет так?
«Замолчать, щенята! Это я — Спартак!»

* * *

Г.

Тебе, хвастливый «склад науки»,
Хочу я скромно пожелать,
Заткнувши рот, связавши руки,
А превосходство доказать.

Школьный новогодний вечер. 1952 г.

* * *

Ты просто звонко посмеялась.
Ну что же, я люблю твой смех.
Глупцу, мне просто показалось,
А ты такая ведь для всех.

И вот теперь проходишь мимо,
Во всем легка и весела,

Весна 1953 г.

Ты всем мила, а мной любима,
Но им свой смех ты отдала.

Что ж, я пойду своей сторонкой —
Любовь на смех не променять!
А ты... А ты посмейся звонко,
Такой тебя мне вспоминать.

* * *

Всё равно с тобой одной дорогой
Нам недолго, милая, идти.
Всё равно ведь, погода немного,
Скажем (ты иль я): «Прощай-прости!»

Разведут чужие нас улыбки,
И глаза чужие разведут.
Разведёт мой путь, неясный, зыбкий,
И дороги наши врозь пойдут.

И когда твоя любовь увянет,
И когда моя любовь пройдёт,

Кто в мои глаза вот так же взглянет
И кто так, как ты, меня поймёт?..

Но не может быть, чтоб мы забыли
Жизни нашей самый лучший цвет.
Нам забыть нельзя, ведь мы любили
Пылко, в первый раз, в пятнадцать лет.

А когда-нибудь у жизни края,
Вспоминая лучшее с тоской,
Я скажу: «Ты самая родная».
Скажешь ты: «Ты самый дорогой».

*Нос — разбитый.

* * *

Осень сквозь летящие листья
Жёлто-серою тоской глядит.
Мёрзнут оголённые кусты,
С серых туч унынье моросит.

И т. д.

* * *

Ты с милой легкостью забыла
И мне советуешь забыть
То, что когда-то (всё же) было,
И, слышишь, будет, может быть!

Вечер встречи 19 февраля 1955 г.

* * *

Я утверждаю хоть кому:
Свиданье называют встречей!
И, очевидно, потому
Мне нравится весь этот вечер.

* * *

Л.

Я был тебе — непонятый чужак.
И верю, суждено таким остаться.
Но я влюблён был, и влюблён был так,
Как не желаю никому влюбляться.

* * *

Т.Л.

Так легка и так безумна
Страсть моя и страсть твоя.
Шутка в верность неразумна —
Знаешь ты, и знаю я.

И души я не задену —
Ты глядишь по сторонам.
Мы любовь, тоску, измену
Разделили пополам.

Ты слова, улыбки реже
Наши будешь вспоминать.
Я слова, улыбки те же
Чаще буду забывать.

Мы с тобою много, Таня,
В этой жизни начадим,
Но друг друга не обманем —
Это только слабый дым.

* * *

Забуть лишь прожитое можно,
И юности скажу в укор
До мелочности осторожно
Тушить неспыхнувший костёр.

Вот так же и почти меж нами:
Чуть встретились — и врозь пора.
Ходили мы под фонарями,
Но не сидели у костра.

* * *

Мне когда-то кто-то напророчил
Путаные, длинные пути.
Вышел я во тьму осенней ночи
И не разберусь, куда идти.

И иду, уверенный не слишком,
Тянется в душе глубокий след.
Кажется упрямому мальчишке,
Что мальчишка — будущий поэт.

* * *

Может, бред, а может быть, забава,
Прихоть ли незрелого ума,
Но упрямо ниспадает вправо
Строк затейливая бахрома.

Но когда-то, как-то, что-то где-то
Я для этого с собою нёс,
И жалеть, что мерзнёт лес раздетый,
Иногда готов чуть не до слёз...

«И буду жить в своём народе!»

СТИХОТВОРНЫЙ ВЕНОК АЛЕКСАНДРУ ВАМПИЛОВУ

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

* * *

*Саше Вампилову, по-настоящему
дорогому человеку на земле,
без слов о твоём творчестве,
которое будет судить
классическая критика*

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе.
Потом ещё на чём-то вроде.
Потом верхом, потом пешком
Пройду по улице с мешком —
И буду жить в своём народе!

* * *

Саше

Ужас в душе небывалый,	Брошу я эти кошмары,
Светлого не было дня,	Выстрою дом на холме.
Саша Вампилов усталый	Саша, прости мне пожары,
Молча смотрел на меня.	Те, что пылали во тьме...

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Скорбь

Памяти Александра Вампилова

Здесь и спирт не поможет,	Что ты сделал, кипучий,
И трава-горюцвет,	Крутонравый Байкал?
Стали сердцу дороже	До рассвета над кручей
Те, кого больше нет.	Ветер смерти искал.
Отошли до заката.	На обрыве рябина
Имена, имена...	С горя — в пламень, дотла...
Вот и снова утрата —	Родила земля сына,
Одолела волна.	Уберечь не смогла.

Утиная охота

*Первому директору и режиссёру
Иркутского Театра народной драмы
Владимиру Дрожжину, поставившему
пьесу А. Вампилова «Утиная охота»
в самые запретные годы*

Встрепенулась хмельная ватага...
Необъятное ведро творя,
По заветным холмам и оврагам
Расплескалась до донца заря.

Желтолицым стрелкам на потеху
Птицам крылья ломала картечь,
Повторяло насмешливо эхо
Поднебесья убитую речь.

Камыши содрогнулись от грома,
Застонали во сне города,
Утки, ойкая, падали в омут,
От испуга дрожала вода.

А река навсегда уносила
Вниз по родине мёртвых лысух...
И в кипящих воронках крутила
Леденисто мерцающий пух.

ПЁТР РЕУТСКИЙ

Несбывшееся

Посвящается Александру Вампилову

И нет конца, и нет начала
Моим несбывшимся мечтам.
Вновь прохожу по тем местам,
Где ты, счастливая, скучала.
Как пароход ищу причала.
Гореть, гореть моим мостам.

Я никогда не перестану
Ждать, восторгаясь и скорбя,
Мне не достанет лишь тебя,
Когда однажды жить устану.
Чуть слышно лось проходит к стану,
Тревогу тайную трубя.

Пух с тополей летит порошей,
Его движенья так легки.
Не подаю друзьям руки,
Сегодня просто я прохожий.
Упал, во всём с тобою схожий,
Луч света поперёк реки.

Хотел бы жить начать сначала,
Чтоб всё не так и всё не там,
Но гордость ходит по пятам.
Ты не ждала и не скучала.
А я опять ищу причала
Моим несбывшимся мечтам

Триптих

Памяти Александра Вампилова

1

Всё на свете до поры, до срока,
И никто не знает, где тот срок.
Расплескался широко-широко
Ангары стремительный исток.

И уходит август перезревший...
Как природа-мать ни берегла,
Он сгорел, теплом своим согревши
Эти золотые берега.

Всякий лист по-своему сгорает.
Сумерками тянет от горы,
И уже последний луч играет
На волнах кипящей Ангары.
Ночью здесь и холодно, и дико.
Затрещал костёр, таёжный друг,
Будто бы жарками и гвоздикой,
Бликами усыпал всё вокруг.

Ты гори, гори, костёр, до срока,
До поры до утренней горы.
Вот и солнце — всей вселенной око —
Глянуло на нас из-за горы.
Всё, как есть, уходит и приходит,
Чья-то лодка скрылась за мысок.
Снова день. И в жизни, и в природе
Есть всему своя пора и срок.

2

Вспоминайте меня весело,
Словом, так, каким я был.
Что ты, ива, ветви свесила,
Или я недолюбил?
Не хочу, чтоб грустным помнили.
Много песен дорогих,
Только песни ветра полные
Мне дороже всех других.
По земле ходил я в радости,
Я любил её, как бог,
И никто мне в этой малости
Отказать уже не мог.

Всё моё со мной останется —
И со мной, и на земле.
У кого-то сердце ранится
На моём родном селе.
Будут вёсны, будут зимы ли —
Запевайте песнь мою!
Только я, мои любимые,
С вами больше не спою.
Что ты, ива, ветви свесила,
Или я недолюбил?
Вспоминайте меня весело,
Словом, так, каким я был.

3

О нет! Не всё уходит в землю,
Что от земли к тебе пришло.
В далёком небе звёзды дремлют,
А на земле грешным-грешно.
Но этот мир мне мил и дорог,
Как наша пахотная Русь.
Возьму лесного сена ворох,
По шаткой лестнице взберусь.
Дед заворчит: провалишь крышу.
А что, возьму и провалю.
Но ничего уже не слышу —
Летит звезда, и я люблю.
Я сроду не стремился к звёздам
И не читал про звёзды книг,
Но вот — мир, может, так и создан —
С годами думаю о них.

Бывает, целыми ночами
Сижу у неба на виду.
Уже немало за плечами,
Пора искать свою звезду.
Ведь всё для всех — земля и небо,
Пускай не поровну, но всем
Глоток воды, краюха хлеба,
Который с детства честно ем.
Тепла и радости побольше,
Всего, с чем мы привыкли жить.
Ищи звезду свою подольше,
И тут никак нельзя спешить.
Я миру звёзд безмолвно внемлю,
Жду радости, но не беды.
Не покидайте, люди, землю,
Не отыскав своей звезды.

Картина

Ольге Вампиловой

Я для тебя пишу картину	А вот сугроб ромашек белых,
Без красок и без полотна —	Здесь хоть снопами их вяжи.
Обыкновенную квартиру	Левее чуть вlepились в берег
С полоской мира в пол-окна.	Старинной пристани ряжи
Мир в пол-окна. Стоит берёзка	И камни, замершие в лоске.
С могучим кедром на горе,	Полоска мира!
Вот неба синего полоска	Как-то вдруг
В такой же синей Ангаре.	Хватило узкой той полоски,
Мир в пол-окна...	Чтоб не доплыл мой добрый друг.
А как в нём много!	И я нарисовал картину
Вот шлюп с командой парней,	Без красок и без полотна —
А под горой пылит дорога —	Обыкновенную квартиру
Мчит поезд свадебный по ней.	С полоской мира в пол-окна.

ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

Памяти друга

Александру Вампилову

Свет и печаль на твоей остановке.
Лёгкие кроны летят в вышине.
Чудная странница — божья коровка,
Капелькой крови упала ко мне
На руку... Друг! Сумасшедшее время
Здесь позабыло, откуда пришло...
Друг мой таинственный!
Память — не бремя,
А обронённое в воду весло —
Кружит, несётся в прозрачном теченье
Незамутнённой Реки бытия.
Мелкое всё — потеряло значение.
Суть прояснилась. Ей нет забвения.
Лесом покрыты холмистые дали,
Скошены травы, и август примят.
Вольно дышать на последнем причале!..
Веток пихтовых сух аромат.

БОРИС АРХИПКИН

Памяти Александра Вампилова

Саша Вампилов — чистая песня,
Саша Вампилов — белый кораблик.
Ты не напишешь новую пьесу,
«Старшего сына» осветит рампа.

Глаз никогда ты добрых не сузишь,
Не посмеёшься с Валею и Глебом.
В мрачном молчанье домик «Союза...».
Чёрные волны — синее небо.

ЕЛЕНА ЖИЛКИНА

Я принимаю шторм

Александру Вампилову

— Примите шторм, —
мне в телефон кричат,
я слушаю и радуюсь, и верю...
А ветер вдруг без стука, сгоряча,
в мой тихий дом распахивает двери...
Я не боюсь разгневанных ветров,
бросаюсь с ожиданием к ним навстречу,
они взорвут молчанье вечеров,
упругий плащ накинута мне на плечи.
Какая свежесть разлита кругом!
Я к грозным тучам выхожу с доверьем,
ловлю летящих капель дробный звук
и слышу, как сражаются деревья.
Я вместе с ними этот воздух пью,
и каждый шаг мне достаётся с бою...
Я никогда теперь не уступлю
предательскому подлому покою.
Моя любовь, тебя не знаю я,
с лицом открытым, ты такой лишь снилась.
Как непохожа ты в неистовстве дождя
на ту, что в комнатной тиши таилась.

...Врывайся, вихрь, я не задёрну штор,
не спрячусь в страхе, на забьюсь под крышей!
Ты слышишь, жизнь, я принимаю шторм,
я принимаю шторм, любовь, ты слышишь?

* * *

Памяти Александра Вампилова

Свет звезды, свет звезды
там, у самой дальней гряды...
Я встречаю её вечерами,
так условлено было когда-то меж нами.
И я верю, я знаю:
для такого свиданья
нет ни зим и ни лет,
и нет расстоянья.
Уведут в холода,
заболеют позёмкой дороги,
будут плечи знобить
неразлучные с ними тревоги.

От снегов, от тревог ли иззябну в пути,
если в небе вечернем
той звезды не найти.
Её свет, её след,
приходящий ко мне
через множество лет,
через зыбкие сумерки
и небесные выси,
чтобы мысли мои
тем сияньем возвысить,
чтобы время земное длилось моё...
Как же мне без неё?

СЕРГЕЙ ИОФФЕ

Предчувствие

Памяти А. Вампилова

Впустую думы и труды,
не впрок занятие любое...
Я в постоянном непокое
и в ожидании беды.

И будет поздно бить в набат,
зовя на помощь друга, брата:
сойдись, сольются три набата —
в беде и ты, и друг, и брат...

Что принесёт её сюда?
Звонок? Газета? Телеграмма?
А может, гость — с порога прямо:
«Худая весть. Беда. Беда».

А ныне есть ещё резон?
Есть срок, дабы содейть чудо?
Приснись, дурной, но вещий сон:
что за беда грядёт? Откуда?

НИКОЛАЙ КОТЕНКО

Памяти Сани Вампилова

Мне припомнится речка Харат,
Говорливое это струенье,
Сети с тяжелой листвою осенней
И на сопках — тяжёлый наряд...

Были молоды мы и сильны
Тем, что нам впереди предстояло.
Дружба нам никому не мешала —
Нам ещё и не снились чины.

И забуду «твое» и «мое»,
Как тогда это с нами случилось:
От нехитрой печурки лучилось
Для любого — для всех — зимовье.

Каждый верил, что этот и тот,
Как бы там ни хитрило искусство,
Не изменит тогдашнему чувству
И в разведку с тобою пойдёт.

Мы во всём тогда ведали толк!
Но когда мы — о Боже! — узнаем,
Что при жизни не всем успеваем
Оплатить несписуемый долг...

Эта ноша с годами стократ
Пригибает усталые плечи,
Но пред тем, как откроется Вечность,
Мне привидится речка Харат...

ЛЕВ КОТЮКОВ

Памяти Александра Вампилова

Улыбнись через боль, через силу,
Сам не знаю — чему улыбнись...
Где ты есть нынче, Саня Вампилов?
Где твоя потаённая грусть?

...Он лежал, сам себя забывая,
У байкальской обманной воды.
Впрочем, что я слезу вышибаю
У себя, у друзей, у Судьбы?..

Сколько выпито! Сколь недопито!
И вся жизнь, как с водой решето.
Ветер с севера. Зябнет ракета.
На ракиту наброшу пальто.

Улыбнись через боль, через силу,
Улыбнись — и печаль затаю.
Где ты есть нынче, Саня Вампилов?!
Ты прости мне улыбку мою.

ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВ

Вампилов

Так странно: мы на крышу вылезли,
В провалах зыбились огни...
Зачем сюда мы споры вынесли,
Слова горячие свои?

Свежо, тревожно, хоть безветренно,
Как на небесном берегу.
Сидим (нас трое или четверо —
Теперь припомнить не могу).

Душа дышала, незажатая,
В туманных шорохах листвы.
И, крону ночи чуть пошатывая,
Мерцал глубокий гул Москвы.

Пришло же это Сашке в голову —
Лоб вешним духом освежить,
Соприкоснуться с вечным городом,
В открытости поговорить:

Общежитийское и братское
Святое чувство доброты

Роднилось с чувством высоты,
Как эти смуглые бурятские и эти русские черты.

И в этом весь — в своей манере он —
Мысль тотчас в действие облечь.
Ах, Саня, Сашка... О Мольере он
Вблизи небес заводит речь.

Всё о театре, о Сибири, всё о Чулимске,
О тайге, о воле, о байкальской шири...
...Что выразим мы в этом мире,
Где каждый миг — на волоске?

А свежесть переходит в росность,
Бледнеет Млечная тропа.
Так скрытен и опасен Космос.
Так скрытны Слово и Судьба.

Во времени живыми нитями
Я чутко связан с ночью той:
Сидим на крыше общежития
Над затихающей Москвой.

ИННОКЕНТИЙ НОВОКРЕЩЁННЫХ

Осень уходит

*Памяти Александра Вампилова,
погибшего на Байкале*

Помоги смастерить белый свет
Из опавшей листвы, из тумана,
Чтобы солнца — на множество лет,
Как бывало всегда, без обмана.

Значит, так, по рукам? — По рукам!
Только прежде разбросим на титрах:
Полпроцента дадим дуракам,
Полпроцента оставим для хитрых.

Дальше каждый пусть выберет сам.
...В нашем сквере среди огненных веток
Будут ветры свистеть тут и там,
Будут звёзды сиять так и этак.

Будут петь и грустить иногда
Незнакомые Нади и Аллы,
И туристы спешить кто куда,
И все алики сдвинут бокалы.

И друзья (каждый жив и здоров,
Каждый за эту осень в ответе)
На шальной перекрёсток ветров
Выйдут вместе с тобой на рассвете...

Значит, так, по рукам? По рукам!
Только мир не бывает послушным...
Кто-то требует: всё — дуракам!
Кто-то требует: всё — равнодушным!

Холод ждёт, листопадным кольцом оцепя...
Мы готовимся к бою с судьбою.

Осень...Осень бредёт!..
Без тебя!..
Осень...Осень уходит!..
С тобою!.

АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ

Град

Александру Вампилову

Летний град на белых лапах
бродит вдоль кустов,
ходит с севера на запад,
с юга на восток.
А с горы, как от погони
скачет кабарга,
мчится в шорохе и звоне
льдистая река.
Прилетевшие без цели
из небесной мглы
семь планет
в ладонь мне сели,
как земля, круглы.
Что за сила их, ледовых,
к жизни извлекла?
Им невесело в ладонях:
гибнут. От тепла.
Призрак тающей Вселенной
я несу в руке,
сам затерян в белопенной,

градовой реке.
Солнце
тучи рвёт лучами.
Как бессильный бог,
я гляжу —
семью ручьями
Млечный Путь потёк.
Семь мокринок невесомых
сгасли на руке —
я иду в кустах зелёных
по бывшей реке —
стрезень сам себе,
и запань, устье и исток,
стылый север,
мокрый запад,
утренний восток,
утверждённый в тьме и свете,
в ливнях и в пыли,
уподобленный планете
на руке земли.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Байкал

Памяти Александра Вампилова

Зацвёл багульник по угорам,
Зарёй окрасив лепестки.
И, сбросив лёд,дохнул простором
Байкал на сонные пески.

...Байкал. От сопок полдень синий
Стекает медленно в тайгу...
А там, вдали, в изломе линий,
Я взором лодку стерегу.

Быть может, там моя удача,
На гребнях пенистых валов,
Где чайки, за кормой маяча,
Подстерегают свой улов.

Где в шторм — одно к спасенью средство:
За вёсла взявшись, насмерть стой!
Чтоб берег зыбкий, словно детство,
Казался Родиной святой.

ВЛАДИМИР СКУРИХИН

* * *

Александру Вампилову

Путь медною монетой замело.
Не просто выжить, если сломлен вереск.
Я разучился чувствовать тепло.
Скажи: «Здесь горячо!» — и я согреюсь.

Но не замкнётся в рамки языка
Таинственное слово откровенья.
Твой дом — просторы, бытие — века,
Отечество — предвечное мгновенье.

Пусть облака сгорают на огне
Стремительного горного заката.
Я знаю гром, он знает о тебе.
Пора! Стихия памятью богата.

Пора, искрится золотистый эль,
И тополя в обнимку зашумели.
Ты вызываешь славу на дуэль.
Не дай вам Бог не выиграть дуэли.

АННА СТАРОДУБЦЕВА

Дом окнами в поле

Памяти Александра Вампилова

Просто-напросто книга,
обложка и титульный лист.
Что-то вывел художник на них,
до улыбки простое.
И рассыпан всё тот же
знакомый внутри алфавит.
И прохлада страниц.
И на снимке — лицо молодое.

Неприметный пейзаж,
где июньские встречи — тайком,
и у платица милый фасон,
только нынче — немодный.
И всему вопреки —
пусть они побегут босиком
против подлости, как против ветра, —
легко и свободно.

Это просто кларнет.
Это жест осторожной руки.
Это взмах Музыканта,
как взлёт расшалившейся птицы...
Это просто —
как тёплой ладонью коснуться щеки
и слезинку смахнуть,
задержавшуюся на ресницах.

И когда захолонет, застонет,
забьётся от слёз
то, что всё ещё живо,
хотя и томится в неволе,
пусть покажется явью во сне —
белый свет от берёз
и бревенчатый дом
золотистыми ставнями — в поле...

ЮРИЙ ЩЕРБАК

Памяти Александра Вампилова

1

«Переезжайте в Ленинград...»	«Москву во сне и наяву
Он разорвал письмо устало:	я вижу, право, у Байкала».
«Я Ленинград увидеть рад.	Шумел, горел он — сердцем смел.
Но всё ж останусь у Байкала».	Спешил, писал — всё мало, мало!..
«Перебирайтесь к нам в Москву» —	И, как он сам того хотел,
ему поклонница писала.	навек остался у Байкала.

2

Два дома у него. Один в Иркутске.	о славе по Сибири свищет
Другой — в Кутулике,	метель над каждой избой.
две боли-радости,	Он жив...
две грусти.	На смену подрастает
И вечное перо в руке.	другой. Глядит на снег в окно...
В Кутулике родился...	Известно нам давным-давно,
Вроде бы	что смерть
ушёл,	лишь гений побеждает.
вот-вот придёт опять...	Он жив.
В Иркутске — серое надгробие,	В России знаменит.
из-под которого не встать...	Ведь наши встречи повторятся.
О чём задумалось, кладбище?	Так отчего глаза слезятся?
Он выиграл у смерти бой —	Так отчего душа болит?

ДМИТРИЙ ИВАЩЕНКО

* * *

В местах заветных лодку чаль!
Листвянка, август, брат Вампилов...
Мы по-сибирски крепкий чай
с листом смородиновым пили.
На море славном — чёрный штиль.
Сполóхи, как в грозу, шафраны:
костёр меж скал плясал шаманом
и в лунный бубен колотил.
Шатался лес в медвежьей шкуре,
скрипя стволами кедрача.
Рассказ охотничий ворча,
гуран — со шрамом — трубку курит.
Холодный камень с веткой хвойной —
сурова малая моя...
Кукушка, долгих лет напой нам,
байкальских аликов храня.

ЛЮДМИЛА БЕНДЕР

* * *

Памяти Александра Вампилова

Вновь на могиле твоей
я с молодыми актёрами.
Память, печаль не развей.
Чтут — обсужденьями, спорами.
Помнят, конечно, друзья —
стали маститыми, старыми.
Память состарить нельзя.
Чудятся звуки гитарные...
Годы! Цепь прожитых лет,
ты под землёй — всё не верится.

Дай мне, о дай мне ответ —
с памятью надобно свериться, —
верить во зло не могу:
что же тебя сокрушило?
Здесь, на твоём берегу,
тополь, берёза, крушина,
розовый камень — гранит,
астры, настурции, розы.
Годы! И сердце болит.
Не проливаются слёзы.

ОЛЬГА ГОРБОВСКАЯ

Памяти Александра Вампилова

Я помню романса звуки,
Восточный прищур во взгляде,
Гитару обнявшие руки,
Волос непокорные пряди.

Я помню насмешки Ваши,
Остроты, как выстрел меткий...
Для нас Вы остались Сашей —
То добрым, то резким и едким.

В тот год я прощалась с детством,
В тот год я прощалась с Вами,

Учившим меня кокетству,
Искусству играть словами.

Но как до обидного мало
Вас было для нас, живущих,
Тогда я ещё не знала,
Что смерть выбирает лучших.

Что можно уйти внезапно
Туда, где никто не разбудит,
Что слава наступит завтра,
Когда Вас уже не будет...

БАЯР ЖИГМЫТОВ

* * *

Постоим на аларской земле,
Слово «Вампилов»
скажем спокойно,
С благодарностью —
Школе и дому,
Селу Кутулик
И учителю литературы.

Дверь закрыта
в жизнь драматурга,
И открыты
книги, театры...
Будем снова читать его пьесы
И читать свою жизнь
Глазами Вампилова.

ЛИДИЯ ЮРЬЕВА

Гусиная охота

Посвящается А. Вампилову

Ни журавлей не вижу, ни гусей,
Лишь выстрелы вдали убойно лают.
Огромной жёлтой лебедью по всей
Округе нашей осень проплывает.
Осины кровь на шее у неё
Стекает медленно в студёные озёра,
Где птичья мелочь весело снуёт,
О скором перелёте споря.
А ночью я слышала с небес
Стон журавлиной запоздалой стаи...
Она летела за соседний лес,
В чернильном небе медленно растаяв.
...Всё скачут выстрелы по сопкам и лесам —
Ни разу гуси в синеве не плыли!
Какие люди нынче бродят там,
Кого они на этот раз убили?!

ИННА МАРЦИНКЕВИЧ

Саша Вампилов

Саша Вампилов,	Нет. И не эта
Мальчик любви и печали.	Радость весеннего гула.
Братством иркутским	Может, Байкал,
Вас мы вчера вспоминали.	Где прелестная нерпа сверкнула.
С полкок высоких	Омуль пошёл
Брали высокие книги —	Косяками в рыбацкие сети.
Света свеченье.	Песня, которую
Броская строгость брусники.	Спел орочон на рассвете.
Нет, не брусники,	Да, Ваши книги
Броская строгость багула.	Родственны этой стихии.
Нет не багула,	Волны зелёные.
Радость весеннего гула.	Волны её голубые.
...Рвётся за облако	...Я выхожу
Птицы весёлая нота.	К необъятным просторам Байкала.
Кряквы кричат	Кружатся чайки,
И летят на родные болота.	Катер стоит у причала.
Чапает лось.	Древний Байкал!
В ерникé разродилась зайчиха.	Отчего поступил не по праву:
Тронулась в рост	Жизнь отобрал.
И под завязь пошла облепиха.	После — выплеснул славу.

Драматургия



АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ



Дом окнами в поле

КОМЕДИЯ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

ВАРИАНТ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Астафьева — сельский библиотекарь

Третьяков — зоотехник

Хор за сценой.

ВАМПИЛОВ Александр Валентинович, драматург, прозаик (1937, город Черемхово Иркутской области — 1972, озеро Байкал). Окончил Иркутский государственный университет, филологический факультет. Автор сборников юмористических рассказов *«Стечение обстоятельств»* (псевдоним А. Санин) (Иркутск, 1961); автор пьес (прижизненные издания): *«Старший сын»*: комедия в двух действ. (М., 1970); *«История с метранпажем»*: комедия в одном действ. (М., 1971); первые публикации пьес *«Прощание в июне»*, *«Старший сын»*, *«Двадцать минут с ангелом»*, *«Утиная охота»*, *«Прошлым летом в Чулимске»* — в иркутском альманахе «Ангара» («Сибирь»). Постановки на сценах отечественных театров и за рубежом. Посмертные издания: *«Избранное»* (М., 1975; М., 1999); *«Прощание в июне»*: пьесы (М., 1977); *«Старший сын»*: пьесы (Иркутск, 1977); *«Билет на Усть-Илим»*: публицистика (М., 1979); *«Дом окнами в поле»*: пьесы; очерки и статьи; фельетоны; рассказы и сцены (Иркутск, 1981); *«Утиная охота»*: пьесы (Иркутск, 1987); *«Стечение обстоятельств»*: рассказы и сцены; фельетоны; очерки и статьи; из неоконченного и неопубликованного; *«О Вампилове»* (Иркутск, 1988); *«Записные книжки»* (Иркутск, 1997); *«Финский нож и персидская сирень»*: рассказы и очерки (Иркутск, 1997); *«Драматургическое наследие»* (Иркутск, 2002). Член Союза писателей СССР.

Занавес открывается, и мы видим большую опрятную комнату — печь, стол, скамью. На скамье — букет июньских цветов, термос, на стене — несколько цветных фотографий из журнала «Огонек». На столе белье и уют. Входная дверь слева, рядом окно. Прямо — дверь в спальню.

Хозяйка дома Лидия Васильевна Астафьева у окна, внимательно наблюдает. Через минуту она возвращается к столу, разбирает белье, на мгновение задерживает в руках рубашку. В эту минуту она думает, вероятно, о том, что время, в сущности, летит так быстро... Ей двадцать шесть лет, она энергичная, привлекательная женщина.

Не прошло и минуты — она снова у окна, у наблюдательного пункта, она взволнована.

Вот увидела. Исчезла в спальне, появилась, принялась гладить. Сейчас она беспечна, но мы-то знаем, что это за беспечность.

Раздается стук в дверь.

Астафьева (помедлила). Зайдите!

Входит Третьяков, парень лет двадцати восьми. Симпатичен, толстоват и нерешителен. Третьяков из тех, кто подолгу раскачивается и кого излишняя образованность несколько отвлекает от дела. Он с чемоданом, настроение у него растеряннo-элегическое. Заметно, что человек пришел прощаться.

Третьяков. Добрый вечер, Лидия Васильевна!

Астафьева. Добрый вечер, Владимир Александрович!

Третьяков. Вот... Зашел, так сказать, откланяться.

Астафьева. А я думала, чего доброго, не попрощавшись уедете.

Третьяков. Ну, что вы, как можно! Я с чемоданом с самого обеда. Обошел всю бригаду.

Астафьева. Ко всем зашли... Устали, наверное?

Третьяков. Знаете, устал.

Астафьева. Устали... А тут еще к Астафьевой надо зайти. Вежливый вы, Владимир Александрович, от вежливости и страдаете...

Третьяков. Нет. Всех хотел видеть, три года все-таки тянул... И, знаете, только сегодня, в день отъезда, вдруг выясняется, что меня здесь любят!

Астафьева. А почему бы вас не любить...

Третьяков. Зав. фермой, оказывается, и тот меня любит!

Астафьева. А что, вы хороший были работник...

Третьяков. Председатель души во мне не чаёт! Пустяки, говорит, что мы с вами на ножах. Оставайтесь, говорит, по этому случаю на ферму воду проведу. Загадочные люди...

Астафьева. Хороший вы были зоотехник, только чуткости вы мало проявляли...

Третьяков. Нет, нет! Все любят — надо уезжать. Пришел срок.

Астафьева. Почему же уезжать, если любят?

Третьяков. Самое время. Пока не разлюбили.

Астафьева. Зоотехник вы были хороший, а вот общественной жизни избегали... и вообще неактивный.

Третьяков. Откуда у меня активность, если я меланхолик.

Астафьева. Самодеятельность бы подняли, раз меланхолик...

Третьяков. Меланхолики ничего не поднимают. Им и так трудно...

Астафьева. И куда вы теперь, Владимир Александрович?

Третьяков. Домой, ведь я, в сущности, житель городской... Три года я был так занят, что чуть не забыл о том, что родился я и вырос в городе. Надо возвращаться.

Астафьева. Да ведь вы зоотехник!

Третьяков. Ну и что? Друзья нашли мне работу.

Астафьева. Где, нельзя ли узнать?

Третьяков. Где? В зоопарке.

Астафьева. В зоопарке?.. Слонов будете выхаживать!

Третьяков. А что?

Астафьева. Слонов выхаживать, носорогов...

Третьяков. А что в этом плохого?

Астафьева. Львов, гиен, крокодилов...

Третьяков. Разве не интересно?

Астафьева. Удавов, крыс, морских свинок.

Третьяков. Ничего смешного... Чем не работа! Корма есть, вода есть. Нормальные условия.

Астафьева. Ни плана, ни привеса. Одна забота — лишь бы не сдохли.

Третьяков. Осуждаете?

Астафьева. Нет, давайте устраивайтесь. Бегемотов нашему колхозу на племя отпустите. Мы бегемотов выращивать будем. А вдруг — выгодно!

Третьяков. А вдруг... (*Смотрит на часы.*) Ну вот, надо нам, Лидия Васильевна, прощаться... Через полчаса уходит автобус.

Астафьева. Бегемоты, они, наверное, тонны по три каждый...

Третьяков. Не меньше, это точно... Ну и вот...

Астафьева. Спасибо, что зашли... Уважили.

Третьяков. Лидия Васильевна, разве я мог уехать не повидавшись с вами? К вам — последний визит. Для памяти...

Астафьева. Что ж... Дом мой последний стоит. По пути...

По улице тем временем возникла песня. Она приближается. Третьяков перед порогом, у окна, со свойственной ему нерешительностью тянет с уходом.

Третьяков. Да... Дом ваш последний. В хорошем он месте. Окна в поле и в лес. Уеду и буду вам завидовать.

Астафьева. Спасибо и на этом...

Третьяков. Лидия Васильевна, именно с вами я прощаюсь перед самым отъездом... Вы ведь знаете, я к вам всегда был неравнодушен.

Астафьева. К чему это вы, Владимир Александрович...

Третьяков. Я уезжаю, могу же я сказать на прощанье... Как-то у нас с вами... не получилось. Даже грустно. Вам не грустно?

Астафьева. К чему вы это теперь говорите...

Третьяков. Помните май? Лидия Васильевна, скажите честно, что было бы, если я тогда — помните, мы возвращались из леса — я перешел бы в ваш ходок?

Астафьева. Что было бы? Поехали бы вместе...

Третьяков. Да... Я так и думал...

Песня рядом, но слов еще не различить.

Астафьева. Вы тогда веселый были... Никогда вас таким не видела. Веселый и активный.

Третьяков (*спохватившись*). Да. Был отличный вечер. Будем вспоминать.

Астафьева. Вы пели, у вас ведь голос хороший, никогда бы не подумала...

Третьяков (*засобирався решительно*). Нет у меня никакого голоса... Пойду, Лидия Васильевна, я житель городской, и я не могу петь без аккомпанемента...

Астафьева. А из леса тогда мы за вами следом ехали... Нинка-учетчица мне про вас глупости говорила.

Третьяков. Какие глупости?

Астафьева. Никуда, говорит, наш зоотехник не уедет. Он, говорит, останется.

Третьяков. Почему? Она не говорила вам — почему я должен остаться?

Астафьева. Говорила... (*Помедлила.*) Глупости говорила. Вроде того, что вы человек сознательный и что очень вы к колхозу привязались...

Третьяков. Все верно. Привязался. И отработал, сколько полагалось. Три года. Вполне сознательно. Но теперь — пора!

Песня останавливается у дома. Астафьева открывает окно. Слышен хор.

Хор. Позарастили мохом, травой,
Где мы гуляли, милый, с тобою...

Астафьева (*закрывает окно, слышно пение, но слов не слышно*). Вольному — воля...

Третьяков. Прощайте, Лидия Васильевна. Я думаю, мы еще встретимся. Мир тесен... (*Прощаются — подают друг другу руки.*) Счастливо вам оставаться...

Астафьева. Спасибо и на этом...

Третьяков отворил дверь. Пение — громко.

Хор. Я отомстить ему поклянуся,
В речке глубокой я утоплюся...

Астафьева (*вдруг*). Постойте!

Третьяков (*закрывает дверь*). Да?

Астафьева (*решительно*). Я вас не пущу.

Третьяков. В чем дело?..

Астафьева. Сейчас я вас не пущу.

Третьяков. Почему, Лидия Васильевна?

Астафьева. Слышите?

Третьяков. Что?

Астафьева. Они остановились под окном.

Третьяков. Кто?

Астафьева. Вы что, не слышите?

Третьяков. Поют. Ну и что?

Астафьева. Вам нравится, как они поют?

Третьяков. Как обычно. Без аккомпанемента. Я опаздываю, Лидия Васильевна.

Астафьева (*закрывает дверь на ключ*). Садитесь, Владимир Александрович, послушаем.

Третьяков. В чем дело, Лидия Васильевна?

Астафьева. Славно поют.

Третьяков (*мягко*). Это не имеет никакого значения. Я должен ехать. Даже если бы за окном был хор Пятницкого. Все равно. Даже — тем более.

Астафьева. Сейчас вам уходить нельзя.

Третьяков. Мне понятно ваше настроение... Я сам... Я тронут, но... мне некогда.

Астафьева. Вы уйдете...

Третьяков. В чем же дело? Дайте ключ.

Астафьева. Но не сейчас...

Третьяков (*смотрит на часы*). Почему? Мне уже не терпится узнать.

Астафьева. Сейчас десять часов вечера...

Третьяков. Ну и что же?

Астафьева. Я говорила — вы нечуткий...

Третьяков (*задумчиво*). Так... И неактивный?

Астафьева. Это само собой...

Третьяков (*легкомысленно*). Вы хотите, чтобы я ушел от вас утром?

Астафьева. Что?!

Третьяков (*подошел к ней*). Раз вы меня не пускаете... (*Шепотом.*) Значит, вы хотите, чтобы я остался... (*Собирается ее обнять.*)

Астафьева (*отступает*). Эй-эй! Владимир Александрович! Вы ничего не поняли!.. (*Он пытается ее обнять.*) Слушайте!

Третьяков (*идет за ней*). Молчите. Сейчас я ничего не пойму... Оставим до утра... Я остаюсь...

Астафьева (*оскорблена*). «До утра!» С чего вы это взяли! Вы уйдете раньше, уверяю вас!

Третьяков (*остановился, обескуражен*). Когда? Ночью? Днем? Завтра? Послезавтра?

Астафьева (*с достоинством*). Вечером.

Третьяков (*рассердился*). Извините, Лидия Васильевна, с какой целью вы морочите мне голову?

Астафьева. Десять часов вечера, подумайте, что они скажут, если вы сейчас выйдете из дома?

Третьяков. Кто они?

Астафьева. Вы что, не слышите?

Третьяков. Ах, вон оно что! Что скажет хор, если увидит, что я вышел из вашего дома?..

Астафьева. Да! Что они скажут?

Третьяков. Ничего. Хор ничего не скажет, он что-нибудь споет.

Астафьева. Ну да! Как только хор перестает петь — он начинает сплетничать, вы что, не знаете?

Третьяков. Какие могут быть сплетни? Я уезжаю, я зашел проститься...

Астафьева. Вы-то уедете, а они останутся и будут думать...

Третьяков. Лидия Васильевна, пусть думают — нельзя же им все время петь.

Астафьева. Вам-то что, вы уедете, а я потом замуж не выйду.

Третьяков. Что?! Выходит, перед отъездом я должен выдать вас замуж? Вы это серьезно?

Астафьева. Тише, Владимир Александрович! Вы еще не в городе.

Третьяков. В городе, мне помнится, говорили: тише — вы не в лесу!

Астафьева. В городе все можно, а у нас уж так... Не взыщите.

Третьяков. По-моему, вы издеваетесь... Вы не хотите, чтобы я остался, и вы же меня не пускаете!.. Лидия Васильевна, именно с вами я вовсе не хочу ссориться. Откройте двери!

Астафьева. Не могу. Мы люди отсталые, с предрассудками...

Третьяков. Это вы-то? Ай-ай! Библиотекарь, активист, передовая женщина! Вы меня удивляете.

Астафьева. А вы — меня. Вы человек с высшим образованием, вы должны

быть джентльменом, а вы? Вам, как видно, ничего не стоит скомпрометировать женщину. Вам не хватает такта. И вы совсем не умеете ждать.

Третьяков. Чего ждать? Мне нечего ждать!

За окном пение затихло, послышался шум прошедшей машины.

Третьяков. Автобус!

Астафьева. Я очень сожалею, но полянка еще не разошлась.

Третьяков. Черт возьми! Что же вы предлагаете?

Астафьева (невинно). Ничего. Хотите — чаем угощу?

За окном грянула плясовая.

Третьяков. Бездельники! Сколько можно петь и сколько можно плясать!

Астафьева. А почему бы не поплясать? Только что отсеклись. Скоро сенокос.

Третьяков. Дайте ключ — расстанемся друзьями!

Астафьева. Расстанемся попозже.

Третьяков. Ну знаете, я в вас разочаровался. Мне о вас иначе говорили.

Астафьева (кротко). А вам надо было проверить — так ли все, как вам говорили. У вас было время.

Третьяков. Нет, нет! Не зря я вас опасался. Не без основания... Хорошо. Раз вы считаете, что мне неприлично выйти в дверь, — выпустите меня в окно.

Астафьева. Ну нет! На дворе луна — светло как днем! Не знаю уж как в городе, а у нас через окно ходить не принято.

Третьяков. Неужели? Что же у вас принято в таком случае? Может быть, мне вылететь в трубу?

Астафьева. Попробуйте, если вы такой рисковый.

Третьяков. Не понимаю, чем вас смущает окно? Если увидят, скажете, что вор. Скажете, что украл у вас шерстяную кофту.

Астафьева. Не поверят. У нас воров нет.

Третьяков. Воров нет, любовников нет — скучно вы живете! Понимаете, скучно!

Астафьева (мстительно). Не кричите на меня, пожалуйста. Вы мне уже надоели. Как только они уйдут — пожалуйста, скатертью дорожка!

Третьяков. Спасибо. Автобус уйдет — где, интересно, я буду ночевать? Под сосной? Квартиру мою, между прочим, успели уже замкнуть и заколотить.

Астафьева. Если бы вы не кричали, а разговаривали бы деликатно, я бы вам, так уж и быть, на лавке бы постелила.

Третьяков. Да? Вы очень любезны. Только я не желаю с вами больше разговаривать.

Сели в разных концах комнаты. Помолчали. На улице — снова пение.

Третьяков. «Деликатно...» Что же все-таки делать? Может быть, мне жениться на вас? Из деликатности.

Астафьева. Да я за вас никогда и не пошла бы.

Третьяков. Да ну? Вы же ко мне были равнодушны, скажете — нет? За вас вся деревня переживала.

Астафьева. Симпатизировала, пока не знала, какой вы есть.

Третьяков. Какой я есть?

Астафьева. Черствый и несознательный. Каких мало...

Помолчали. Песня заколебалась.

Третьяков. Где ваш муж, сумасшедшая вы женщина?

Астафьева. Нет у меня никакого мужа. И не надо.

Третьяков. Да где тот, что был? Неужели сбежал?

Астафьева. Разве я похожа, чтобы от меня муж сбежал?

Третьяков. Нисколько. Это верно. От вас сбежишь, пожалуй!.. Да где он?

Астафьева. Сама ушла.

Третьяков. Как же так?

Астафьева. Мой муж был пьяница.

Третьяков. И вы его не любили?

Астафьева. Да. Я его не любила. Я его пожалела. Да и других, Владимир Александрович, женихов здесь не было.

Третьяков. Зачем же за пьяницу?

Астафьева. А он не сразу. Сначала — не пил, меня уговаривал. Потом, когда я его пожалела, он на радостях запил. До сих пор радуется.

Третьяков. Где он сейчас?

Астафьева. Уехал киномехаником. Писем не пишет.

Третьяков. Давно это было?

Песня удаляется от окна.

Астафьева. Пять лет прошло...

Третьяков. А мне говорили — четыре...

Астафьева. Не все ли равно, Владимир Александрович... *(Поднимается.)* Ну вот. Плен ваш кончился. Полянка расходится.

Третьяков. Действительно... Они решили немного поспать.

Астафьева. Зря горячились — успеете...

Третьяков. Действительно... Простите, что горячился.

Астафьева. Да нет, вы меня простите. Все я придумала. Не боюсь я никаких разговоров, никакого мнения! Пошутила я, Владимир Александрович. На прощание. Взяла и пошутила — что мне?

Третьяков. Я говорил, что вы надо мной издеваетесь...

Астафьева *(открывает дверь, песня чуть слышна)*. Ну вот, Владимир Александрович, простите, что задержала.

Третьяков. Но... они... они, собственно, еще рядом...

Астафьева. Прощайте, Владимир Александрович...

Третьяков. Они могут заметить, а ведь, в самом деле, я вел себя не очень...

Астафьева. Никак вы боитесь, что люди подумают?

Третьяков. Я? Нет... Но все-таки... Мне обидно. Ведь напрасно подумают. Все напрасно! Вот что обидно.

Астафьева. А вы огородам, огородам — незаметно... Идите, а то опоздаете...

Третьяков. Я успею. Шофер подождет. Он знает, что я уезжаю.

Астафьева *(с чувством)*. Уезжайте, что вам здесь делать! Кого вам здесь любить, с кем разговаривать! Отбыли свое — и уезжайте! Трудно здесь у нас, устали вы, заработались! Уезжайте в свой чудесный город! Устраивайтесь там в зоопарк, в зоосад — куда знаете! Город по вам скучает! И как только он там, горемычный, без вас? Я даже не знаю!

Третьяков *(задумчиво)*. Действительно... Как он там без меня, горемычный?..

Астафьева. Что и говорить! Вы тут спали, все три года и проспали. И видели во сне огни голубые и проспекты! Что я, не знаю! Вы ходите там по мокрым улицам, вы молодые, чужие и гордые, и никто не знает, о чем вы думаете... А здесь поле и лес, поле и лес, здесь все понятно, и вы спите. И сейчас вы спите.

Третьяков. Нет, не сплю. Выспался. За три года выспался.

Астафьева. Вы шутите, вы всегда шутите, шутите и ждете отъезда... Вот вы его и дождались, отбыли свое, ну и — прощайте!.. Зачем только вы сюда приезжаете!.. Уходите.

Третьяков (*растерян*). Подождите... Вы загибаете, уверяю нас, вы загибаете. «Гордые по мокрым улицам». Летом в городе очень душно...

Астафьева. Зато — весело!

Третьяков. Летом город пуст...

Астафьева. Зато — все свободно, очереди небольшие!

Третьяков. Кажется, моя очередь прошла. Город не любит долго ждать...

Астафьева. Займете снова!

Третьяков. Снова... Лидия Васильевна, в городе меня не ждут. У вас был муж, у меня, Лидия Васильевна, была невеста. Вот уже год, как я не получаю от нее писем.

Астафьева. Приедете — вспомните.

Третьяков. Там меня ждут львы, гиены, крокодилы.

Астафьева. В городе столько развлечений!

Третьяков. Ровно три. Футбол, кино и выпивка. Пока я был здесь, нового ничего не придумали.

Слышится ворчание автобуса. И два сигнала.

Астафьева. Это на дороге. Это вас...

Третьяков. В ваши окна не видно дорог. Поле и лес... У вас зеленые глаза, вы наяда, сирена, от вас надо спастись бегством...

Астафьева. Надо только перешагнуть порог, чего проще.

На улице снова появляется песня. Она возвращается.

Третьяков. «Перешагнуть порог...» Это не шутка. Дураков полно и по ту и по другую сторону порога.

Небольшая пауза. Песня приближается.

Это точно, глупости человек совершает перед порогом. И хорошо, когда ты подготовлен заранее. А если нет? Я три года спал и работал, работал и спал. Тихо, спокойно. И мне кажется, я не вовремя проснулся. Проснулся я перед порогом. Вы понимаете мои переживания?

Песня остановилась под окном. На этот раз звучит веселый мотив частушек.

Астафьева. Они вернулись... Владимир Александрович, они остановились под окном! (*Открывает окно.*)

Хор. Я по улице иду,
Иду и примечаю.
На белы ставни погляжу —
Головкой покачаю.

Третьяков. Что же дальше?..

Астафьева. Что дальше... (*Закрывает окно — слышна только мелодия.*) Вам лучше знать, что дальше...

Третьяков. Лидия Васильевна, порог этот — ваш... Я лунатик, в минуту я должен решить задачу, где почти все неизвестно. Я лунатик, снимите меня с крыши, посадите в автобус или...

Стук в дверь. Третьяков замолчал.

Астафьева (*подходит к двери*). В чем дело?

Дверь чуть приоткрывается, но никто не входит.

Громкий женский голос. Лидочка! Ты зоотехника нашего, Третьякова, случайно не видела?... Шофер его ищет, на станцию везти.

Астафьева смотрит на Третьякова вопросительно.

Третьяков. Скажите, что я здесь... Пусть шофер... здесь остановится — все равно по пути.

Женский голос. По всей деревне ищет. Пропал мужчина!

Астафьева (*громко*). Он здесь. Пусть сюда подъедут.

Женский голос. Нашлась пропажа!.. Подъедут, сейчас подъедут!

Третьяков. Ну вот, сейчас они перестанут петь...

Песня тотчас же обрывается.

Астафьева. Наслушались... Мы их наслушались...

Третьяков. Они пели неплохо, надо сознаться.

Астафьева (*держится мужественно*). Без аккомпанемента.

Третьяков (*у окна*). В ваши окна не видно дорог... Лидия Васильевна, там нынче покосы? (*Показывает рукой.*)

Астафьева. За Марьиным логом.

Третьяков. Марьин лог... Это там медведь водовоза напугал? Так я ни одного медведя и не встретил... Впрочем, об этом я не жалею.

Астафьева. Встретите — в зоопарке.

Третьяков. Я люблю сенокос. Полюбил... Из города сейчас едут на дачи... В поле и в лес...

Астафьева (*отлично держится*). Побалуются природой, отдохнут...

Слышно, как подъехала машина.

Третьяков. В город сейчас возвращаются сумасшедшие... Лидия Васильевна, как вы думаете, кого пришлют сюда вместо меня? Что ни говорите, работал я вполне... Раскручивался. Кого пришлют?

Астафьева. Приедет какой-нибудь, поживет свое... Это уже не ваша забота.

Третьяков. Как это не моя? Что я здесь, ничего не сделал? Ничего не начал?... Надо дельного человека! Если все пойдет по-моему, будет не так уж плохо! Это точно. Лидия Васильевна, а вдруг приедет сознательный, активный?..

Астафьева (*отчаянно*). ...и решительный! Тогда, считайте, нам повезло! Доведет ваши дела до конца!

Третьяков. Кто?... Какой-нибудь мальчишка? Студент? Человек на три года? Здесь тридцать лет надо, а не три... А то еще посмотрит и скажет: что за растяпа здесь до меня работал! И начнет он, бедный, метаться от фермы к ферме, туда и обратно! Воды ему сразу не дадут — это уж точно... Смешно. Ведь сейчас решается судьба этого человека! Сейчас он, голубчик, в моих руках! Что хочу, то я с ним и сделаю!..

Голос шофера за дверью. Как же понимать? Едет зоотехник или не едет?

Третьяков (*подошел к двери, открыл ее*). Кеша! Извини меня, пожалуйста. Извини, что пришлось долго ждать...

Голос шофера. Ничего, Владимир Александрович, бывает хуже.

Третьяков. Сегодня я никуда не еду...

Голос шофера. Завтра рейса нет. Выходной.

Третьяков. Ну что ж, должен же ты когда-нибудь отдыхать.

Голос шофера. Обязан. Привет, Владимир Александрович!

Третьяков. Счастливо тебе!

Дверь остается открытой. В отдалении третий раз раздается песня.

Она уходит.

Астафьева. Опять! Вы слышите?.. Поют... ненормальные...

Третьяков. Плевать, конечно, но все-таки интересно, о чем они говорили перед тем как запеть?

Астафьева смеется, и занавес закрывается.

Печатается по машинописи из архива Г.В. Гусевой

Валентина

ВАРИАНТ ФИНАЛА

Кашкина (*не сразу*). Она... Они ушли на танцы.

Шаманов. С кем?

Кашкина. С Пашкой. Они ушли двадцать минут назад...

Шаманов. Не может быть...

Кашкина. Твоя записка... Она попала ко мне... Валентина её не видела...

Шаманов. Что? И ты могла...

Кашкина. Я хотела ей сказать...

Шаманов. Ну?

Кашкина (*безнадёжно*). Что ты назначил ей свидание, этого она не знает.

Шаманов. Куда они пошли?

Кашкина. В Потеряхиху.

Шаманов. Врёшь!

Кашкина. В Потеряхиху.

Шаманов (*смотрит ей в глаза, потом*). Значит, в Ключи. (*Сбегает с крыльца, быстро уходит направо.*)

Кашкина (*поднимается, быстро идёт к крыльцу, останавливается, кричит*). Они пошли в Потеряхиху!.. Володя!

Пауза. Потом Кашкина заходит во двор, медленно поднимается к себе в мезонин. В густых сумерках, когда видны лишь очертания дома и палисадника, с левой стороны улицы появляется Фигура в чёрном, едва различимая, не определишь даже, мужчина это или женщина. Фигура в чёрном, не останавливаясь и не сбавляя шага, проходит через палисадник.

Раздаётся треск досок и стук калитки. Минута чайную, Фигура в чёрном проходит строго по прямой и исчезает.

Затемнение. Пауза. Потом — не менее полминуты — нарастающий треск дизеля, дающего Чулимску освещение. Далее — треск дизеля становится ровным, приглушённым. Им сопровождается вся последующая картина.

Ночь

Электрическая лампочка, приделанная под карнизом веранды. Освещены: палисадник, часть веранды, калитка во двор, крыльцо и площадка перед крыльцом.

Вверху, плотно занавешенное, тускло светится окно мезонина.

Тень мелькнула в окне мезонина.

Со двора выходит Помигалов, садится на скамейку. Долго ничего не происходит и ничего не слышно, кроме далёкого ровного рокота дизеля. Потом с той стороны, где находится дом Хороших, раздаётся голос Дергачёва.

Голос Дергачёва (*напевает несколько машинально*).

Это было давно,

Год примерно назад,
Вёз я девушку тройкой почтовой...

Помигалов поднимается и уходит во двор.

Голос Дергачёва.

Это было давно,
Год примерно назад...

Наверху в окне снова мелькнула тень.

Вёз я девушку тройкой почтовой...

Кашель Еремеева. Кашкина выходит на балкон. Потом появляется Хороших.

Кашкина. Анна Васильевна?.. Это вы?

Хороших останавливается.

Не спите?

Голос Дергачёва.

Это было давно,
Год примерно назад...

Хороших. Уснёшь тут, как же... Голова кругом. Кассу закрыла или так оставила — не помню. *(Не сразу.)* А ты? Чего не спишь?

Кашкина *(не сразу)*. Бессонница... Который час?

Хороших. Второй. Четверть второго.

Кашкина. Всего?

Обе молчат.

Голос Дергачёва.

Это было давно...

Хороших поднимается на веранду, и в это время с улицы послышались голоса.

Голос Пашки. Валя!

Голос Валентины *(это презрение)*. Уйди.

Голос Пашки. Постой... Ну постой же! Ну слушай, что скажу...

Голос Валентины. Уйди.

Голос Пашки. Не будь дурой, Валя... Ну до этого — ну ладно, ну а теперь-то чего?

Появляются: Пашка перед Валентиной пятится. Валентина идёт прямая, глядя мимо Пашки.

Пашка. Кофту возьми.

Он сует ей кофту, она её не берёт. Кофта падает ей под ноги. Валентина на неё наступила. Пашка посторонился, Валентина вошла во двор.

До завтра, Валя...

Пашка поднимает с земли кофту, замечает Хороших.

Небольшая пауза.

Хороших *(негромко)*. Ты чё наделал?

Пашка *(бодро)*. Всё, мать. Завилась верёвочка... Она моя.

Небольшая пауза.

Хороших *(угрюмо качнула головой)*. Врёшь, не твоя.

Пашка. Брось, мать. Это пустяки, это по первости.

Хороших. Она тебя возненавидела...

Пашка. Молчи, мать. Всё будет в норме.

Хороших. И я бы тебя возненавидела... Я бы тебя... *(Подступает к Пашке.)*

Пашка *(нятится)*. Спокойно, мать.

Хороших *(наступает)*. Я бы тебе...

Пашка *(нятится)*. Мать, мать...

Хороших остановилась, прислонилась к палисаднику. Небольшая пауза.

Хороших. Уходи, Павел.

Шаманов появляется со стороны, противоположной той, откуда появились Пашка и Валентина.

Шаманов *(подходит)*. Где Валентина?

Хороших. Павел, уходи!

Шаманов. Что случилось? *(Подступает к Пашке.)* Где Валентина? *(Берёт Пашку за грудки.)*

Хороших *(Шаманову)*. Отпустите его... Пусть он уходит.

Пашка *(Шаманову)*. А ну, отцепись!

Шаманов. Где она?.. Что с ней?..

Снова голоса с улицы.

Голос Еремеева. Не нальёт.

Голос Дергачёва. Посошок нальёт.

Голос Еремеева. Не нальёт.

Голос Дергачёва. Нальёт, никуда не денется.

Оба появляются.

Шаманов. Где она?

Пашка. Отцепись.

Шаманов. Говори или...

Со двора выбегает Помигалов с ружьём в руках. За ним, вцепившись в него, Валентина.

Все поворачиваются к ним. Шаманов выпустил Пашку.

Валентина. Нет, папа!.. Не сме-ей!

Помигалов отшвырнул Валентину в сторону. Кашкина выбегает на балкон.

Помигалов. Где он? Где?.. Дай мне гада!

Хороших. Беги!

Помигалов. Не беги... Не убежишь.

Пашка замер, прижавшись к ограде палисадника. Кашкина, стоя на балконе, закрывает лицо руками. Так простоит она до последней реплики этой картины.

Хороших *(бросилась к Пашке, но Дергачёв её схватил)*. Не виноват он! Не виноват!

Помигалов. Не подходи! Пристрелю любого, кто подойдёт... Он получит, чё заслужил. *(Взводит курок.)*

Шаманов *(делает шаг в сторону Помигалова)*. Остановитесь!.. С Валентиной был я.

Помигалов на мгновенье застывает.

Он не виноват. С ней был я.

Валентина *(кричит)*. Не-ет!

Но секундного замешательства Помигалова достаточно для того, чтобы с одной стороны Еремеев, а с другой Дергачёв подошли к нему и отняли у него ружьё.

Шаманов. С ней был я. *(Обращаясь к Валентине.)* Валентина!.. *(Остальным.)* Мы... Я увезу её отсюда.

Пашка. Врёшь!.. Врёт он! Не слушайте его! *(Сорвался с места, бросился на Шаманова, но его схватили Хороших и Дергачёв.)*

Еремеев *(с ружьём в руках, качая головой).* В зверя можно стрелять, разве можно в человека? *(Валентине.)* На, спрячь. Подальше спрячь.

Валентина берёт ружьё сначала одной рукой, машинально, потом — крепко, двумя, и уходит во двор.

Помигалов *(Шаманову).* Кто?.. Кто из вас? Он или ты?

Шаманов. Я. Валентина и я — мы отсюда уезжаем. Завтра же. *(Всем.)* Вам всем понятно?

Пашка. Врёшь! *(Всем.)* Не он! Не он! Я! Я! Я!

Во дворе раздаётся выстрел. Тишина. Только стучит дизель.

Все разом. Валентина!

Стук прерывается — это перебой, и наступает темнота.

Утро следующего дня

На крыльце чайной. Сидят: Шаманов у калитки, на нижней ступеньке, на этой же ступеньке, слева, близко друг к другу — Пашка, Хороших и Дергачёв. Пашка сидит, низко опустив голову и обхватив её руками. Двумя ступеньками выше сидят — справа Еремеев, слева Кашкина. Со двора доносятся причитания старух.

Еремеев *(сокрушается).* Бумагу давал, ружьё давал — разве думал, что так получится?.. *(Не сразу.)* В тайгу не попадаю, в свидетели попадаю...

Мечеткин выходит со двора от Помигаловых, на ходу надевая шляпу.

Мечеткин *(не сразу).* Что же это, товарищи?.. Это подумать, как судьба распорядилась.

Дергачёв. Мы виноваты... Все виноваты. Слышь, Павел...

Помигалов появляется, останавливается у своих ворот. За его спиной причитания становятся тише.

Все причастные. Все будем отвечать.

Старухи умолкают. Причитания их больше не слышны. Сопка за домом освещается первыми лучами солнца. Послышался лай собаки и где-то вдали ровное гудение мотора. Шаманов поднимается, заходит в палисадник. При всеобщем молчании он восстанавливает ограду. Далее Шаманов переходит к калитке. С нею у него не выходит.

Шаманов *(выпрямился).* Помогите кто-нибудь.

С крыльца поднимаются все, кроме Паши, который продолжает сидеть, опустив голову. К калитке подходит находившийся ближе всех Еремеев. Шаманов и Еремеев склоняются над калиткой.

ЗАНАВЕС

Публикуется по машинописи

Литературная загадка



От редакции: На предыдущих страницах этого выпуска, в материале «Вспоминая Саню...», был затронут вопрос о пьесе-одноактовке «Тихая Заводь», которую под именем А. Санин в 1960 году опубликовал «Волжский альманах». Пьесу получили иркутские библиографы по электронной почте из С.-Петербурга и задалась вопросом: является её автором А. Вампилов или нет? Один ответ уже получен: студенческие друзья драматурга и директор Культурного центра А. Вампилова пришли к выводу, что «Тихая Заводь» никакого отношения к Вампилову не имеет. Однако есть и другое мнение, на наш взгляд, заслуживающее внимания. Его также публикует журнал «Сибирь». Но прежде — слово автору.

А. САНИН

Счастье Кати Козловой (Тихая Заводь)¹

ПЬЕСА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Дарья Козлова — бывшая колхозница, а ныне — повариха в доме отдыха.

Катя — её дочь.

Алексей — слесарь РТС.

Приезжий.

Место действия — деревня

Время действия — наши дни.

Деревенская улица. На переднем плане — добротный, крытый железной крышей дом Козловых. Рядом с домом — огороженный высоким забором сад, под окнами — скамья. За деревней виднеются поля, вдали — река, на берегу которой расположилось двухэтажное здание дома отдыха.

Осень. Кончается день. Багровые отблески заходящего солнца освещают окрестность.

Быстро входит Алексей. На нём рабочая спецовка: комбинезон, сапоги. Подойдя к дому Козловых, он останавливается, вытирает руки тряпкой, подтягивает ремень. Потом тихо стучит в окно.

Алексей. Катя! (Никто не отозвался; он стучит вторично.)

¹Печ. по: Санин А. Счастье Кати Козловой: пьеса в одном действии // Одноактные пьесы / сост. Б.А. Здрок. М.: Сов. Россия, 1959. С. 78–92. (Б-ка «Художественная самодеятельность»).

Катя (*появляется в окне; неприветливо*). Пришёл... (*Резко задёргивает занавеску, выходит на улицу. Алексей делает движение ей навстречу — она жестом удерживает его. Садится на скамью, отворачивается.*)

Пауза.

Алексей (*сел рядом с Катей, пытается ее обнять*). Что ты, Катюша?..

Катя. Пусти! (*Вырвалась.*)

Алексей. Может, обидел я тебя?.. Так ты скажи!..

Катя. Что без толку говорить! Являешься в месяц раз... Как ещё дорогу-то не забыл!..

Алексей. Ты вот о чём...

Катя. А об чём же ещё?!.. Ты позабавился и ушёл, а я живу тут — не девка, не мужняя жена...

Алексей. Катя!..

Катя. Про меня и так уж вся деревня языками чешет, а тебе и горя мало!..

Алексей (*горячо*). Да пусть болтают, что хотят! Ты-то знаешь, что я тебя...

Катя (*мягче*). Трудно мне, Лёшенька... Ой как трудно!.. (*Прижалась к его плечу, заплакала.*)

Алексей. Катюша. Ну, не надо!.. Ведь я с тобой...

Катя (*сквозь слёзы*). Побудешь час — а потом опять жди тебя!..

Алексей (*протестуя*). Катя, послушай...

Катя (*перебивает*). Хочешь — дальше за тебя скажу? РТС далеко, работы по горло, взад-вперёд мотаться — только сапоги топтать... Какая уж тут любовь...

Алексей (*пряча обиду*). Я такого не говорил. Вспомни: как стали продавать трактора, я первый попросился к вам в колхоз. А что получилось?

Катя. Сам виноват! Хотел бы уйти, так ушёл!

Алексей. Катя, пойми: наша РТС теперь одна на весь район. Техника для колхозов — дело новое, на первых порах кое-кому придётся и помочь. А меня перевели в резервную бригаду: чуть у кого с ремонтом туго, нас посылают на прорыв. Разве я мог отказаться?

Катя. Скажите, какой помощник выискался! Как-нибудь и без вас управимся!

Алексей. Да у вас деда с печи на ремонт не поставишь, а молодёжь от вас бежит!..

Катя. Небось от хорошей жизни не побежишь...

Алексей. А вы ждёте, пока вам её на подносе поднесут? Люди хорошую жизнь сами для себя строят!..

Катя. Это мы слышали...

Алексей. То-то у вас хлеб до сих пор не убран! Председатель по старой привычке телефон оборвал, с утра до вечера звонит в РТС: «Товарищ директор, выручайте, — кричит, — не то зашьёмся! Срочно пришлите слесаря!»

Катя (*осторожно*). А директор что?..

Алексей (*улыбаясь*). Добрый человек наш директор! Не ради председателя, а ради Катерины, говорит, придётся пойти навстречу...

Катя (*поняв, радостно*). Лёша!.. Неужто тебя послал?..

Алексей (*ласково*). Наконец-то сообразила!

Катя. Сколько же ты у нас пробудешь?.. Пока уборка, пока обмолот... (*Погрустнев.*) Недельку... От силы — две... А там — опять поминай как звали...

Алексей. Я от тебя не прячусь. Хочешь расписаться — пойдём и распишемся.

Катя (*с издёвкой*). А жить где станем? У тебя в общежитии? Отгородим койку ширмой, а за ширмой — три бригады? Век дожидалась жизни такой!..

Алексей. К весне в РТС будут новые дома. Директор сказал: если поработать на строительстве...

Катя. От добра добра не ищут! Для меня и свой дом хорош.

Алексей. А для меня он чужой. С тёткой Дарьей мне под одной крышей не жить.

Катя. Кому тётка Дарья, а мне она мать! Кабы ты меня любил, мог бы гордостью своей поступиться!.. И за что ты на неё так взелся?.. Что она тебе плохого сделала?

Алексей. А то, что собственница она!.. Ишь, какие хоромы отгрохала! Хозяйство какое развела! На свои трудовые так не разживёшься.

Катя. Неправда! Мать не воровка! У кого хочешь спроси, кто такая Дарья Козлова! Тебе ответят: она работает, как и ты, как и я!

Алексей. Ничего себе работёнка!.. В колхозе рук не хватает, а она в дом отдыха сбежала! У людей забота — как бы колхоз поднять, а она себе место нашла при кухне, на готовых харчах! Да ещё молоком торгует, деньги копит в сундуке!.. Труженица...

Катя. Ты наших денег не считай! К тебе занимать не придём!

Алексей. Ловко она тебя обкрутила... Ух, знала бы ты, до чего ж я ненавижу собственников!..

Катя. Это потому, что у самого ни кола ни двора! А был бы у тебя дом да хозяйство при доме — небось иначе бы запел!..

Алексей (*с большой обидой*). Наверно, это моя вина, что родители погибли на войне, что дом сгорел, что у чужих людей расти пришлось....

Катя (*поняв свою оплошность*). Лёша! Я не хотела!..

Алексей (*продолжает*). А насчет хозяйства — что ж, твоя правда: сколько я себя помню, всё мечтал, что когда-нибудь и я своим добром обзаведусь...

Катя (*неуверенно*). Так ведь и мать обзавелась. А ты на неё...

Алексей. Хозяйство хозяйству рознь. Когда человек честно трудится, его никто не упреknёт. А когда иной готов на собственный дом да на дойную корову свет целый променять, так с него, с такого работяги, и спрос иной.

Катя. Запутали вы меня... Мать в свою сторону тянет, ты — в свою... Извелась я между вами... *(Плачет.)*

Алексей растерянно. Катя... Ну что ты?.. Ведь я хотел как лучше. А если все будут на готовенькое норовить, как она, мы же никогда до коммунизма не доживём!..

Катя (плача). Чем коммунизма ждать, ты бы меня при социализме пожалел!..

Алексей. Катюша...

Катя. Хватит с меня твоей политики!.. Скажи лучше прямо: пойдёшь к нам в дом или нет?..

Алексей (колеблется). В доме мать хозяйка...

Катя. С ней я сама поговорю. А ты ответь!

Алексей. Катюша... Дай мне подумать.

Катя. Лёшенька... Как мы с тобой хорошо жить-то будем! Урожай нынче богатый, только бы убрать. А глядишь, если и дальше так пойдёт, через год-другой, может, и мать в колхоз вернётся... А пока ты бы потерпел. Ну хоть ради меня... Что же ты молчишь, Лёша?

Алексей (он занят своими мыслями). Колхоз имени товарища Огневого... Вы бы почаще вспоминали про этого человека! Для вас старался, колхоз создавал, а себя от кулацкой пули не уберёг...

Катя. Кто же его забыл? У нас почти что на каждой лекции об нём говорят.

Алексей. Толку-то что? Весной послушали лекцию, а летом твоя же мать ушла из колхоза, и куда — в дом отдыха.

Катя. Человек ищет, где лучше.

Алексей. Это верно. Только настоящий человек ищет не для себя, а для других.

Катя. Не всем же настоящими быть.

Алексей. Думаешь? А я считаю — всем. *(Смотрит на часы.)* Мне пора.

Катя. Лёша... Куда ты с вечера-то пойдёшь? Может, завтра начать?..

Алексей. Трактор четвёртые сутки стоит, а я... *(Хочет уйти.)*

Катя. Лёша!.. Постой. Я тебе молочка принесу.

Алексей. Молочко денег стоит. А вдруг тёща разорится? *(Быстро уходит.)*

Катя. Лёша! *(Бежит за ним, потом останавливается, смотрит ему вслед.)*

Со стороны дома отдыха появляется Дарья. Это женщина лет 45-ти, со следами былой красоты и статности. Одежда её представляет собой странную и безвкусную смесь городских и сельских предметов. В руках у Дарьи пустой бидон из-под молока.

Дарья (подходит сзади к Кате). Любезного своего высматриваешь? А корова небось не доена?

Катя (резко повернулась к ней). Вам только и заботы, что корову доить!..

Дарья. Ты с кем разговариваешь?! Лёшке груби, а матери не смей!

Катя. Вы, мама, меня Алексеем не попрекайте. Он мне не кто-нибудь, я за него замуж выхожу.

Дарья. Хорош женишок, ничего не скажешь! Угла своего нет, гол как сокол, что заработает, то и проест... Надо бы лучше, да некуда!

Катя. Не всем же деньги копить.

Дарья. Лёшка надоумил?

Катя. Хотя бы и он.

Дарья. Без денег, милая, не проживёшь! А Лёшку ты не слушай, он хоть и молод, да хитёр. А когда мужик за выгодой своей гонится, так он и соврёт — недорого возьмёт.

Катя. Что же, по-вашему, Алексею от меня нужно?

Дарья. Как что? А дом? А хозяйство? Думаешь, он на тебя, на такую кра-лю, польстился? Как же, держи карман шире! Девоч в деревнях и без тебя хоть пруд пруди, а такой дом, как наш — поди поищи!.. Жених... На чужое добро охотников — только свистни!..

Катя. Мама... Хотите — верьте, хотите — нет... Но только Алексей звал меня и дом этот бросить, и хозяйство, и уйти к нему. Не гонится он за вашим добром.

Дарья (*что-то задумав, подозрительно*). А ты не врешь?..

Катя. Нет, мама, не вру.

Дарья (*пристально глядит на Катю*). Вроде, и правда, не врешь... (*Как бы рассуждает сама с собой.*) Что же это выходит? Выходит, человек сам от добра отказывается?.. Такого человека и в дом пустить не страшно...

Катя (*радостно*). Чего ж вам бояться, мама?..

Дарья. Погоди, погоди... Дай сообразить... Я ещё с каких пор думаю: а не лучше ли будет и тебе уйти из колхоза?.. У нас в доме отдыха и для тебя местечко подходящее найдётся при кухне... Станешь посуду мыть, харчи казённые, жалование четырёхста рублей. Народ кругом культурный, глядишь, и сама культуры наберёшься, вроде меня... Чем тебе плохо, а?

Катя. Мама, да как же я...

Дарья. Погоди, не перебивай! Я и сама знаю, что покуда мы с тобой одни, ничего из этой затеи не выйдет: ну-ка, уйдём из колхоза обе, а усадьбу-то у нас ведь отберут. Что тогда?

Катя. Вот и я говорю...

Дарья. Молчи! Я сама доскажу! Отберут, пока мы вдвоём. А был бы в семье третий, да работал бы он в колхозе или, к примеру, в РТС... Поняла, к чему я речь веду?

Катя (*растерянно*). Поняла...

Дарья. И нечего тянуть! Пойди переоденься, сходим нынче же к начальнику. Человек он свой, мне не откажет. А там — сыграем свадьбу, как положено, и живите себе на здоровье!..

Катя. Нет, мама... Дайте мне сказать... Не могу я бросить колхоз. В доме отдыха легче, кто же спорит... Да только мне на эту лёгкую жизнь идти, когда людям трудно, совесть не позволяет!

Дарья. А мать у тебя бессовестная?! Нет, дочка, ты меня такими словами не агитируй, на словах я и сама сознательная! Какая у государства главная забота, а ну, ответь? Чтобы народ жил зажиточно! Значит, если я сыта, государству одной заботой меньше, оно и коммунизм быстрее построят. Вот как надо рассуждать!..

Катя. Послушал бы Вас товарищ Огневой.

Дарья. Ты Огневого не трожь! Теперь таких людей нет. Вам об нём лекции читают, а я его знала лично, звала по имени-отчеству — Иван Степаныч!.. Вот это был человек! Вся деревня в голос ревела, как стали его раненого увозить...

Катя. Мама, а вы не слыхали, что с ним было потом? Может, он ещё и теперь жив?

Дарья. Может, жив. А может, и помер. Сколько с тех пор воды утекло...

Катя. А у нас никто даже и не знает?

Дарья. Говорят, где-то видели его до войны. А на войне не иначе как убили. Потому, остался бы жив, так давно бы уж сюда прикатил.

Катя (*тихо*). Да, конечно... А что если... Нет, не может этого быть!

Дарья. Помню, песня у него любимая была про какой-то паровоз, а ещё про Коммуну... Чудная такая песня...

Катя (*поёт*).

Наш паровоз, вперёд лети!

В Коммуне остановка.

Иного нет у нас пути...

Эта?

Дарья. Она самая.

Катя (*тихо, задумчиво*). В Коммуне остановка... Огневой не дошёл... А мы?.. Мы обязаны дойти!

Дарья. Что ты там бормочешь?

Катя. Я не Вам.

Дарья. Разговоры разговорами, а насчёт дела давай решать: нынче к начальнику пойдём, а то, может, завтра с утра? Говорят, утро вечера мудренее.

Катя. Мама... А если нам вовсе к нему не ходить? Мы с Алексеем и так проживём, нам хватит...

Дарья. Сама на шее сидишь, так ещё зятя хочешь посадить?! Смотри, я тебя не неволю: можешь оставаться в колхозе. Но тогда Лёшку в дом не приводи, я его кормить не собираюсь!

Катя. Что вы со мной делаете?..

Дарья. Об твоей же сытости забочусь!.. Ну, решай, когда пойдём: ныне или завтра?

Катя (после паузы). Завтра...

Дарья (довольная). Вот и порешили! Да, совсем было из головы прочь: тут один отдыхающий обещался прийти за молоком. Не успел койку занять, как небось пронюхал, что в доме отдыха я торгую на полтинник дороже. Так он надумал покупать прямо на деревне!.. У самого денег — куры не клюют, да видно уж, чем богаче, тем жадней... Батюшки!.. Лёгко на помине... Полюбуйся на него, сам идёт.

Входит Приезжий. Это плотный, подтянутый, седой человек лет 50. Одет он в белый летний костюм, на ногах — белые ботинки. У него твёрдая, несколько медлительная походка. При разговоре очень внимательно вглядывается в собеседника, словно пытаясь из каждой его фразы сделать для себя какие-то выводы. Чтобы его внимание не выглядело слишком назойливым, он часто шутит, и, видимо, это уже вошло у него в привычку.

Приезжий. Добрый вечер, Дарья Петровна!

Дарья. Вроде мы с тобой днём виделись!

Приезжий. Добра пожелать и вечером не грех.

Дарья. Спасибо, коли не шутишь.

Приезжий. А это ваша дочь?

Дарья. Катериной звать.

Приезжий. Тоже отдыхающих кашей кормит или ещё колхозница?

Дарья. Пока в колхозе.

Приезжий. Это хорошо.

Дарья. Куда лучше!.. Завтра с утра веду её в дом отдыха. Авось, на кухне пристрою. Всё посытнее, чем здесь.

Приезжий. Вон как...

Дарья. Тебе молочка-то принести? Или забыл?

Приезжий (сразу не поняв). Что?.. (Вспомнив.) Ах, да... Молоко... Что ж, несите.

Дарья. Парное любишь или из подпола достать?

Приезжий. Что под рукой, то и давайте.

Дарья. Это мы можем... (Уходит.)

Приезжий (после паузы, Кате). Самой на кухню захотелось или мать велит?

Катя (натянута). Вы — человек чужой, вам не понять.

Приезжий (с горечью). Неужели в колхозе так плохо, что за счастьем надо куда-то бежать?

Катя. Плохо не плохо, а другие лучше живут.

Приезжий. А вам кто мешает?

Катя. Долгий разговор.

Приезжий. Я не спешу.

Катя. Всё одно, словами не поможешь...

Входит Дарья. В руках у неё банка с молоком.

Дарья. На, покушай парного. Только что подоила.

Приезжий. А ну, попробуем... *(Пьёт.)* Чудо, а не молоко!..

Дарья. Чай, свое — не колхозное.

Приезжий *(допивает)*. И давно, Дарья Петровна, для вас колхозное перестало быть своим?

Дарья. А это уж, милый, не твоя забота.

Приезжий. М-да... Так сколько я вам должен?

Дарья. Цена известная: литр — четыре рубля. Это в доме отдыха... Ну, а без доставки выходит три с полтиной.

Приезжий. Получите, пожалуйста... Рубль, два... Мы в расчёте.

Катя. Вы переплатили!..

Дарья *(незаметно толкает Катю; елеиным голосом)*. Я вам сдачи принесу.

Приезжий *(он всё видел)*. Нет, зачем же. С какой стати вам терпеть убыток?

Катя *(Приезжему)*. У меня есть мелочь... *(Хочет ему отдать.)*

Дарья *(Кате, шёпотом)*. Не суйся не в свои дела! *(Приезжему, угодливо.)* А хочешь, я тебе с собой налью? Такого молочка ни у кого не купишь.

Приезжий. Да я его не донесу!..

Дарья. А я крышечкой прикрою... *(Достаёт откуда-то из кармана крышку, прилаживает к банке.)*

Приезжий *(удивлённо пожав плечами)*. Наливайте... Вот вам ещё два рубля. *(Платит.)*

Дарья. А за банку? Ей полтора рубля цена.

Приезжий. Пожалуйста. *(Платит.)*

Катя *(тихо, матери)*. Как не совестно!..

Дарья *(Кате)*. А чего с ними церемониться? *(Уходит с банкой.)*

Приезжий *(после паузы, Кате)*. Так вы говорите, неважно живётся в колхозе?

Катя. Теперь-то лучше стало. Со старым не сравнить.

Приезжий *(с затаённым волнением)*. Сколько надежд сюда было вложено... Столько пота, сколько... *(на секунду загнулся)*. Я не верю, не верю, Катя, чтобы вы могли променять всё это на лишнюю тарелку щей!

Катя *(недружелюбно)*. Вы что, сговорились, что ли? Читаете как по писаному, что вы, что он... Откуда только слова берутся?..

Приезжий *(заинтересованно)*. Это вы про кого?

Катя. Есть тут такой... Насчёт уговоров — тоже мастер. А мне, вместо ваших речей, хоть бы кто посоветовал: как дальше-то жить?..

Приезжий (*осторожно*). Советов давать не берусь. Но одну историю рассказать могу.

Входит Дарья с молоком. Ставит банку на скамью, слушает.

Впрочем, это не история, а просто судьба человека, одного моего старого друга. Много лет назад партия послала его в деревню, чтобы он помог там беднякам организовать колхоз. Мой друг выполнил задание партии. Но однажды случилось так, что кулаки подстерегли его и выстрелили в спину из-за угла!..

Катя. Так ведь и у нас товарищ Огневой... Точь-в-точь как вы говорите! Подумать только, какие были люди!..

Приезжий. Почему — были? Мой друг не умер.

Катя. А товарищ Огневой...

Приезжий (*быстро*). Вам что-нибудь о нём известно?

Катя. В том-то и дело, что нет. Но у нас считают так: был бы он живой — обязательно приехал бы к нам.

Приезжий. Милая моя Катюша... Мало ли как может сложиться у человека жизнь?... Не успели врачи поставить на ноги...

Катя (*в изумлении*). Кого?!

Приезжий. Моего друга.

Катя. А я уж подумала...

Приезжий. Нет, нет... Так вот, в тот момент стране не хватало строителей тракторов.

Катя. И он?..

Приезжий. Пошёл учиться, стал инженером, работал на тракторном в Сталинграде... А когда вспыхнула война в Испании, побывал и там... Потом Отечественная война... Командовал танковым батальоном, в сорок четвертом дали полк... Четыре года — семь ранений... Если есть на свете чудеса, так это то, что остался жив... А после победы — снова Сталинград, снова трактора, снова фронт.

Катя. Фронт?..

Приезжий (*увлечённо*). Конечно, фронт, Катюша! Разве наша сегодняшняя борьба за человеческое счастье не требует жертв? И разве нет у нас в этой борьбе врагов, трусов, разве нет ещё дезертиров? Они есть, они живут среди нас, только распознать их трудней, чем на войне. И пока мы с ними не сладим, наше место на передовой! (*После паузы, просто.*) Вот так и получилось: у моего друга не хватило времени побывать в своём колхозе.

Катя (*она захвачена его рассказом*). Где же такое видано — заслужить у людей почёт и уйти?

Приезжий (*ему вдруг стало трудно говорить*). Не нужен ему почёт, Катя!.. А если кто хочет помянуть добрым словом, пусть лучше доводит до конца все его дела...

Катя. А что же он сам?..

Приезжий. Есть, Катюша, один неумолимый закон: ничто в жизни не даётся даром... Сердце... Оно совсем отказывается ему служить... Доктора твердят — по-

кой, да, видно, это лекарство не для коммунистов... *(Неожиданно хватается за сердце и тяжело садится на скамью.)*

Катя. Что с вами?

Дарья. Вот беда-то!

Приезжий. Ничего... Пройдёт.

Дарья. Ну-ка покушай молочка.

Приезжий *(пьёт)*. Спасибо... Отошло...

Дарья. Никак, и у тебя тоже сердце?..

Приезжий. Не без этого, тётя Даша. *(Встаёт.)*

Дарья. Постой, постой... *(Всматривается в его лицо.)* Гляжу я, милый, на тебя и всё думаю: вроде бы личность мне твоя знакомая. Словно где-то видела я тебя. А вот где — убей, не помню.

Приезжий *(с улыбкой)*. Вам в Испании в тридцать шестом году бывать не приходилось?

Дарья. Что я там забыла? Мне, милый, и в своей деревне хорошо.

Приезжий. А Севастополе в сорок первом?

Дарья. Да не была я нигде!

Приезжий. А на Сталинградском тракторном после войны ? А в Кулундинской степи на целине?

Дарья. Ты что, смеёшься, что ли? Говорят тебе, я всю свою жизнь здесь прожила.

Приезжий. Может, мы с вами здесь и встречались?

Дарья. Может, и встречались. Мало ли к нам всякого начальства ездит? То лектор, то инструктор, то инспектор... Всех не упомнишь.

Приезжий. Значит, не встречались. *(Берёт банку с молоком.)* Спасибо вам за молоко, Дарья Петровна, а вам, Катюша, за откровенный разговор. Если позволите, я буду приходить к вам каждый день.

Дарья. И что за охота таскаться? Которые отдыхающие платят, я им прямо в палату ношу, только пей.

Приезжий. Сколько же вам они платят?

Дарья. Прямо в палату — четыре двадцать пять.

Приезжий. Хорошо, я тоже согласен платить четыре двадцать пять.

Дарья. Завтра до зарядки принесу парного.

Приезжий. Вы меня не поняли. За молоком я буду приходить сюда.

Дарья *(недоумевая)*. А платить — четыре двадцать пять?

Приезжий. Ну как, по рукам?

Дарья. Что-то я тебя и вправду не пойму. Чудной ты человек! Ей-богу, чудной!

Приезжий. Какой уж есть. Не взыщите.

Вбегает взволнованный Алексей. Увидев Дарью и Приезжего, останавливается. Катя идёт к нему.

Катя *(тревожно)*. Лёша!.. Трактор?..

Алексей *(с досадой)*. Ничего не могу с ним поделать, будь он неладен!.. Звоню в РТС, прошу выслать механика с лётчикой — а его отправили в другой колхоз!..

Катя. Значит, до утра?..

Пауза.

Алексей. Небо какое...

Катя. И галки вьются над самой землёй...

Алексей. Заладит дождь — пропал тогда ваш урожай!

Катя. Как же мы теперь?..

Пауза.

Приезжий *(Алексее)*. Что с трактором?

Алексей. Если б я знал!..

Приезжий *(мягко)*. Учиться надо, парень.

Алексей. Дойдём и до этого. А пока... *(Махнул рукой. Потом, что-то вдруг решив, повернулся к Дарье)*. Дарья Петровна!.. Может, кто из отдыхающих понимает в моторе?.. Вы бы позвали. Ведь хлеб пропадёт!..

Дарья. Уж больно ты прыток! Чай, люди к нам приехали не на работу, а на отдых! Нам и название такое дано: дом отдыха. А сейчас и подавно — вечер, самые танцы. Авань, ничего до утра не случится с вашим хлебом.

Алексей *(с ненавистью)*. Был бы он ваш — разве бы вы так заговорили?!

Приезжий *(Алексее)*. Пойдём!

Алексей *(удивлён)*. Вы?..

Приезжий. Идём, нечего время терять!

Алексей *(всё ещё не веря)*. А как же ваш костюм?..

Приезжий. Тебе что дороже — хлеб или... *(Схватился за сердце, застонал.)*

Катя. Вам плохо?

Приезжий. Нет, нет, Катюша!.. Сегодня у меня самый счастливый день: я понял, что мой друг не зря прожил свою жизнь, раз ему на смену выросли такие парни, как твой жених, такие девушки, как ты, Катя!.. *(Алексее.)* Пошли! *(Делает шаг, снова хватается за сердце.)*

Катя. Стойте! Не ходите никуда. Я сама побегу в дом отдыха!

Приезжий. Ничего, Катюша! Я ещё и сам держусь! А ну, старина, вспомним тридцатый год!.. *(Запевает.)*

Наш паровоз, вперед лети!

*В Коммуне остановка.
Иного нет у нас пути...
В руках... у нас...*

(Делает ещё несколько шагов.)

Дарья *(кричит)*. Иван Степаныч!.. Товарищ Огневой!..

Огневой *(остановился)*. Что, тётя Даша?.. Что скажешь, первая моя колхозница?..

Алексей. Товарищ Огневой?!

Катя. Так это были вы?..

Дарья. Господи... Да что ж я тебе скажу?.. Я думала, тебя давно убили, а ты ещё живой!..

Огневой *(с укором)*. А ты, тётя Даша?

Дарья *(обидевшись)*. Ты мне таких вопросов не задавай! Может, у меня у самой к тебе вопросы есть, да я молчу.

Огневой. Молчать не надо. Я вернусь — давай поговорим начистоту. *(Алексею.)* Идём, парень! *(Уходит с Алексеем)*.

Пауза.

Катя *(взволнованно)*. Мама... Как же так?.. Вы мне говорили — нет таких людей, а он... Да он ради нашего хлеба, ради счастья нашего снова готов жизнь отдать! А мы с вами тут надумали... Нет, мама, ни за что! Вы поймите — я не хочу, я не могу так жить!.. Разве это честно — когда одни принимают на свои плечи все невзгоды, а другие остаются в стороне? Вы слышите, мама, я уйду туда, к ним. Пока не поздно — идёте с нами, мамочка!..

Дарья молчит. Тогда Катя, оставив её, медленно уходит в ту сторону, куда скрылись Алексей и Огневой. Дарья, растерянная, некоторое время стоит одна, потом неуверенно направляется вслед за дочерью.

ЗАНАВЕС

Запоздалое открытие иркутян

Всё началось со второго варианта пьесы под названием «Тихая Заводь». Библиографы Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского при пополнении базы сведений об А. Вампилове связались с театральной библиотекой С.-Петербурга. И получили оттуда информацию о пьесе А. Санина «Тихая Заводь», опубликованной Горьковским книжным издательством в «Волжском альманахе» в 1960 году.

Лидия Афанасьевна Казанцева и Людмила Афанасьевна Мирманова стали выяснять, почему эта пьеса неизвестна в Иркутске и не принадлежит ли она А. Вампилову, выступавшему в начале творческого пути под псевдонимом А. Санин. Опытные и увлечённые своим делом библиографы стали обращаться ко всем, кто мог бы ответить на их вопросы: к иркутянам, знающим творчество знаменитого земляка, к коллегам из Нижнего Новгорода (ранее — город Горький), а также Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Благовещенска, Омска...

* * *

Первое, что бросилось в глаза в «Тихой Заводи» — иркутские фамилии героев — Козловы, Огневой. Особенно вторая, более редкая. Она близка к Огневскому — такой псевдоним носил Леонид Леонтьевич Огнев, иркутский прозаик, фронтовик и убеждённый коммунист. Вампилов, конечно, его знал.

Второе — ремарки. У А. Санина в «Тихой Заводи», у А. Санина в «Свидании» (сценке из нерыцарских времён), у более позднего А. Вампилова они совпадают по характеру. Например: *протестуя, перебивает, пряча обиду, радостно, погрузнев, иронически, он растерян* — «Тихая Заводь»; *поспешно и категорически, с отчаяньем, любезно, смотрит на часы, вспыхивая, с ужасом* — «Свидание»; *перебивает, смотрит на часы, поощрительно, засмеялась, подозрительно, сдержанно* — это уже «Прощание в июне». Сравнение кратких, односложных ремарок можно продолжать долго, заметим одно: их объединяет указание не на действие, движение или жест, а на внутреннее состояние, настроение персонажа.

Но Вампилов вошёл в историю драматургии своими подробными ремарками. Вот как об этом пишет О.А. Дашевская: «Ремарка Вампилова, как правило, объёмна и развёрнута. Особая роль принадлежит первой ремарке... В ней указано время года, суток, погода, содержатся описания сценического пространства... основные характеристики героев... особенности поведения» («Мир Александра Вампилова», с. 304). Эти слова вполне соотносимы с первой ремаркой в «Тихой Заводи», где описан добротный дом Козловых, указано время года — осень, время суток — «кончается день» и т. д.

Абсолютно вампиловская ремарка касается Приезжего: «...Это плотный, подтянутый седой человек лет 50-ти... При разговоре очень внимательно вглядывается в собеседника, словно пытаясь из каждой его фразы сделать для себя какие-то выводы. Но чтобы его внимание не выглядело слишком назойливым, он часто шутит, и, видимо, это уже вошло у него в привычку».

А теперь обратимся к содержанию. Тема — колхозная. У Вампилова как будто подобного нет. Хотя — «Дом окнами в поле» — он вполне вписывается в пейзаж «Тихой Заводи». Место действия «Дома» — бригада (колхозная), упоминается ходо́к, на котором ехали сельчане, видимо, с маёвки, поля, покосы — одним словом,

фон общий. Ремарки опять же созвучные. Кстати, опубликованный в этом номере вариант с зоотехником Третьяковым и библиотекарем Астафьевой ещё более «колхозный», чем общеизвестный.

Притом, что «Тихая Заводь» выдержана в духе 50-х годов и колхозники мечтают о коммунизме, главное в ней — человеческие характеры и отношение к жизни. Алексей восклицает: «Ух, знала бы ты, как я ненавижу собственников!» А его антипод Дарья Петровна говорит дочери: «Хорош женишок, ничего не скажешь! Угла своего нет, гол как сокол». И дальше: «Без денег, милая, не проживёшь!»

Очевиден конфликт между материалисткой, работающей на своё, и идеалистом, радеющим об общем, колхозном, благе. Алексей возмущён: как можно было найти тёплое местечко в доме отдыха, когда колхоз бедствует!

Не будем при имени Дарьи вспоминать Золотуева из «Прощания в июне» или официанта Диму из «Утиной охоты», хотя что-то общее в них есть, а вот если сравнить с ней отца Валентины из «Прошлым летом в Чулимске», то... Мы увидим такого же крепкого хозяина, как Дарья. Помигалов убеждает Валентину выйти замуж за Мечеткина. В ответ на её «ведь он смешной» говорит: «Не такой он смешной. Трудится честно, не пьёт, не дерётся, и дом у него, и скarb, и деньги есть... Потому, если у человека есть деньги, значит, он уже не смешной...» Да это же родной по духу брат Дарьи Козловой!

О стойком неприятии драматургом материализма, расчётливости, стяжательства свидетельствует всё его творчество плюс записные книжки. Вампилова всегда интересовало духовное начало в человеке. Помните: «В любви (в большой любви) нет материализма. Вся она сплошной идеализм, и с материализмом в вечном бессмертном противоречии вырастает поэзия»; «Он хотел достичь этого через материальное могущество. Это такая грубая, такая общая ошибка — он ничего не достиг»; «Людей без мировоззрения надо сажать в тюрьму» («Записные книжки»).

Мировоззрение у Вампилова в конце 50-х было, естественно, советским. А как могло быть по-другому у двадцатидвухлетнего студента советского госуниверситета, пришедшего работать в советскую печать? Как раз крушение идеалов, казавшихся незыблемыми, духовная растерянность — вот что стало нервом творчества драматурга, это и его «жизнь на пределе», как напишут позже о его героях.

Самое забавное (вполне по-вампиловски!): мы ведь никакого открытия не сделали. Вот перед нами статья известного литературоведа, доктора филологических наук, ведущего сотрудника Пушкинского дома (ИРЛИ РАН) В.П. Муромского «Александр Вампилов как классик русской драматургии» (ссылки на него имеются в иркутском Биобиблиографическом указателе 2012 года). Читаем: «...Принято считать, что первой была его пьеса «Сто рублей новыми деньгами», начальный вариант которой относится к 1961 году, а первой опубликованной — «Дом окнами в поле» (1964). В действительности печатный дебют Вампилова как драматурга состоялся раньше: в 1960 году в горьковском «Волжском альманахе» появилась его одноактная пьеса «Тихая Заводь» под псевдонимом А. Санин. Пьеса вышла под рубрикой «Клубные вечера» и предназначалась для кружков художественной самодеятельности» (сб. статей «Писатели русской традиционной школы второй половины XX века в контексте современности». Сургут, 2009. С. 38–39). Есть ещё Е.В. Тимошук, которая пишет в своей работе «Жанровая специфика драматургии А.В. Вампилова» о «Тихой Заводи» как о ранней пьесе Вампилова без всякого сомнения в его авторстве (автореферат. М., 2008).

Но мы должны вернуться к нашим библиографам. Азартные они люди, не вдруг и подумаешь! Потому что Лидия Афанасьевна упорно продолжала свои ро-

зыски. Если это пьеса Вампилова, то как она попала в «Волжский альманах»? Подключились москвичи, петербуржцы, тоже из неугомонных. Прямого ответа не добились, зато! Они обнаружили ещё одну пьесу А. Санина. Называется она «Счастье Кати Козловой». Выпущена на год раньше «Волжского альманаха», в сборнике «Одноактные пьесы» (М.: Сов. Россия, 1959).

Название другое, содержание то же самое — «Тихая Заводь». Но есть и некоторые разночтения. Не меняя смысла, они приглушают обстоятельства.

Время действия «Счастья Кати Козловой» — «наши дни», пишет автор, т. е. 1958–1959 годы, Алексей — слесарь РТС (ремонтно-технической станции), обслуживающей колхозные трактора и комбайны, а не тракторист МТС (машинно-тракторной станции), прибывший на уборку в колхоз, как это происходит в «Тихой Заводи». Время действия во втором варианте указано более раннее и более конкретное — 1954 год.

При поиске ответа на вопрос, писал ли Вампилов на колхозную тему, полезно было взглянуть на его газетные публикации 1959–1960 годов, в самом начале его работы в газете «Советская молодёжь». Писал молодой газетчик, ещё студент, о многом, в том числе и о сельском хозяйстве — с большим сочувствием, заметим, по отношению к людям тяжёлого деревенского труда.

Из материалов 1959 года особенно любопытен для нас один, «Руководствуясь... беспечностью», за 15 августа. Критикуя ненадлежащую подготовку колхоза «Красный Октябрь» родного Аларского района к уборке урожая, А. Санин пишет: «Правда, некоторая доля вины падает на Кутуликскую РТС, которая даёт колхозу некомплектную технику, что, конечно, не способствует нормальному ходу работ. В третьей бригаде один комбайн бездействует лишь потому, что из РТС не присылают сварочного агрегата, который, кстати, единственный (кроме стационарного) во всём районе».

Вот так-то: автор был в курсе проблем села, и вполне логично в пьесе «Счастье Кати Козловой» появление Алексея, слесаря РТС, и всего, что следует дальше по «производственной» линии пьесы.

Почему Алексей стал трактористом МТС в горьковском издании «Счастья Кати Козловой», превращённого в «Тихую Заводь», догадаться нетрудно. Надо только сделать небольшой экскурс в историю нашего многострадального сельского хозяйства.

В начале 1958 года в стране произошла реорганизация МТС в РТС, и РТС показали меньшую эффективность. Технику из МТС стали передавать колхозам (за деньги), колхозы, во-первых, не имели средств на её выкуп, во-вторых, не были готовы содержать её и квалифицированно на ней работать. Это нашло точное отражение в первом варианте пьесы: «Техника для колхозов — дело новое», «у кого с ремонтом туго, нас посылают на прорыв», «председатель по старой привычке телефон оборвал... "Товарищ директор, выручайте, — кричит... — Срочно пришлите слесаря"», «...деда с печи на ремонт не поставишь, а молодёжь от вас бежит», «в колхозе рук не хватает». Как видим, налицо признаки некоторой паники от нововведения.

«Как бы колхоз поднять...» — говорит Алексей. Для нас эти слова звучат привычно, поскольку наше сельское хозяйство лихорадит издавна, если не издревле, но в пьесе 1959 года речь шла об ухудшении дел по конкретной причине — в связи с преобразованием МТС в РТС. Не исключено, что вмешалась цензура. Время действия отнесли на пять лет назад, в более стабильные эмтээсовские времена. Однако же в «Тихой Заводи» остались фразы о продаже тракторов колхозам, чего никак не могло быть в 1954 году.

Так что в «Счастье Кати Козловой» запечатлелся драматический исторический факт, связанный с хрущёвскими экспериментами.

Если внимательно взглядеться, то правок во втором варианте не так уж мало: где по слову, где по предложению, и это порой вызывает недоумение. Например, Катя более категорична в диалоге с Алексеем, Алексей о строительстве коммунизма говорит дважды и почти подряд, в первом варианте — один раз; Катя во втором варианте задаёт лишний вопрос об Огневом: «Раненого?.. Так его не убили?..» В первом этого вопроса нет, потому что всем хорошо известно, в том числе и матери Кати, что первого председателя после кулацкого выстрела увозили из деревни в больницу, и лишь один Алексей во втором варианте говорит о нём как о погибшем. Странный нюанс придаётся воспоминаниям Дарьи об Огневом в «Тихой Заводи». Вместо: «Вот это был человек!» напечатано: «Ох, и симпатичный был мужчина!..» Видится какой-то намёк на личные отношения. Притом что об отце Кати нет ни слова. Да ещё Дарья в конце говорит, что у неё есть вопрос к Огневому... Что за вопрос? Не про это ли самое? Но если бы случилось «это самое», то странно, почему Дарья ни разу не озаботилась дальнейшей судьбой раненого «симпатичного мужчины»? Нет, не «вопрос», а «вопросы» в «Счастье Кати Козловой» накопились у Дарьи, о которых она пока молчит, и вместе с её преклонением перед личностью Огневого это предполагает вовсе не амурные дела. Скорее её вопросы о другом: о путях колхозной жизни, трагических страницах ещё не остывшей истории.

Почему-то сокращены строки у Огневого о борьбе за человеческое счастье в мирное время, когда «врагов, трусов, дезертиров... распознать трудней, чем на войне». Так пьеса о счастье для Кати Козловой дополнилась мотивом некой смутности, поселившейся в отдельно взятой деревне Тихая Заводь невесть откуда: омрачающее слово «эртээс» из пьесы исчезло.

Была ли согласована правка с автором? Неизвестно, но статья Вампилова в «Советской молодёжи» (1960, 19 янв.) о пчеловодах колхоза «Годовщина Октября» Мотовиловых называется «"Тихий" уголок». Не отсюда ли «Тихая Заводь»?..

Итак, между газетной статьёй «Руководствуясь... безопасностью» и одноактной пьесой «Счастье Кати Козловой» существует прямая связь в производственной теме, и написаны они в одно время. Статья датирована 15 августа 1959 года, сборник «Одноактные пьесы» подписан в печать 10 ноября 1959 года.

Из всего вышеизложенного следует: автор статьи и двух вариантов пьесы «Счастье Кати Козловой» один — Александр Вампилов.

Как попала эта пьеса Вампилова в «Волжский альманах»? Можно предположить — через сборник «Одноактные пьесы», изданный в Москве, он разошёлся по нескольким городам страны. Кроме того, «Счастье Кати Козловой» могло быть опубликовано (или просто размножено) вместе с другими пьесами для самодеятельных театров в «Репертуарных сборниках» на местах, как например, это произошло в Благовещенске (Амурское кн. изд-во, 1960).

И последнее, о чём нельзя умолчать.

В.П. Муромский отмечает, что «пьеса эта («Тихая Заводь») сделана по канонам своего времени и почти ничем не напоминает будущего Вампилова», что она «сугубо ученическая» и потому драматург нигде не говорил о ней впоследствии. И вообще — издавать её особой надобности не было... Первый вариант, опубликованный в Москве, учёному из С.-Петербурга, как видно, известен не был. Будь он известен, оценка «Тихой Заводи», возможно, не была бы столь резкой.

Ох уж эти советские каноны! Как они застят глаза даже большим умам! Ранняя из вампиловских пьес хоть и «ученическая», но она не только напоминает будущего драматурга, но и не уступает разительно по качеству его другим ранним пьесам, включая «Дом окнами в поле». В одноактовке «Счастье Кати Козловой»

(в обоих вариантах) есть и характеры, и конфликт, и чистота помыслов, и язык — свой у каждого героя, что в целом свидетельствует о талантливости автора. Это произведение со временем наверняка войдёт в литературный оборот.

Почему Вампилов молчал об этой пьесе? Ответ читается в том числе и в реакции студенческих друзей драматурга, не допускающих мысли об его авторстве. Единственный аргумент: им Вампилов никогда ничего о ней не говорил. И это ещё раз свидетельствует о том, насколько крутые перемены грянули во второй половине 50-х — начале 60-х. В 53-м страна оплакивала вождя, а в 61-м его вынесли из мавзолея. Волна разоблачений культа личности, реабилитация невинно пострадавших, начало обрушения идеалов революции... Многие ужаснулись и устыдились. И можно себе представить, что испытал Вампилов, сын репрессированного и расстрелянного отца, успевший опубликовать столь «политически отсталую» по тем временам пьесу! Мог ли он говорить о ней с друзьями?

Но теперь, когда мы пережили контрреволюцию, то бишь перестройку, и далеко не все посчитали это благом, когда мы стали старше Вампилова на целую эпоху, не должны ли мы оценивать историю более взвешенно и разумно? Ведь это наша история, и мы в ней участвуем. Будь сегодня Вампилов с нами, разве бы он не задумался над тем, к какому счастью стремится нынешняя молодёжь? В чём её идеалы? Ведь материалистом он всё равно бы не стал.

Так что давайте поздравим Л.А. Казанцеву и её коллег с успешным исследованием и установлением даты первой публикации ранней пьесы А. Вампилова: «Счастье Кати Козловой» — 1959 год.

PS. Когда этот материал уже был сдан в редакцию, Лидия Афанасьевна ознакомил меня с отрывками из своей переписки со столичными библиографами. Есть смысл их привести как документальное подтверждение.

«Хотим поделиться с Вами дополнительной информацией по вопросу авторства пьесы «Тихая Заводь». В издании Охлопков, И. Дебюты русских писателей XIX–XX веков: библиогр. справ. — Москва: Захаров, 2007 приводится следующее:

Первая публикация драматургии Вампилова А.В.:

«Счастье Кати Козловой» // Одноактные пьесы. — Иркутск, 1959.

Нам удалось выяснить, что пьеса «Тихая Заводь» имеет тех же действующих лиц, что и пьеса «Счастье Кати Козловой», отрывки текста, которые мы смотрели, совпадают.

В нашем фонде этого сборника нет. У нас есть (можно посмотреть на сайте библиотеки): Санин А. Счастье Кати Козловой // Одноактные пьесы: сб. — Москва, 1959. — С. 77–92.

В издании: Акимов, В.М. Сто лет русской литературы: от Серебряного века до наших дней. — Санкт-Петербург: Лики России, 1995, в статье, посвящённой А.В. Вампилову (С. 346–348), автор пишет: «Несколько лет А.В. Вампилов работал литсотрудником в иркутской молодёжной газете... тогда же сочинил две одноактные пьесы («Счастье Кати Козловой», 1959 и «Тихая Заводь», 1960).

С уважением, библиограф И.В. Гвоздева».

Выходит, и с принадлежностью А. Вампилову пьесы «Счастье Кати Козловой» никакого секрета нет. Л.А. Казанцева теперь разыскивает указанный в письме И.В. Гвоздевой иркутский сборник «Одноактных пьес» 1959 года издания. Возможно, это всего лишь перепечатка московского издания. Тем не менее, пожелаем ей удачи!

ПОЭЗИЯ



ВЛАДИМИР СКИФ



Да святится в веках твоё имя

Из цикла «Венок Вампилову»

Звучащий глагол

Откуда твой опыт? Из детства?
Из песен в родимом краю?
Наверно, Господь пригляделся
И высветил душу твою.

Ума вековое наследство
Ты принял и тайну постиг.
С Эвтерпою жил по соседству
В сибирском селе Кутулик.

Поэзия русская билась,
Как пульс на запястье, точь-в-точь.

Потом Мельпомена явилась
Из памяти древней, как ночь.

С какою невиданной силой
Ты выразил жизни раскол.
Ты сам — Валентина и Зилов,
Ты — сцены звучащий глагол.

Как верно, как больно, как точно
Увидел ты жизнь и любовь.
Не зря в тебе с кровью восточной
Слилась святорусская кровь.

1971

СКИФ Владимир Петрович родился в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской области. Автор 25 книг: «Зимняя мозаика» (Иркутск, 1970); «Журавлиная азбука» (Иркутск, 1979); «Живу печалью и надеждой» (Иркутск, 1989); «Копьё Пересвета» (Иркутск, 1995); «Над русским перепутьем» (Иркутск, 1996); «Золотая пора листопада» (Иркутск, 2005); «Письма современникам» (Иркутск, 2005); «Русский крест» (М., 2008); «Молчаливая воля небес» (Иркутск, 2012); «Все боли века я в себе ношу» (Иркутск, 2013); Перевод «Слова о полку Игореве» (М., 2014); «Скифотворения» (Иркутск, 2014); «Где моей скитаться грусти» (Иркутск, 2015); «Байкальское Переделкино» (М., 2015); «Где русские смыслы сошлись» (СПб., 2016) и др. Член СП России. Секретарь Правления Союза писателей России. Член Приёмной коллегии Союза писателей России. Лауреат Международных и Всероссийских литературных премий. Живёт в Иркутске.

День скорби

Памяти Александра Вампилова

От боли тесно в «Подворье» нашем... Не надо песен! Не стало Саши!	Но сквозь бессилье, сквозь чьи-то лики По всей России — красны гвоздики.
Друзья, о чём вы? Стихи, зачем вы? Россия — в чёрном, а не в вечернем.	И небо — сине, и звёзды — сини... Скорби, Россия, о верном сыне!
И Оля скажет, и мама скажет: — Куда ты, Саша? Не надо, Саша!	Скорби в театрах, тень Арлекина И Сарафанов, и Валентина.
Тайга поникнет и — горы даже... А небо крикнет: — Не стало Саши!	Спасти не в силах — Гомыра, Зилов... Погиб Вампилов... Погиб Вампилов!
Ни лжи, ни фальши. Черны асфальты. И в катафалке — черны фиалки.	Седая пена... Волна литая... О Мельпомена, и ты — седая!

1972

Когда погиб Вампилов

Когда погиб Вампилов, О сваи бил Байкал, Сарма в распадах выла: Он ветру — потакал.	Упал в её ладони Берёзовый листок.
И сам, как ветер, мчался, Не зря стихийным слыл. С волною повенчался, До жизни не доплыл.	Навек ушёл Вампилов, И мы скорбим опять: В то время Саше было Неполных тридцать пять!
Когда погиб Вампилов, Притихли вдруг дворы, И маму зазнобило От ветра с Ангары.	Продлить великих возраст Вампилов не посмел... К нему ни Бог, ни возглас, Ни катер не поспел.
Дочурка на балконе Смотрела на восток,	Его уже не стало, Исчез дыханья ток. А дочка всё держала Берёзовый листок...

1980

След на земле

Всё больней, всё острее, ощутимей Оживает твой след на земле. Да святится в веках твоё имя, Как высокие звёзды во мгле.	Этой истины нету дороже, Этой памяти нету сильней. Заметают твой холмик порошей, Оттого и потеря больней.
--	--

Вновь поёт театральная скрипка,
И становится воздух сырей...
По страницам мелькает улыбка,
Оттого и потеря острей.

В горьком, едком отеческом дыме
Пронеслась твоих лет череда.

1987

Оттого и печаль ощутимей,
Что тебя не вернуть никогда.

Оттого и вина ощутимей,
Что пророков в Отечестве нет.

Да святится в веках твоё имя
И кометою длится твой след!

На берегу Байкала

Анастасии Прокопьевне Копыловой

Рождённый православною землёю,
Он православным всею сутью был.
Сквозь небосвод, оплавленный зарёю,
Он до бессмертья всё-таки доплыл.

В порту «Байкал» бледнеют незабудки
Осколками несбывшихся надежд.

1988

Рыдают чайки, улетают утки
В небесную невидимую брешь.

Шумит волна, течёт слезой по скалам.
Летит «моторка». Голубеет падь.

Опять сидит на берегу Байкала
И кличет сына горестная мать.

Саня

Играется жизни последняя драма,
Судьба или лодка зависла над бездной
И рухнула в тёмную вечность... А мама?
А маме в той драме и больно, и тесно.

Сжимается сердце от чёрного горя,
И кажется — нет и не будет дыхания.
Качаются волны бессмертья... А море?
А море байкальское предало Саню.

Как молнии, мысли мелькнули о чуде:
Ведь дома ещё не окончена пьеса!
Неужто Господь отвернулся... А люди?
А люди спешили вдоль тёмного леса.

О где ты, спасенье? О братья-славяне,
Не скоро мы все осознаем потерю.
Утопшую лодку достали... А Саню?
А Саню мальчишки подняли на берег.

Заря поднебесная катится слепо,
Стезя прерывается в сумрачной рани,
И звёзды колющие смотрят... А небо?
А небо Господнее приняло Саню.

1996

У могилы Вампилова

Мы разные. Мы все шальные.
Мы гордые, аж нету сил.
А здесь мы встали, как родные:
Вампилов нас объединил.

Мы изменяемся с годами,
Но каждый душу сохранил.
Мы все пришли к нему с цветами,
Вампилов нас соединил.

Он был весёлым, нежным, грустным,
Своих товарищей ценил.
Здесь все равны — бурят и русский —
Он сердцем нас объединил.

Как жить легко и как непросто!
Как горько жить среди личин,
С рутиной, с пошлостью бороться,
Вампилов нас добру учил.

В работе надрываем жилы,
Но даже в самый грустный час
Мы улыбаемся. Мы живы.
Вампилов наши души спас.

1997

На открытии памятника Вампилову

Век остуился, задохнулся
От боли острой, ножевой,
Когда Вампилов не вернулся
С Байкала в грустный город свой.

Когда стремительная лодка
К бессмертью вынесла его,
Волна в объятьях сжала плотно,
Не подпуская никого.

Как коршуны, кружили ветры,
Стучала молния в крови.
Он не доплыл четыре метра
До жизни, славы и любви.

А в кабинете стыло кресло,
Весь город утонул в свинце.
И голосили в доме пьесы,
Как дети о родном отце.

С какой невероятной силой
Хотели мы, чтоб снова к нам
Вернулся бы живой Вампилов
По суше или по волнам.

Не на портрете и не в раме,
Обыкновенный, в доску свой.
И вот он снова перед нами —
Великий, бронзовый, живой!

2003

Где русские смыслы сошлись

В небесах облака. Там укрылся Вампилов —
Во Господних селеньях, на райских лугах.
А родная земля — Александра любила,
Не желала никак, чтоб он жил в облаках.

Вот родной Кутулик. Посмотри и послушай:
Над родною землёй свет небесный разлит,
Снег скрипит во дворе, как скрипит волокуша,
На которой он сено в Алари копнит.

Никуда от сибирских просторов не деться,
Никуда не уйти из родного двора.
Прозвенело, как лето сверкнувшее, детство,
За собою позвали Байкал, Ангара.

Из печали к нему птица Сирий летела,
Мельпомена за пьесою пьесу несла.
А со сцены волна, будто сабля свистела,
Полюбила сперва, а потом предала.

Шквал судьбы налетел, как стремительный коршун,
Полыхнул из байкальской расщелины свет.
И Вампилов погиб меж грядущим и прошлым,
Будто пал со скалы своих зримых побед.

...Нынче бредит театр извращённой потехой,
Исчезает — тревогу хранящая — мысль.
Но Вампилов сияет не сбитою вехой,
Где высокие русские смыслы сошлись.

2015



ГРИГОРИЙ БЛЕХМАН



Так всегда — жалеешь слишком поздно

* * *

Из множества знакомых фраз
Составить бы такую фразу,
Чтоб останавливала сразу,
Но и была не напоказ.

Высокий слог и простота
Чтоб в ней слились одновременно,

Тогда проступит в современность
Любого времени черта.

Тогда она и бередит,
И все тебя готовы слушать.
Но миг такой — лишь редкий случай,
И мало у кого гостит.

БЛЕХМАН Григорий Исаакович родился 11 августа 1945 г. на Кубани в казачьей станице Бесскорбная, где жил десять лет. В 1955 г. с семьёй переехал в Москву. По профессии физиолог и биохимик. Доктор биологических наук, профессор. Стихи, а также повести, рассказы, очерки о поэзии, поэтической прозе, поэтах и писателях, публицистика публиковались в отечественных и зарубежных журналах и альманахах. На десять стихотворений композитором Раисой Агаджанян написаны романсы. Некоторые произведения переведены на персидский, литовский, армянский, болгарский, немецкий и английский языки. Автор восьми сборников — стихотворений, прозы и очерков, вышедших в издательстве «Российский писатель». Лауреат Всероссийских литературных премий имени Николая Гумилёва, имени Александра Твардовского, имени Михаила Лермонтова и премии МГО СПР «Лучшая книга 2012—2014» в номинации «эссе» за книгу *«Когда строку диктует чувство»*. Член редколлегии журналов «Берега» и «Литературная Феодосия». Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

* * *

У жизни мирской есть пределы,
У жизни духовной их нет,
И как ни живи, что ни делай —
Почти неизменен сюжет:

Сперва поддаёшься соблазнам,
Потом искушаешь грехи...

Порой — очищение, как праздник,
Где медные звуки тихи.

Живёшь, эту книгу листая,
Пока ни находишь ответ:
Лишь время мирское в нас тает,
А время духовное — нет.

* * *

Часто с теми, кто дружит со словом,
Робок день и приветлива ночь,
Где ночные прозрения снова
Могут день оценить и помочь

Выбрать верную строчку и фразу
Или в тон тишине помолчать.
Только это приходит не сразу,
И не всё попадает в печать.

Маме

Ты уходишь в золотую осень,
И в пространство тихо сеет дрожь,
Ты меня теперь уже не спросишь:
«Как дела, сыночек? Ты придёшь?»

И свеча, что по тебе печалит,
Восковой слезой бежит на дно.
«Я приду» — тебя я отвечаю.
И теперь тебе уже одной...

Ты прости — я опоздал с ответом,
Ты всегда умела тихо ждать.

Я сегодня пожалел об этом —
Что не всё успел тебе сказать.

Так всегда — жалеешь слишком поздно,
Что-то рад бы изменить, но как?..
Тихо стынут за закатом звёзды,
И плывут куда-то облака.

Может быть, туда, где это «где-то»,
И куда я говорю опять:
«Ты прости, я опоздал с ответом,
Подожди, как ты умеешь ждать».

* * *

У каждой строчки есть подстрочник,
Он неуклюж и простоват,
Поскольку там ещё неточно
Располагаются слова.

Расставишь — получаешь строчку,
Потом забудешь, что сперва
Её принёс тебе подстрочник
И подарил свои слова.

* * *

У пышной фразы есть изнанка,
А у простой — изнанки нет.
Она приходит спозаранку,
В ней прост вопрос. И прост ответ,

Что только самое простое
Вместить способно глубину.
И потому искать не стоит
В себе хоть чью-нибудь вину.

* * *

Печаль и радость входят в будни —
Всему свой срок и свой черёд,
Но что в каком порядке будет,
Никто не знает наперёд.

Конечно, хочется удачи,
О ней и теплятся мечты,
Но праздник, так или иначе,
Лишь то, что сам сумеешь ты.

Как видно есть какой-то жребий,
Но плох ли он или хорош...
Ведь даже праздник — был ли, не был —
Порой не сразу разберёшь.

А чуть достигнешь — снова будни,
Они-то помнят свой черёд...
И всё равно, о том, что будет,
Никто не знает наперёд.

* * *

У исключений правил нет —
Они, как правило, случайны,
И тайна их первоначальна:
Как без предмета силуэт

Он может быть совсем не прост
В незарастающей тропинке —
Ведь даже память без запинки
Не отвечает на вопрос

Или как разовый билет
Туда, где вдруг объявлен праздник.
И не казённой бравой фразой,
А той, что оставляет след.

О том, куда был тот билет,
Где и когда тебя ждал праздник
И почему иная фраза
Вдруг навсегда оставит след.

* * *

Невозможно быть любимым всеми.
И не нужно, важно только знать —
Каждого из нас рассудит время,
Хоть и не уходит время вспять.

Нашу суть, поступки и причины,
Что в ряду том рядышком стоят.

Лишь оно безжалостно и чинно
Расставляет в объективный ряд

Ну а то, что невозможно всеми
Быть любимым... Так возможно знать —
Каждого из нас рассудит время,
Хоть оно и не уходит вспять.

* * *

Я живу в современном мире,
Он ко мне равнодушен и пуст,
Как к жильцу в опустевшей квартире
Отстающих обоев хруст.

И во многом живу тем, что слышу
Голоса моих давних дней,
От которых теперь завишу
С каждым годом сильней и сильней...

* * *

Казалось бы, совсем немного:
Бокал вина да разговор —
И коротается дорога.
Так повелось с далёких пор.

Её не только коротаешь,
А в откровенности сосед —
Как будто давний твой товарищ —
Даёт очередной совет...

Такое было постоянно
В доперестроечной стране.
Сейчас уткнулись все в экраны,
В пути бесед почти и нет.

Прогресс, конечно, неизбежен,
Но иногда — бокал вина
И разговор — случайный, прежний,
Как в давних днях, лишает сна.

* * *

Год из года за верхушкой лета
Тает день, сужая свой проём,
Лишь деревья, повинувшись ветру,
Шелестят о чём-то о своём.

Шелестят, наверное, о главном —
Сверху дальше видно, чем внизу,

Может, знают книгу без заглавия
И оттуда вести нам несут.

День за днём приходят эти вести,
Торопясь уйти за окоём...
Лишь деревья всё на том же месте
Шелестят о чём-то о своём.

Современное искусство

Сегодня — время деловых людей,
Они почти заполнили пространство
С одной идеей в виде постоянства:
Купи — продай. И больше нет идей.

Торгуем всем — в продаже даже «пар»,
Теперь проектом стало и искусство...
В таком «искусстве» потому и пусто,
Что «образ мира» превращён в товар.

* * *

Неслышно возраст подступает —
Он не стучится, не звонит,
А лишь слегка напоминает:
Всему свой срок и свой зенит.

Всё чаще он тебе приносит
Дни расставаний насовсем,
Когда никто уже не спросит:
«Зачем так рано? Ну зачем?!..»

И близорукими глазами
Ты в дальноточности своей

Увидишь, сколько помнит память
Из самых дальних её дней.

Ты удивишься — как далёко
Она умеет заглянуть!
Порой бывает так жестока —
Что до утра и не заснуть...

Но всё равно, в какой бы фазе
Ни проходил твой путь земной,
Его финал живёт во фразе,
Известной лишь судьбе одной.

Вдохновение

Из века в век о нём мечтают,
Надеясь, что когда придёт,
Останется и не оставит
Тебя среди мирских забот.

Оно приходит и уходит,
Ни разу не предупредив,
Лишь оставляя нечто вроде
Эфира, где гостил мотив.

И потому не знаешь, был ли
Той мимолётности сюжет,
Где сразу вырастают крылья,
Которых не было и нет.

И о которых все мечтают...
Но, видно, так — из века в век:
Уйдёт, придёт и вновь оставит
Тебя в надежде, человек.

* * *

Уходят годы, не прощаясь,
Как и приходят, не стучась,
Слегка себя обозначая
В условный день, условный час.

Ведут тебя по анфиладе
Неслышной поступью шагов
К ещё неведомой ограде,
Где твой итог земной готов.

Но он, земной, лишь запятая
Для продолженья наших дней, —
По чьей-то памяти ступая,
Ты продолжаешься и в ней,

Чтоб с непрочитанной страницы
Услышать главные слова
Или кому-нибудь присниться
И обозначиться едва.



АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ



Моя любовь

РАССКАЗЫ И «ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ»

Конец романа

Вокзала никакого нет, потому что нет ещё города. Есть обыкновенная станция — маленькая, деревянная, выкрашенная в жёлтый цвет. В зале ожидания всего три скамейки. На одной из них устроились две бойкие старушки с корзинами, на другой спит, свесив ноги и одной рукой касаясь пола, здоровенный дядя в телогрейке.

На третьей скамейке сидит девушка в синем плаще, хорошенькая, с большими серьёзными глазами. В этих глазах — беспокойство и даже страдание. Ничего удивительного, если она вот-вот заплачет. Рядом сидит, развалившись и закинув ногу на ногу, широкоплечий парень. Надвинутое на лоб серое кепи бросает тень на его глаза. Хорошо видно только большой правильный нос и крупные расслабленные губы. Тяжёлые руки брошены на скамейку. Такая поза существует специально для выражения усталости, небрежности и равнодушия. У его ног стоит громоздкий чёрный чемодан.

— Николай, ты не уедешь сегодня. Слышишь, не уедешь, — шепчет девушка, боязливо касаясь его руки.

— Почему я должен ехать завтра?

— Ни завтра, ни послезавтра ты не должен уезжать.

В её голосе и просьба, и требование, и надежда. Он поднимает воротник, встаёт, берёт чемодан.

— Выйдем отсюда.

Под ногами похрустывает лист облетевших тополей, с рельсов брызжут холодные лунные искры, дальше, за платформами и кустарником, чернеется зубчатый горизонт лесистой сопки. И вся тихая голубая осенняя ночь полна ожидания и беспокойства.

— Может быть, ты всё-таки поедешь со мной?

— Нет, не могу. И ты не должен уезжать... Я перестану тебя любить. Я люблю тебя здесь... умного, сильного. А ты... Если ты уедешь, я не смогу тебя любить...

Он усмехается.

— Какая ты ещё девочка... Ну что ж, оставайся. Конечно, оставайся. И вот что... Поговорим откровенно. Я хочу, чтобы ты поняла, что ничего не теряешь. Для тебя даже хорошо, что я сматываюсь... Мы с тобой разные, как сосна и берёза. Ты вся какая-то голубая, розовая и... глупая. Поговорим откровенно. Я с тобой никогда не говорил откровенно. Я обманывал тебя. Виноват, конечно... впрочем, все мы друг перед другом виноваты... Сейчас, на прощанье, я хочу признаться тебе в том, что я люблю себя. Люблю самого себя — и это самая искренняя моя привязанность. Мне нравится заботиться о себе, окружать себя вниманием, удобствами. Здесь мне мешают этим заниматься. И мне надоело. Меня не устраивает это ваше дурацкое «будет». Квартира будет, театр будет, город будет! Когда, я спрашиваю? Я сейчас молод, понимаешь, мне это всё сейчас надо.

А она твердит:

— Ты говоришь неправду... Ты так не думаешь. Ведь ты приехал сюда...

— Сюда я приехал заработать, ну и... из любопытства. Денег здесь приличных нет, любопытство моё удовлетворено. Магнитная гора меня больше не притягивает. Счастливы вам оставаться, фанатики, романтики! Мошку, грязь и морозы оставляю в ваше распоряжение. С собой я увожу только нежную память о них.

Мимо тащатся две старушки с корзинами. Громко зевая, проходит дядя в телогрейке. Пришёл поезд.

— Ну вот, карета подана. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай, как сказал один хромо́й старик. Он писал упаднические стихи, много ездил, но нигде не прописывался.

Он делает к ней шаг и замолкает. Луна не в состоянии скрыть её бледности, дрожат губы, влажные глаза блестят... Всё вместе это — боль, горе, смятение. Он берёт её за плечи и быстро, ласково, настойчиво говорит:

— Ты поедешь со мной! Сейчас же! Будь умницей... Если ты любишь меня — ты поедешь. И не надо больше глупостей про воздушный замок у Магнитной горы. Подумай, чтобы быть счастливым, необязательно строить новый город. Есть много готовых городов. Ну?..

Поезд вздрагивает и медленно ползёт вдоль перрона.

— Нет... я не могу, — шепчет она.

Его лицо становится жёстким и надменным.

— Тогда прощай, — говорит он и вскакивает в тамбур. Раскрытую дверь тамбура тотчас же заслоняет толстая фигура женщины-проводницы.

— Укатил соколик, — взвизгивает проводница, — ищи, девка, другого.

Быстро прогорел красный огонёк последнего вагона, и вот уже замирает стук колёс. И сразу делается невыносимо тихо. Слышно, как бьётся сердце.

К луне крадётся тяжёлая чёрная туча. Становится темно. Девушка идёт от станции в гору, туда, где светятся окна посёлка. Шаги сиротливо шуршат по су-

хой траве. В открытых глазах слёзы, и сквозь их пелену растут и заполняют весь взгляд сплошным неясным заревом огни будущего города.

Моя любовь

Пять лет назад на перроне маленькой станции я прощался с любимой девушкой. Мне было тогда восемнадцать лет, и я ехал в город учиться. Единственный пассажирский поезд останавливался на этой станции глубокой ночью. И это было так кстати. Мы сидели на моём громоздком чемодане и говорили о будущем. О том, что мы будем любить друг друга всю жизнь, что я буду приезжать, что в разлуке будем писать письма, а через пять лет, окончив институт, я вернусь в наше село, и мы будем вместе. Повторяю, мне было тогда восемнадцать лет, и всё то, что мы друг другу обещали, казалось мне нашим будущим.

Начиная со школьного возраста я постоянно был в кого-нибудь влюблён. Когда из шестого класса уехала вдруг моя соседка по парте, я впал в задумчивость и остался в шестом классе на второй год. Потом я последовательно был влюблен в преподавательницу истории, пионервожатую и в двух своих одноклассниц. По-настоящему я влюбился тотчас же, как пришло время. Это была Вера, та самая девушка, которая, не спросившись дома, ночью ушла на станцию провожать меня. Ей оставалось учиться в школе ещё год, она собиралась стать учительницей и через пять лет непременно работать в своей школе.

О том, что мы друг друга любим, мы говорили тогда в первый раз и говорили потому, что мы расставались. Пришёл поезд. Мы поцеловались, и Вера заплакала, уткнувшись головой в моё плечо и всхлипывая совсем как моя десятилетняя сестрёнка. Я взял её за плечи, поднял голову и долго смотрел ей в лицо. Прямые светлые волосы, нос чуть больший и весь в веснушках, мокрые серые глаза, жалкая улыбка... Я не знал тогда, красива ли она.

Поезд тронулся. Я поцеловал Веру ещё раз, вскочил в тамбур, вошёл в вагон, сел лицом к окну и просидел так всю ночь. «Ты не забудешь меня!» — вспоминались мне её слова и лицо. Она повторила это несколько раз, и трудно было понять, кого она убеждала в том, что я её не забуду — себя или меня. «Разве можно забыть!» — думал я в отчаянии...

И забыл. Забыл легко и быстро. Я попал в компанию весёлую, шумную и безалаберную. Институт мне показался большим скоплением бойких молодых людей и легкомысленных девушек, у меня закружилась голова, и уже через две недели было назначено свидание с некоей Лидой. Лида в самом деле оказалась такой легкомысленной, что в неё трудно было как следует влюбиться. Через месяц мы разошлись в разные стороны, шутя и посмеиваясь. Потом была Эля, потом её подруга Катя.

Я изменился. Завёл себе усы-шнурочки, выучился танцевать и, выбиваясь из своих студенческих возможностей, волочил за модой. Одним словом, внешне я сделался то, что называется «стиляга». Вообще-то я уверен, что стилинг никаких нет. Есть модники, шалопаи, жулики, нахалы, есть мальчишки, которым невтерпёж быть взрослыми и быть мужчинами, а стилинг нет. Отрицание авторитетов, желание пожить в своё удовольствие, перепродажа модных вещей — всё это, конечно, не оригинально, не ново и сводится в конце концов к мелкому хулиганству. А все эти ценители и коллекционеры плохой эстрадной музыки, разные Бобы Бондарен-

ко и Джоны Сапожниковы — это же только смешно и пошло. Впрочем, многие из поклонников гнусного саксофона в восторге от этой музыки и не признают никакой другой только потому, что спекулируют ею по воскресным дням на толкучках.

Конечно, я далёк был от увлечения напоминать собой *lovelas*, но меня всё это тогда забавляло, а главное, это нравилось девушкам, которым хотел нравиться я. Шутя и посмеиваясь, я знакомился и забывал свои знакомства четыре года. Бывало, сижу где-нибудь в саду, жду девушку и скучаю. И мне нравилось, что я скучаю, что я могу встать и уйти, не дождавшись этой девушки, и завтра назначить здесь же свидание кому-нибудь другому. Мне нравилось интриговать, водить за нос, пускаться в рискованные приключения и выходить из воды сухим и со свободным сердцем.

Кончилась моя учёба в институте. Товарищи мои почти все пережились и стали уже мне не товарищи. Я по-прежнему балансировал между флиртом и низкопробными романами и был доволен собой. И вдруг мне стало грустно и беспокойно. Я сделался задумчив, всё чаще уклонялся от выпивок и стал уединяться. Как-то я вспомнил Веру, но вспомнил с грустной усмешкой, как что-то трогательное, смешное и безвозвратное. Скука взялась за меня основательно, и я решил жениться.

Я бросил свои ловеласовские повадки и стал ухаживать за Лизой, строгой, умной и милой девушкой, с которой познакомился в театре. Лиза была красива, я привык к ней, и иногда мне казалось, что я люблю её, но я чувствовал, что в то же самое время я готов к чему-нибудь новому. Через полгода у нас было всё решено: я кончу институт и мы поженимся. Лиза кончала музыкальное училище, но со мной собиралась ехать куда угодно.

И вот я получил диплом агронома и назначение, разумеется, в село. Направление оказалось именно в то село, откуда я уехал пять лет назад. Лиза ещё сдавала экзамены, и устраиваться я поехал один.

Ночью в вагоне мне не спалось. За окном набегали и исчезали огни станций и мелькали встречные поезда. Я сел у окна и раздумался. На вокзале меня провожала Лиза, но мне не было грустно от того, что мы расстаёмся. «Я не люблю её», — подумал я. Потом я вспоминал своих прежних знакомых, и, странное дело, ни одну из них я не мог вспомнить как следует, я не мог ясно представить ни одного лица, ни одного значительного слова, ни одного запоминающегося пустяка. И я понял, что молодость моя проходит мимо счастья — мимо тех радостей и печалей, которые даёт человеку одна любовь. «Как известно, — подумал я, — для души и сердца прошли эти пять лет...» И я вдруг ясно вспомнил свой отъезд в город, маленькую станцию, Веру и её милое, заплаканное лицо. «Как было хорошо, и как всё это сейчас далеко от меня... Где теперь Вера? Если бы люди выполняли все свои обещания и клятвы, то она должна сейчас ждать меня в том селе», — я усмехнулся и, опустив голову на руки, стал засыпать.

Был звонкий майский полдень, я спустился с железнодорожной насыпи и пошёл к селу маленькой чёрной тропинкой. Кругом было столько света, воздуха и зелени, было так хорошо, что хотелось упасть в высокую пахучую траву и пролежать в ней как можно дольше, ни о чём не думая, ничего не вспоминая.

Я прошёл половину длинной улицы села, никто мне не попадался. И только у другого конца улицы двери нового двухэтажного дома вдруг распахнулись, и оттуда вырвался целый ручей белоголовых ребятишек. Я остановился и смотрел на них, пока они не выбежали из школы все и их радостный галдеж не удалился

по обе стороны улицы. Потом из школы вышла девушка, легко сбежала по белым ступенькам и быстро пошла в мою сторону. Неожданность, растерянность, радость — всё, что я испытал в эту минуту, можно только испытать и совсем невозможно представить. Это была Вера. Она остановилась передо мной, долго на меня смотрела и, проговорив: «Ты не забыл меня...», бросилась ко мне на грудь. Вот и всё.

Потом мы бродили за селом по лугу, пили шампанское в её квартире, и, когда она была на уроках, я с нетерпением ждал её в шумной учительской. Я смотрел на неё, слушал её голос, и мне казалось нелепым и диким то, что я мог её забывать. Я понял, что я не смог полюбить ни Лизу, ни всех остальных, которые будто причудились мне в плохом сне, только потому, что все они не похожи на Веру, и потому, что любил я всегда только её одну. Я не оспариваю ни опыта, ни мудрости, ни правоты тех, кто утверждает, что любовь к одному человеку не может быть беспрерывной и беспредельной, но я твёрдо убеждён, что моей единственной любви хватит на всю мою жизнь. Мне стыдно. Я так виноват перед Верой, перед своей любовью. Но Вере я ничего не рассказываю. Я боюсь оскорбить нашу любовь, и я прощаю себе эту трусость. Моя любовь искупает мою вину.

Я едва смог поехать в город, чтобы объясниться с Лизой, которая уже собиралась ко мне приехать. Входя в её дом, я услышал фортепьяно. Лиза играла Шопена. Я вошёл в комнату. Она сидела ко мне спиной и не заметила моего прихода. Я тихо уселся у двери и стал слушать. Раньше я не любил Шопена, его музыку считал слишком сложной и сентиментальной. Но теперь я был заморожен... И тут, слушая Лизу, я думал о Вере и о своей любви. И мне казалось, что это тонкое и глубокое чувство, которым жила и входила в душу музыка, — моё чувство, и мне захотелось вдруг видеть Веру и говорить ей что-нибудь красивое и нежное... Лиза кончила, мы поздоровались, и я объяснился. В тот же день я уехал. Лиза любила меня, и я оставил её в ужасном состоянии. Не знаю, прав ли я. Знаю только, что я счастлив.

Успех

На этот раз мне предстояло сыграть негодяя. По ходу действия я должен был отказаться от матери, спекулировать шикарным бельём, клеветать, двурушничать, вскрыть два сейфа и обмануть нескольких девушек. В конце пьесы за мной приходило сразу три милиционера. Мой герой был такой мерзавец, что я сам сомневался в его правдоподобии. Но меня марьяжили на эпизодических ролях, а тут наконец дали солидную роль. Режиссёр долго ко мне присматривался и вдруг сказал: «Из вас, по-моему, выйдет незаурядный подлец». И вот — роль моя!

Кому не нужен успех? Артистам он нужен в особенности. Без него артист чахнет, становится завистником и интриганом. Мне же, молодому, начинающему, успех нужен как воздух.

За два дня до премьеры я ходил по комнате и твердил свою роль. В двенадцатом часу пришла Машенька, наш декоратор. Она слушала меня за дверью и вбежала в мою комнату, смеясь и аплодируя.

— Bravo! Bravo! Ты бесподобен! Ты страшен! Bravo... Только, знаешь, слишком уж... Твой герой — такое чудовище, что как-то... Бывают ли такие в жизни? Вечно тебе дают чёрт знает что! То проезжий, то прохожий, то хулиган, то пижон,

а теперь — что-то умопомрачительное... Но хватит. Собирайся, тебе надо провертеться.

Глядя на Машеньку, на её поблёскивающие глаза, весёлые лучистые волосы, слушая её щебетание, я забываю все заботы и думаю только о том, как я счастлив. Машенька — моя невеста.

— И вот что! Приехала мама. Не отвиливай. Ты должен с ней познакомиться. Она хочет тебя видеть. Так что, живо!

Я не сопротивлялся. Был отличный день, и мне самому хотелось прогуляться по городу. Я надел галстук, прихватил пальто, шляпу, и мы выбежали на улицу. Ночью падал снег, но к обеду он почернел и подтаял. Было тепло, и, хотя был ноябрь, всё очень походило на весну. Я бережно держал Машенькин локоть, и не всё ли равно — осень ли это была, весна ли — я был счастлив. Хотелось выкинуть что-либо легкомысленное и весёлое.

— Ты будешь вежлив, — говорила Машенька, — старайся показаться солидным, рассудительным. Тебе это ничего не стоит — ты артист. Что-нибудь соври.

— Как! Ещё одна роль? И, кажется, роль скромного, заведомо положительного молодого человека. Машенька, пожалей меня, я этого не репетировал.

Я уже представлял себе все неизбежные неловкости, заминки, паузы, как вдруг меня осенило. «Сыграю-ка я перед мамашей своего негодяя, — подумал я, — а потом объяснюсь. Будет весело, непринуждённо, заодно прорепетирую и посмотрю, как оно — на свежего человека».

Я был доволен своей выдумкой, и мне заранее стало смешно. В таком настроении я предстал перед Машенькиной мамашей.

И вот я и Варвара Семёновна сидим друг перед другом в небольшой светлой комнатке, завешанной и заставленной этюдами.

— Смотри же, — шепнула мне Машенька, — я хочу, чтобы ты ей понравился. — И убежала на кухню.

Мамаша — ещё нестарая миловидная женщина, похожая, впрочем, на гусыню. Длинная шея, узкие плечи, белая блузка и строгое, даже надменное выражение лица. Минуту мы молчали. Я бы давно уже смутился, но не таков мой герой.

— Я очень рада, что мы познакомились, — сказала, наконец, мамаша.

— Да, — отвечаю я, — это не лишнее.

И снова молчание. Слышно только, как Машенька бренчит на кухне кастрюлями. «Начну, — решил я, — ошарашу сразу».

Я откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и начал:

— Мы, Варвара Семёновна, люди умные и не будем играть втёмную. Я жёнось на вашей дочери. Не надо истерик, слёз, восторгов тоже не надо. Обойдёмся без междометий, восклицаний и прочих изъятий чувств. Экономьте нервы... Вопросов вы мне тоже не задавайте. Я всё сам объясню. Вы хотите знать, кто я такой. Вы, конечно, слышали, что меня считают здесь... как бы это вам сказать... непорядочным человеком. Это пустяки. Мне завидуют. Завидуют моему умению жить.

— Артистам всегда завидуют, — сказала вдруг мамаша. К моему изумлению, на её лице не было смущения. Строгость вдруг сползла с её губ, а приподнятые брови означали лишь лёгкое удивление и любопытство.

— Да, я артист, — продолжал я, — почему бы не быть артистом, если за это неплохо платят? Но я могу быть и бухгалтером, и швейцаром в ресторане, и директором бани — только заплатите мне больше... Конечно, получать и дурак мо-

жет. Я такой человек, что мне никогда никто не даст, если я сам не возьму. Но сам я возьму обязательно. Зачем я женюсь на вашей дочери? Ваша дочь мне, конечно, нравится. Она... ничего себе... шик, экстра, прима. Но дело не в этом... — Я нагло зевнул и искоса взглянул на мамашу. Мамаша сидела смирно. Она не собиралась падать в обморок, закатывать истерику и даже не перебивала меня. Мне показалось, что смотрит она на меня внимательно, с теплотой. Такие глаза бывают у доброго учителя, когда он смотрит на способного малыша. «Странно, — подумал я, — её, видимо, ничем не прошибёшь».

— Дело, разумеется, не в том, что я не могу жить без вашей дочери. Я могу без неё жить. Мы знакомы всего две недели, но этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовать взаимную... выгоду. Машенька будет жить роскошно, модой будет заправлять. С другой стороны, мне необходима связь с культурными людьми... с запросами. Сейчас я и сам артист, но, как только мы поженимся, я уйду из театра. В театре не развернёшься. Я перейду в какое-нибудь солидное учреждение с дебетом-кредитом. Например, в коммиссионный магазин — на простор.

«Почему она меня не выгонит?» — недоумевал я.

— Я выкладываю вам всё начистоту, потому что я уверен, что вы умная женщина и любите свою дочь. Нравлюсь я вам или не нравлюсь — это не имеет никакого значения. Машенька от меня никуда не денется. Я хотел, чтобы вы поняли, что ваша дочь находится в крепких руках.

Я помолчал, прошёлся по комнате и сказал, гадко ухмыляясь:

— Между прочим, у нас с Машенькой всё зашло очень далеко... Вы можете нас поздравить чисто формально... постфактум, так сказать, вы меня понимаете...

Мамаша не побледнела, не вскочила, не затопала ногами, а, странное дело, она улыбалась. «Бревно — не женщина... Ну, я тебя доконаю!» — обозлился я.

— Мне сейчас нужны деньги, — продолжал я как можно нахальнее, — для одного дельца. И вы мне их дадите... Если вы мне откажете, я не могу жениться на вашей дочери. Очень свободно... Я ведь всё могу.

После этих слов я ждал чего угодно, только не того, что произошло. Я не поверил своим ушам. Мамаша спросила меня голосом, полным внимания и предупредительности.

— Сколько вам надо?

— Тысячу, — сказал я в замешательстве: я уже ни мог больше играть.

— Конечно, я вас выручу, — улыбаясь, сказала она и засеменила в другую комнату. Вошла Машенька.

— Обед готов... Что такое ты ей говорил? Она в восторге от тебя. Это, говорит, то, что тебе надо. С таким мужем, говорит, сто лет жить можно. Он — прелесть. Но скажи ему, чтобы он был осторожнее. Он, говорит, молод, горяч. Так чем же ты её очаровал?

В глубокой задумчивости я опустился на стул. «Да, это успех», — думал я, с тревогой вглядываясь в невинные Машенькины глаза.

Листок из альбома

— Чем бы вас занять? — сказал мой новый знакомый Евгений Сергеевич Потерин, морща лоб и обшаривая свою комнату пренебрежительным взглядом. — Вот хоть это, — он сунул мне в руки небрежно выдернутую из этажерки штукови-

ну в бархатном переплёте и пошёл к двери. — Взгляните пока. Глупейшая вещь, женская литература. Сам никогда до конца не смотрел. Я сейчас вернусь.

Евгений Сергеевич пошёл за пивом. Его жена, Таисия Григорьевна, хлопотала на кухне. Таисии Григорьевне лет тридцать пять, но её красота ещё очевидна, И меня удивили её грустные глаза — редкость и неожиданность у хорошенькой женщины.

В моих руках оказался альбом со стихами. Как полагается, он был напичкан нежной лирикой, начиная с пылкого Катулла и кончая Степаном Щипачёвым. Я нехотя полистал.

Последней страницей альбома оказался вклеенный в него небольшой листок, исписанный мелким почерком. Когда-то измятый, теперь тщательно выровненный, склеенный из двух частей, выцветший, этот листок заинтересовал меня своей интимностью.

«Я не могу больше любить так мучительно и так униженно. Мне трудно видеть тебя и ждать от тебя всякую минуту признания в том, что ты меня не любишь. Прощай. Будь счастлива — у тебя для этого есть всё и нет больше того нищего, при котором неудобно дарить свою любовь кому-нибудь другому. Прощай! В конце мая сходи за город, туда, где мы были год назад и где с тобой были ещё твои сомнения, со мной — мои надежды. Взгляни, как тают белые цветы, вздохни и всё забудь».

Я с любопытством перечитал всё это ещё раз.

— Ха-ха. Не поверите — это я написал, — вдруг раздался у меня за спиной голос вернувшегося Потерина.

Я взглянул на него с удивлением. Всегда насмешливый, далёкий от разных нежностей, Потерин олицетворял собой здравый смысл.

— Что, не похожу на Вертера? Ха-ха-ха!.. А ведь было, было... — продолжал Потерин, разливая пиво. — Хотите расскажу? Обед ещё не скоро. Эй, живее там! — крикнул он жене, которая на кухне приятно побрякивала посудой.

— Пейте пока пиво. Свежее, из персональной, можно сказать, бочки... Так вот... Послушайте: поучительно, а главное — беспримерно глупо... Начался этот водевиль, когда мне было девятнадцать лет. Конечно, в девятнадцать лет всем положено любить и страдать, но я любил и страдал не как все. Я смотрел на всех своих знакомых влюблённых критически, с такой демонической усмешкой. Мне казалось, что они любят не так, как надо, опошляют любовь, делают из этого праздника человеческих чувств серые, скучные будни и всё в таком духе. Про себя составил я что-то вроде идеала любви и решил его осуществить.

А кто, вы скажите мне, имеет ясное представление о том, какой в этом должен быть идеал? Вообще, кто может верно и категорически судить о любви? Сколько соображающих людей, столько и взглядов, и мнений. И о любви судят особенно необъективно. Ну, а моё представление о любви состояло, конечно, сплошь из иллюзий. И вот появилась «она». Я был страшно придиричив, но она понравилась мне сразу. Красивая, юная, нежная. Чиста, как снег в семи километрах от города.

О своей внешности я был самого неопределённого мнения, а между тем был недурен. Кроме того, щёлкая соловьем, оригинальничал, острил, одним словом, был способен нравиться.

Началось, как обычно, время будто бы случайных встреч, сомнений, догадок, желания видеть друг друга во сне и сразу после сна... Мы познакомились, и я стал думать о ней от свидания до свидания. Разумеется, на свидании я тоже думал о

ней. Когда я сказал, что люблю её, это было уже так очевидно, что признание моё оказалось только формальностью. Она же была романтиком и ничего, конечно, не знала и ничего не могла мне сказать. Впрочем, она говорила что-то о товарищеском отношении, но при чём тут товарищеское отношение?

Любить тогда для меня значило говорить нежности и делать глупости. Мало того, я боготворил её, возводил в степень, семенял вокруг неё мелким бесом и рассыпался перед ней мелким бисером.

А это-то и губительно. Я ей нравился, но как только она убедилась в том, что я люблю её и в доску постоянен, она стала относиться ко мне небрежнее. Сердиться я на неё не мог — у меня только портилось настроение. Сначала она ссорилась охотно и весело, находя в этом удовольствие сытой кошки, заигрывающей с затравленной мышью, но потом ссоры стали жёсткими и злыми, дольше длились и с трудом прекращались моими усилиями.

Я весь, мои дела, мои убеждения зависели от её настроения. У самой у неё не было ни убеждений, ни мыслей — один только характер. Характер скверный. В её голове ничего интересного, кроме капризов, не было; правда, капризы эти всегда поражали своей виртуозностью. Исполнение её любого желания — это то, что неизбежно должно быть, как зимой снег. Даже когда она любила меня, она могла бы меня поменять на леденец, если бы очень его захотела.

И глупее всего то, что меня все эти капричиозы восхищали, приводили в какой-то идиотский трепет. Я так захлёбывался от восторга, так млел от обожания, что даже теперь ещё совестно. Больше года она водила меня за нос, потом ей это надоело, и она прогнала меня. Я вбил себе в голову, что я замечательно несчастлив, писал нежные и грустные стихи, стал худеть и подумывать о самоубийстве. Несколько раз я встречался с ней под разными предлогами, писал унижительные письма вроде этого листка и окончательно ей надоел. В последнюю из таких встреч она сказала мне: «Всё кончено. На следующее свидание приглашу милиционера».

Никогда не забуду этого вечера. Разговор происходил во дворе её дома. Я пресмыкался и просил её выслушать меня. Если вы когда-нибудь были идиотом, то знаете, как может женщина унижить человека. Она вообразила себе, что ей противно находиться со мной лишнюю минуту, и хлопнула дверью. Противно! Сразу же я услышал за дверью смех.

Смеялись она и её подруга. Смех этот страшно резанул по моей психике, и тут я почувствовал, что из моей души вдруг выпала какая-то большая деталь. Не помню, как я удалился со двора. Неопределённое время я просидел на скамейке в пустом сквере, а когда поднялся, то почувствовал, что любовь моя кончилась.

Она вытравила во мне «всю пылкость, все страсти души» и прочие глупости. Она воспитала во мне юмористическое отношение к женщине. На следующий день я написал ей: «Если нравится быть жестокой — вешайте собак или распределяйте стипендию» — что-то в таком духе.

Сам себе я сказал: «В твоей любви не было радостей — в твоей жизни не должно быть скуки. Скука недопустима». И зажил весело и беззаботно, как это возможно студенту средней обеспеченности. Замелькали разные лица, но я в них уже не всматривался. Я любил и пользовался взаимностью, но любил уже без всяких идеалов, без замираний в сердце и всего такого прочего. И вот...

В комнату вошла Таисия Григорьевна, постлала скатерть и стала накрывать на стол. Потерин, будто не замечая её, продолжал, солидно отпивая из кружки, которую я периодически наполнял:

— Вы никогда не встречали учебника женской логики? Нет такого? А почему? Такой учебник мог бы написать любой бухгалтер в перерыве между составлением двух отчётов. Ничего нет проще: всё шиворот-навыворот — и только. Женщины сами распространяют слух о том, что их логика непостижима. На самом деле их поступки и мысли прямолинейны, как телеграфный столб. Так вот, когда я уже откровенно зубоскалил над возвышенными чувствами, верностью и голубиным счастьем, она вдруг пришла ко мне и принесла мне свою любовь, раскаяние, покорность, слёзы и желание не разлучаться.

И вы знаете... Я женился на ней. Да, да, не удивляйтесь — это Таисия Григорьевна. Как это вышло, не знаю, но только хорошо сознавал и сознаю, что я её тогда не любил... Да... Женился, может быть, из мести, а может быть, из уважения к своим юношеским заблуждениям. Страшно глупо. Она, кажется, любит меня и теперь. Мне безразлично, скандалов я не устраиваю, я только ограничиваю её во внимании ко мне. Характер её изменился до неузнаваемости, и, знаете, она отлично готовит обед. Вы сейчас в этом убедитесь.

За обедом он вдруг спросил Таисию Григорьевну:

— Я как-то всё забываю поинтересоваться... Ты счастлива со мной?

Таисия Григорьевна вздрогнула и, глядя на меня и неловко улыбаясь, проговорила:

— Евгений Сергеевич всегда шутит так неожиданно...

— Счастлива, тебя спрашиваю, или нет? — беззастенчиво повторил Потерин. Таисия Григорьевна перестала улыбаться и опустила глаза.

— Разумеется, я счастлива, — сказала она.

Последняя просьба

Николай Николаевич Смирнов был уверен, что до следующей весны он не доживёт.

— Скоро умру, — говорил он, вздыхая и виновато поглядывая на свою дочь Лидию Николаевну, которая убирала его комнату.

— Что ты! Живи до ста лет, — машинально отзывалась Лидия Николаевна, стирая пыль с книжного шкафа.

До ста лет оставалось не так уж много. В начале осени Николай Николаевич почувствовал, что ходить он уже вовсе не может. Только крайняя беспомощность и совершенная безнадёжность порождают желание умереть. Вконец одряхлевший, совсем бессильный, Николай Николаевич имел и надежду, и жгучее, как у юноши, желание, чтобы надежда эта оправдалась. Ему хотелось дожить до весны. Хотелось ещё раз увидеть на столе цветущую сирень, услышать весенних птиц, ему хотелось в зелёный рай — в берёзовую рощу, которая начиналась почти сразу от окна его комнаты.

Но за окном берёзы прогорели бледным пламенем осеннего заката, а скоро пришёл и сразу взбесился лютый зимний месяц декабрь. Чьей-то одинокой, брошенной душой взмыли ошалелые метели, вселяя в сердце тоску по ласковым весенним дням. Николай Николаевич и его дочь жили вдвоём. Муж Лидии Николаевны умер, а дети, которые все уже были взрослыми, жили разными семьями и в разных местах. Николай Николаевич знал, что, когда он умрёт, Лидия Николаевна уедет к своему старшему сыну.

Вечерами Лидия Николаевна садилась на край кровати и спрашивала, не хочет ли чего отец. Николай Николаевич отвечал, что ничего не надо, что надо бы давно умереть, говорил, что он измучил её, но что терпеть ей осталось совсем уже немного. Лидия Николаевна сердилась и всхлипывала. Тогда Николай Николаевич делал слабое движение своими почти обескровленными руками, Лидия Николаевна осторожно опускала голову к его груди и тихо плакала, и у Николая Николаевича разбегались по морщинам две-три пресные старческие слезы. Бывали врачи, но Николай Николаевич был уверен, что они не лечат его, а только делают вид, что лечат. «Вы знаете, и я знаю: старость неизлечима», — говорил он им.

Раз к нему заходил сын Сергей. Сергей Николаевич был очень серьёзный и очень занятой человек. Часто приходит он не мог. Он пришёл поздно вечером, с папкой под мышкой, не разделся, а только снял шляпу и смял её в своих сильных руках.

Перед его уходом Николай Николаевич расхрабрился не на шутку, которая, в сущности, была вовсе не шуткой.

— Не хочу умирать зимой, — сказал он. — Хочется покинуть этот мир в цвету, чтобы оставить о нём хорошее впечатление.

— Ты ещё молодец. Мы с тобой ещё на уток пойдём, — улыбнувшись, сказал Сергей, но Николаю Николаевичу показалось, что говорил он это вяло и бесчувственно...

Николай Николаевич возненавидел зиму за то, что зимой хорошо только здоровым и сильным, за то, что зимой нельзя открыть окно, за то, наконец, что зима так долго тянется. Ему стало казаться, что не старость, а зима отняла у него всё и оставила одни только воспоминания, которые тоже отнимают силы, но от которых становится грустно и хорошо.

Но Николай Николаевич так и не мог привыкнуть жить одними только воспоминаниями. Он ждал весны.

И весна пришла. Николай Николаевич давно уже следил за большой сосновой веткой, которая заглядывала в окно его комнаты. И вот солнечным мартовским полднем ветка сбросила с себя белую, великолепную, но, правда, давно уже дырявую шапку.

Николай Николаевич попросил устраивать его в кресле и подолгу просиживал теперь у окна. За окном зима одну за другой сдавала свои позиции. Сначала почернели натоптанные прохожими тропинки через рощу, потом стали появляться жёлтые пятна проталин, и наконец вся земля предстала перед глазами такой, какой застал её первый снег...

— Как хорошо! — сказала Лидия Николаевна, в первый раз открывая окно, когда роща уже чуть повеселела издалека ещё незаметной зеленью.

Но в душе Николая Николаевича не было той радости, какую он ожидал с приходом весны. То, что он ждал, пришло, но это оказалось не тем, чего он хотел. Он хотел жить.

«Пройдёт весна, — думал он, — высохнут цветы, а жизнь будет продолжаться. И она хороша всегда и везде: и в цветущем саду, и на занесённой метелью дороге, и даже у окна в кресле, с которого нельзя подняться...» У большой старой берёзы почти каждый вечер встречались девушка и молодой человек, по-видимому, влюблённые.

Николай Николаевич любил наблюдать эти встречи, привык к ним, думал о них. Почти каждый вечер он говорил Лидии Николаевне: «Лидя, посади меня к

окну, я опаздываю на свидание», — и смотрел в рощу до тех пор, пока сумерки не съедали и рощу, и две фигуры у старой берёзы. Они ему даже иногда так и снились: девушка сидела, прислонившись к стволу берёзы, а молодой человек стоял, упёршись головой в толстый сук и держась за него обеими руками, и смотрел на девушку.

Но как-то Николай Николаевич заметил, что молодые люди вдруг стали посещать рощу в разное время. По всем признакам это была ссора. «Какие глупые и какие счастливые, — думал Николай Николаевич. — Они страдают, ходят в разное время в одну и ту же рощу, но они молоды, и... звезды над ними одни и те же».

В первый душный день, перед первой грозой, старость и болезни обступили постель Николая Николаевича, протягивая к нему свои костлявые руки. Николай Николаевич задышался.

— Лида, — сказал он, с трудом отыскав среди тяжёлых видений бледное лицо дочери, — позови Серёжу... Сейчас же... в последний раз...

Ударил гром, и за окнами началась бешеная пляска стихий. Порывы ветра гулко разбивали об оконное стекло тяжёлые струи воды. Роща стонала, выла, всхлипывала. У Николая Николаевича стучало в висках, но дышать стало легче. А когда гроза кончилась, Николай Николаевич почувствовал себя так хорошо, так легко, что вдруг сел в постели и бодрым голосом потребовал:

— К окну!

Испуганная Лидия Николаевна запротестовала.

— В кресло! — повторил Николай Николаевич твёрдо. — И открой окно настежь. Я здоров, и мне кажется, что я молод.

Он сидел у окна улыбаясь, и, действительно, на душе у него было так радостно и спокойно, будто ему двадцать лет и он только что помирился с любимой девушкой.

Прошедшая гроза — праздник всего зелёного мира. Солнце ещё не закатилось, и необсохшая роща ликовала в пронизывающих её лучах. Николай Николаевич видел, как у ближних деревьев вздрагивали нижние листья от падающих с мокрой листвы капель.

У старой берёзы стоял молодой человек. Николай Николаевич взглянул на часы, которые давно уже велел поставить на подоконник. Молодой человек должен был скоро уйти, а через полчаса должна прийти девушка.

Скоро вошёл запыхавшийся и растревоженный Сергей.

— Отец! Ну, как ты? — спросил он, быстро приближаясь к креслу. Отец и сын поцеловались.

— Я звал тебя, Серёжа... — спокойно заговорил Николай Николаевич. — Мне кажется, я... — Николай Николаевич замолчал, повернулся лицом к окну и несколько мгновений глядел в рощу.

Когда он снова посмотрел на сына, Сергея Николаевича удивил необычный, давно уже не появлявшийся живой и весёлый взгляд отца. Николай Николаевич тихо сказал:

— Серёжа, ты видишь вон там, в роще, парня? У большой берёзы. Иди и скажи ему, чтобы он задержался там на полчаса... — И глядя на недоуменное лицо Сергея Николаевича, продолжал: — Да, да. Сходи и скажи ему, что это очень нужно. Пусть подождёт.

— Отец... — начал обеспокоенный Сергей Николаевич.

— Нет, нет... Я в своём уме, — перебил Николай Николаевич. — Сходи... я прошу тебя... иди, иди...

Пожимая плечами и оглядываясь, Сергей Николаевич вышел из комнаты.

Окно было открыто настежь, и комнату заполнял неповторимый запах обновлённой грозой берёзовой рощи.

Николай Николаевич сидел в кресле, слегка склонившись в сторону. Черты лица его застыли в спокойном, осмысленном движении. Вернувшийся Сергей не сразу понял, что Николай Николаевич умер.

«Записные книжки»

* * *

Двадцатый век в искусстве только пародирует девятнадцатый.

* * *

Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать.

* * *

Ничего нет страшнее духовного банкротства. Человек может быть гол, нищ, но если у него есть хоть какая-нибудь задрипанная идея, цель, надежда, мираж — всё, начиная от намерения собрать лучший альбом марок и кончая грёзами о бессмертии, — он ещё человек, и его существование имеет смысл. А вот так... Когда совсем пусто, совсем темно.

* * *

В последнем припадке молодости... припадок гордости.

* * *

Красивая женщина, выбрав некрасивого человека, сознаёт, что она делает ему снисхождение, и всю жизнь напоминает ему об этом.

* * *

Счастливый человек всегда в чём-нибудь виноват. Перед многими людьми он виноват уже в том, что он счастлив.

* * *

Без неё мне было только грустно, она приехала и привезла с собой беспокойство, тревогу, ревность и т. д.

* * *

Под впечатлением бессмертных строк «Ты богат, я очень беден, ты прозаик, я поэт» поэт срочно переключался на прозу.

* * *

Любовь — это приятное заблуждение

* * *

Жизнь коротка, и чем меньше мы будем вместе, тем больше упустим счастья.

* * *

Я не появился с неба, окружённый стайей крылатых существ. Я жил среди людей, и я очень общителен.

* * *

Вписал свою страницу в грамматику любви. Для меня жизнь моя — черновик.

* * *

Если не можете быть счастливыми, так будьте же хоть веселы, друзья.

* * *

Как насчет брака? Совершим?

* * *

Юмор — это убежище, в которое прячутся умные люди от мрачности и грязи.

* * *

Я смеюсь над старостью, потому что я знаю — я старым не буду.

* * *

Время нужно только для того, чтобы разлюбить. Полюбить — времени не надо.

* * *

— Какой вы нахал, — сказала она с уважением.

* * *

Стучась в девичье сердце: «на минуточку?»

* * *

Во мнениях сходятся только тогда, когда это удобно.

* * *

Каждой девушке положено месяц или два в жизни побыть богиней.

* * *

С человеком, который в молодости грешил стихами, всё может случиться.

* * *

Несчастные имеют более верное и точное представление о счастье. Где же мне это оценить?

* * *

Создают голодные — сытые разрушают.

* * *

Искусство существует для того, чтобы искажать действительность, потому оно и называется искусством.

* * *

Если речь идёт о женщинах, то тут ни за что нельзя поручиться.

* * *

Чем больше друзей, знакомых женщин, тем отчетливее становится одиночество.

* * *

Театр никогда не умрёт: люди никогда не перестанут валять дурака.

* * *

Тот счастлив, кто никогда не лжёт.

* * *

Молодость даётся нам для эксперимента, а не для прозябания.

* * *

Мудрость — это когда уже ничего не остаётся.

* * *

Тонкая организация выходит боком, только боком.

* * *

Графоман-рецидивист.

* * *

Лжёт каждый, а любят тех, кто лжёт лучше.

* * *

Какое глубокое несчастье — любить по-настоящему или вообразить себе настоящую любовь.

* * *

Вокзал — место ничего не значащих безнаказанных поцелуев.

* * *

Жизнь прекрасна, когда вам не жмут ботинки, не болит голова, вас не выгнали с работы, есть деньги, ждут девушки.

* * *

Мечты, которые сбываются, — не мечты, а планы.

* * *

Считают деньги. Прислушайтесь: этим занят весь мир.

* * *

Виноватыми всегда бывают нелюбимые.

* * *

Он много мечтал и потому мало имел.

* * *

Люди устраиваются в жизни с такой серьёзностью и обстоятельностью, как будто собираются жить лет пятьсот.

* * *

Всё порядочное — сгоряча, всё обдуманное — подлость.

* * *

Талантливо — это когда так, как не должно быть, но когда это здорово.

* * *

Первая любовь — это не первая и не последняя. Это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя, душу, когда душа у нас ещё была.

* * *

Богатые и бедные — категория старая, но дураки и умные — категория бессмертная.

* * *

Я люблю людей, с которыми всё может случиться.

* * *

На земле всё складывается, как в плохом фантастическом романе: физика, война, конец мира.

* * *

Любовь — творчество, у бездарных она — нудная драма с утюгом в валенке.

* * *

Все города в дождь одинаковы. Все города в дождь красивы, молоды и меланхоличны.

* * *

Перед смертью думать о своей репутации? А ведь вся жизнь — это перед смертью.

* * *

Задача художника — выбить людей из машинальности.

* * *

Прекрасное только то, что мы видим издалека. Не приближайтесь к прекрасному.



СВЕТЛАНА АНИНА



И в улыбке печаль затаится

Рассвет на Байкале

Струится тепло в оконце
И хвойный смолистый запах.
Восходит на небо солнце,
Играя в сосновых лапах.

Ещё на его ладони
Брусничный сентябрь не выжат,
Ещё на хрустящем склоне
Цветёт златоглавый рыжик.

И лист над тропой лесною
Цветным мотыльком порхает.
И манит вдали блесною
Байкала вода живая —

В короне хребтов скалистых.
За брызгами самоцветов
Бесшумно по глади чистой
Плывут лепестки рассвета.

Волну провожая взглядом,
Черпну ледяной водицы,
И вскрикнет пугливо рядом
Задумавшаяся птица.

Вспорхнёт вслед за песней звонкой,
Растает в безбрежной сини
Родимой моей сторонки,
Любимой моей России.

АНИНА Светлана Брониславовна родилась в 1965 г. в Казахстане. Работала на строительстве Северо-Муйского тоннеля и на сооружении Олимпийских объектов в Сочи. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Сибирь», «Аргатак-Татарстан», «Северо-Муйские огни», «Белая радуга», «Иркутский альманах». В коллективных сборниках «Иркутск. Бег времени», «Слово о матери», «Жизнь — дорога, ведущая к храму», «Праздник для друзей». Автор книги «Рвутся наружу крылья». Член Союза писателей России.

Николаю Рубцову

Для друзей ты — как большое небо,
Как в пустыне — чистая вода,
Ты другим для них, похоже, не был,
И уже не будешь никогда.

Это я легко могу представить.
Да и позавидовать слегка
И тому, как можешь землю славить,
И тому, что пишешь — на века!

В кочегарке сочинений стопки —
Не пустые праздные слова:
В каждом чувстве — сердце на растопку!
Что там уголь, торф или дрова?

Говори! Тебя хочу я слушать!
Всё, как есть, до боли, без прикрас.
И в чужих умах сомненья рушить:
Ничего нет лучше, чем у нас!

Ничего! Пусть тяжело, но по силам!
Пусть с разгону страсти — под откос!

Вместе с тем, что дорого и мило:
Первый снег... берёзы... жёлтый плёс...

Я, как ты, люблю твои берёзы!
Я, как ты, сгораю от любви!
И вкрапляю в многолетье прозы
Рифмы, забродившие в крови.

Между строк твою деревню вижу
И в печи бунтарский пляс огня...
Русские! А, значит, нет нас ближе.
Россияне — кровная родня!

Дух твой не сокроют воды Леты:
Сколько сотворца ни хорони...
Не молчи! В сердца иных поэтов
Хоть словечко сверху зарони!

Нет нигде твоей Отчизны краше:
Ни заката краше, ни зари...
Говори же! Через память нашу!
Через души наши — говори!

Иуда

За окном берёзы, ёлки,
Задует ветерок...
— Видишь бóрова на полке?
Это беженец, сынок.

За спиной жена и дети,
Ветераны-старика,
Ну, а он в Россию едет,
В край необжитой тайги.

Пусть горит его Украина —
Лишь бы жив и сыт был сам...

Не коснись его случайно!
Не смотри на этот срам!

За окном поля и горы,
Задует ветерок...
Эти вольные просторы —
Наша Родина, сынок!

Даже в мыслях на минуту
Не предай свою страну!
А иначе... как Иуду...
Как Иуду, прокляну!

* * *

На холмах, у низин заболоченных,
Где дождями привязана высь,
Чёрных листовенниц, остро отточенных,
Позвоночники в небо взнялись.

Не зелёная крона качается
Здесь на вольном ветру по весне —
Скорбный день, скорбный час поминается,
До небес полыхавший в огне.

Старый ворон разносит предания,
Злую волю в былом усмотрев.
И читаются боль и страдание
В искорёженных ликах деревьев:

Не слышать им птичьего пения,
Не приветить живое в тени...
И теперь — даже в полном забвении —
Человека боятся они.

На Витиме

В разломе грохочущем горном,
Врезаясь в промозглую даль,
Река преисполнилась чёрным,
За нею победу, бесспорно,
Признает дамасская сталь —

Не волны, а острые бритвы
Отточены сотней чертей.
Утёсы читают молитвы
В час истовой селевой битвы,
Срываясь каскадом камней.

Над гребнями редкие птицы.
Торопятся прочь облака —
Туда, где светлеет граница,
Вот-вот что-то в небе родится
И тьму разобьёт, а пока

Луна в ожидании срока —
Прекрасна в своей полноте —
Ворочает жёлтое око,
Глядит любопытной сорокой
На блёстки в холодной воде,

На брызги — алмазные искры
Разбитых о скалы сердец...
И в небо несётся, как выстрел:
— Пловец-удалец в водах быстрых
Со смертью идёт под венец.

* * *

Где ты, друг, неуёмный, как ветер?
Где бросаешь свои якоря?
Мне газетные строчки ответят
Да тихонько нашепчут моря

О местах, где твой голос могучий
Пересиливал шумный прибой,
И счастливый доверчивый случай
Ждал обещанной встречи с тобой.

Просмотрю пролетевшие вёсны
С лепестками любви на устах —

Отыщу среди них судьбоносный,
Затерявшийся в белых цветах.

И в улыбке печаль затаится —
Ты давно в тех краях не бывал,
Где в сердцах золотые страницы
Старый клён по двору разметал.

Где скрипят обветшалые ставни
И зарос огородик травой...
Там — твой дом! И недавно, недавно...
И недавно отец был живой.

* * *

В ожиданье промёрзла квартира.
В наших взглядах и боль, и укор.
Молча пьём чёрный кофе с пломбиром,
Не решаясь начать разговор.

На любви отпечаток изгнания.
Что с ней делать никак не решим:
Приморозились наши желанья
К мимолётным касаньям чужим.

Виновато во всём время года —
Надо ж так затянуть холода!

Саквояжем пристыла у входа
Самозванная наша беда.

Ни дыхания, ни слёз не хватает...
Дую в чашку уже сотый раз...
Не гортань, а сердца обжигает
Этот горький напиток сейчас.

Не спеши! Может всё измениться —
Отогреемся рядышком мы,
Лишь — как в кофе пломбир — растворится
За окном белый слепок зимы.

* * *

Этот город заполнен тобой и цветными огнями,
Здесь и ночью глубокою окна не канут во мрак.
Но выходит наш срок. И меняются маски ролями,
Продолжая в случайностях видеть особенный знак.

Мы присядем вдвоём на широкий большой подоконник,
Будем молча смотреть на блестящую сетку дорог,
На мерцающий мир чуть волшебный и потусторонний,
На такси, на дома и хрустальный речной завиток.

Первый луч заиграет, и станет холодное утро
Наливаться теплом, будто старый кирпичный камин.
Из туманности выйдет на свет кто-то добрый и мудрый,
На Земле для любви находящий десятки причин.

И вздохнут небеса. Осыпаясь, как яблоня, белым,
Вдалеке растворится последняя туча, а мы
Вспомним песню, которую мама нам ласково пела
В затихающий час на покой уходящей зимы.

Утро встанет над городом заспанным тёплым ребёнком,
В незатейливых образах явится миру весна.
И слегка зашуршит под моими ногами щебёнка.
Уходя, я пойму, что тобою уже прощена.

Загрохочет состав. Как зима, это место покину.
Но останутся в тонкой тетрадке неброской строкой
Золотые снега и прозрачные синие льдины,
И горбатые спины мостов над рекой Селенгой.

Из цикла «Бодайбинские россыпи»

Не фартовый сезон

Не кончается срок:
не фартовый денёк
уж который из множества дней.
Лихорадка — беда,
от неё — никуда
не уйти, как от тяжких цепей.

Пальцы скрючены так,
словно сжаты в кулак —
не сезонное время, браток.
Замертвела вода.
Холода, холода...
Небо крошится в мокрый лоток.

Ветер с разных сторон —
затаёжен, креплён,
как вина ледяного глоток, —
чёрт ему побратим.
Катит волны Витим:
«Подай, бог! Подай, бог! Подай, бог!»

Ветер хлёсток и лют.
Нервы... нервы сдают,
незаметно белеет висок...
Но надежда живёт:
где-то рядом, вот-вот
запоёт золотистый песок.

Запоёт и душа,
И помчится спеша,
вспоминая дорогу домой.
Вот же, вот — посмотри:
Ясным светом горит..
Неужели нашёл? Бог ты мой!

Слеповаты глаза...
Это блещет слеза!
Только льдинки в воде и видны,
да шуга на реке,
да старатель в тайге
замерзает под блеском луны.

Здесь поётся «Бодайбинка»

Пятьдесят в погодной сводке —
пропадёшь в тайге без водки.
Но охотники — на лыжи,
торбу за спину, ружьё..
Здесь таёжная глубинка,
здесь поётся «Бодайбинка»
и ещё с десятков песен
про сибирское житьё.

Перемяли русла драги,
вольнодумные бродяги
ищут долю, с пудом соли
съев обиду не одну,
но влекут их эти горы
и промозглые просторы,
и жара, и гнус, и споры
про российскую казну —

Здесь не отдых, а работа,
здесь летают самолётом —
не пешком, не на оленях —
ход времён необратим.
А внизу под фюзеляжем
бесконечные пейзажи,
где ворочается в скалах
грозный батюшка-Витим.

как в неё текут веками
золотыми ручейками
с потом, кровью чьи-то жизни...
Только не на что пенять:
здесь поётся «Бодайбинка»,
здесь таёжная глубинка,
а вокруг неё такая...
бездорожья благодать...

Двадцать первый век

Наш век двадцать первый
велик без прикрас.
Считаем заслуги былые?
Со скоростью двести и более в час
летят поезда скоростные;

летят самолёты — блестят из-за туч,
и кажется явь настоящей,
и не удивляет рентгеновский луч,
сквозь души легко проходящий.

И можно полсвета за миг пролететь —
разлука — ничто для влюблённых:
на службе всемерно Всемирная сеть
в реалиях сплошь электронных.

И в космос ракеты — как нитки в ушко...
Всё видеть? Всё слышать? Не сложно!
Но где-то — в наш век! —
ходят люди пешком
в какой-то глубинке таёжной.

Там по бездорожью помельче авто
протащит «Урал» сквозь преграды.
— Проедем?
— Пробьёмся!
— Осилим?
— А то!
Пройдём, где угодно, раз надо...

Там милости с неба, как манны, не ждут,
там жизнь тяжелее и строже.
Там люди сибирской закалки живут...
как люди... И всё же, и всё же...

* * *

Пробираюсь туда,
где огни в темноте,
а луна изо льда
тонет в стылой воде,

Я её подарю
той, любимой, одной,
что проснётся в зарю
не моею женой.

где встревоженный лес
в кандалах вековал
за обманчивый блеск,
за коварный металл.

Снова сердце скрипит —
так продрог на ветру.
Ювелир, ты не спи —
дело нужно к утру.

Ты по полной налей,
да помянем житьё...
Мне от спички теплей,
чем от взгляда её.

Да на крест не гляди,
нет мне места в раю —
Здесь великий Витим
держит душу мою.

Каждый прожитый год —
между пальцев песок —
сделай цепь из него
золотую, браток.

Но просохнет лицо,
уплыву по реке.
Не успел на кольцо
срок добыть я в тайге...

* * *

Едет в Бодайбо узбек —	в недрах золота берёт
слава Богу, можно.	за гроши-проценты,
Он — рабочий человек	песни русские поёт
в том краю таёжном.	даже без акцента.

Знает всё про драгметалл,	Только всё да об одном
холода и шахты.	сердце тянет робко —
Он почти что местным стал	как на ветке снежный ком
к завершенью вахты:	подражает... хлопку.

* * *

Сибирь зовёт, Сибирь ведёт
то вверх, то вниз, то вброд.
Народ велик и многолик:
хохол, узбек, таджик...

В мороз не скис и не размяк —
уже и сибиряк.
Оброс квартирой и женой —
уже и коренной.

В тайге услышал зверя крик —
уже промысловик,
в руках держал блесны пятак —
конечно же, рыбак!

Артель... котёл, компот и плов? —
старатель, сто пудов!
Костёр... перо... блокнот... рассвет —
романтик и поэт!

Здесь можно жить, расти, творить
и кем угодно слыть,
но чтоб своим Сибири быть —
изволь её любить!



ДИНА ФИАЛКОВСКАЯ



Как трудно нынче память приручить

В Петербурге

Оплачь меня, осыпь меня листвою,
Упрёков — не скажу в ответ ни слова.
«Я возвращаюсь снова». «Я с тобой».

Вы, обездоленные, бедные слова, —
Не трогайте меня. Сама без крова.
Но всё же рада, что ещё жива.

Плыву в тебе, как лебедь по воде...
Так славно, что куда-то можно деться,
Сглотнуть комок отравленного детства.

И, проведя рукою по стене,
В своей — насквозь придуманной — беде
На каменные плечи опереться.

Держи мою ладонь, не отступай,
Сложи к ногам торжественные вежи
Столбов фонарных, взломанных мостов

И убеди меня, что нынче май,
И поутру не залатать прорехи
В твоих туманах без моих шагов.

ФИАЛКОВСКАЯ Дина. Родилась в Томске в 1970 г. В 1973-м переехала в Иркутск, где окончила среднюю школу № 27. Стихи писала лет с пяти-шести, и первые творения были жёсткой сатирой, вызовом тем людям, которые были чем-то неприятны. С 1989 по 1992 г. жила в Петербурге, где под влиянием Поля Верлена начала писать верлибры. Позже переехала в Москву, поступила на филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Защитила диплом по теме «Драматургия Александра Галина». Публиковалась в журнале филфака МГУ «Частная мифология», в «Литературной газете». Вернувшись в Иркутск, закончила магистратуру ИГУ по специальности «Лингвокриминалистика». Печаталась в журнале «Поэтический сад», в газете «Мои года». Финалист конкурса «Король поэтов» в 2016 г.

В Бологое

На Родине не помнишь о Голгофе —	(Где мы в овечьем полушубке спали)
Здесь воздух крепок, как пиратский ром.	Чернел паук, как падшая звезда.
И бологовский вечер — синий кофе —	
Разбелен петербургским молоком.	Как трудно нынче память приручить —
	Она теперь летает где придётся.
Я захожу в осиротевший дом,	Клеочет горлом, гладить не даётся,
И всё, что было прежде, снова слышу:	Хлеб не берёт — лишь кровь готова пить...
И поезда грохочут за окном,	
И спрыгивают яблоки на крышу...	Но я дождусь волшебного соседства
	И выйду в сад с корзинкой на руке,
Помянем непреклонные года,	И в зарослях травы увижу детство,
Когда на этом старом сеновале	Дюймовочкой сидящее в цветке.

Смерть поэта

Ты покончил с собой,
сел в троллейбус и едешь к дому.
На тебя смотрит космос —
расширились чёрные дыры.
Выпадая из времени,
ты впадаешь в истому.
И тебе хорошо, как мокрице, —
тепло и сыро.

Ты стучишься в дверь,
за которой столько забыто.
Только ключик отдан Харону —
за перевозку.
Так же чайник стоит на столе,
и окно открыто...
Но тебе туда не попасть —
ты уходишь в доски.

Фиолетовой тенью ползёшь,
высыхая на солнце...
Опустев душой, израсходован —
больше не нужен
Даже белой бумаге.
В небо уставив донце,
Опрокинутая чернильница делает лужу.

Пока я думал

1

Задумчив гвоздь, по шляпку вбитый в доску,
Упряма ветвь, скользящая из рук...
Да, я не принц, и Гамлету не тёзка,
Я — только часть огромного наброска,
Где каждый чертит свой заветный круг
И в нём копает.
Долго я дивился,
Сторонкой проплывая по реке:
Тот яму рыл соседу — сам свалился,
А этот клад искал — и вот добился...
Погиб от жажды в золотом песке.

И если вдруг положит на лопатки
Агония (завистливая дрожь
По уходящей жизни), без оглядки
Покину берег, где в сухом остатке —
Медузой выцветающая ложь...
И всякий выживает как придётся,
Не приближая тот чудесный миг,
Когда из-под земли струя пробьётся
И в оголовке общего колодца
Вода покажет свой прозрачный лик...

И тропочки лучами разбегутся...
И радостные брызги полетят...
И снова люди вместе соберутся,
И вёдра, словно праздничные блюда,
Над животворной влагой зазвенят...

2

Пока я думал о высоком, лихо
Меня речным потоком унесло.
Остановился, оглянулся. Тихо
Кругом. Темно. И сломано весло...

Я в вечность, будто в омут, окунулся...
Ледышкой шаркнул ужас по спине...
Мне страшно одному.
Мой круг замкнулся
Водоворотом с точкой в глубине...

Но я не тот поэт, что петлю мылит.
И я с такими даже не знаком.
Я — диковатый, раненный навывлет,
Но не стрелой Амура, а клинком

Отравленным, чтоб кровь от зуда пела...
И, сняв носки, шагаю по воде,
Стремясь достигнуть светлого предела,
Где всё скажу о ветке и гвозде.

На краю

Нам кажется, что миру края нет.
Но где-то эта линия проходит,
Которая, как горизонт, обводит
Заветной белой кромкой этот свет,

Где сладко пахнут яблони в цвету
И дышит ветром золотое поле...
Один неверный шаг — и злая воля
Ломает эту тонкую черту...

Костёр войны

В костре войны, в её кровавой мгле
Не счесть убитых, без вести пропавших,
На поле битвы намертво стоявших
По горло в изувеченной земле.

И до сих пор, через десятки лет
Мы слышим плач — там дети просят хлеба,
Над нашим дедом багровеет небо,
И чёрный ужас застилает свет.

И тело размягчается, как воск,
И не хватает воздуха для стона...

За пазухой ни одного патрона —
Лишь сердце, оглушающее мозг...

Без жалости спалишь себя дотла,
Живой гранатой бросишь в рукопашный...
Заточен штык, и в потайном кармашке
Икона материнская цела...

Горящий фронт и тот голодный дом...
Война у нас в крови — мы все живём
В том доме, в том окопе, в той петле...
Мы сердцем запеклись в её золе.

Гостья

Я теперь не скажу: «Оторви да брось!»
Сладким лепетом одурманенный...
Ты вошла бесшумно, неожиданный гость —
Робко, как оленёнок раненый.

Ты раскрыла мне душу книгою —
Вижу пальцы твои освещённые.
И вся жизнь для тебя — религия,
А я — просто тварь некрещёная.

Что ты, ошеломлённо нежная,
Потеряла, какого демона?
Ворожея моя безгрешная,
Неразумная, что ж ты сделала?

Я, наверное, стал бы счастлив,
Если б знал, что тебя достоин...
Ты в глаза мне посмотришь с ласкою —
От стыда моё сердце стонет.

Назовёшь негромко по имени —
Захожусь от внезапной боли я.
Привяжи меня, прогони меня,
Отпусти грехи мои вольные!

Многих я любил, долго я гулял,
Жил бездумно, ничем не скованный,
А теперь словно в светлый храм попал,
И молиться учусь, очарованный...

Материнское

Чтоб ни дна мне, ни покрывшечки!
Голова моя еловая!..
Спохватилась — нет мальчишечки!..
Убежал, дитя бедовое.

Мне бы нитку, мне б тропиночку —
Мне, видать, дорога дальняя...

Где же ты, моя кровиночка,
Заблудившаяся жаль моя?..

Тёмный лес навстречу хмурится,
Точно недруг перед битвою...
Сохрани тебя Заступница
Материнскою молитвою!..

Дева

От насилья и крови безвинной не видя спасенья
(Когда вместо косы засвистели мечи по лугам),
Ты покинула землю без горечи и сожаленья,
Бросив ласковый взгляд на увенчанный золотом храм.

И наполнился колокол гулом, и люди забыли,
Что душа твоя — август, а губы и сердце, как мёд.
Только раненым криком, звенящим тоской и бессильем,
Белый голубь луны провожал твой печальный полёт.

И ты стала звездой, ты стала серебряной девой...
Мне и нежно, и страшно в те дни, что ты правишь конём, —
То ли ночь беззаконно разбархатилась королевой,
То ли ангел безумья повеял тяжёлым крылом.

По весне

Когда весной расходятся пути,
Ты чей-то светлый кодекс нарушаешь:
Не по сезону сохнешь, замерзаешь...
А должен таять, сквозь асфальт расти.

Прощаемся — надкусываем нить
Совместного тугого переплёта.
А сверху с треском лопается что-то,
Пока мы рвёмся сцену разделить.

Распалась пьеса — части неравны:
Ты лишь обложку унесёшь в изгнание,

Где буквы не построены в названье,
Как армия разрушенной страны.

А мне досталось, что не унести:
Твой монолог — фальшивая монета,
Нелепое свиданье без сюжета,
Да камнем в спину брошено «прости»...

И, повинувшись озорной весне,
Простила... Словно в луже утопила:
Ногой толкнула — булькнуло и сплыло.
И почки залпом салютуют мне.

Светлане

Дай скажу тебе на ушко, Как ты мне нужна...	Будет день — достанет хлеба И любви.
Засыпай, моя подружка, — Ночь нежна.	Молодым — не видно края. Рано горевать.
Потянулись горлом в небо Наши соловьи.	Засыпай, моя родная... Буду напевать.

Ушёл

Ты оставил дом, и мне здесь жить...	Я одна привыкну: полюблю
Повяжу платок, пойду молиться.	Подстригать траву, хранить одежды...
Надо будет утром накрошить	Будет дом стоять, пока кормлю
Хлеба божьим тварям, белым птицам.	Белых голубей, детей надежды.

Передышка

Оглянись, мой друг, — стрельба стихает.
Мы успеем дух перевести.
К счастью, здесь пока никто не знает,
Что мы сбились с верного пути.

Посмотри, как нас осталось мало
На тяжелом, хрупком корабле.
Не всегда судьба оберегала
Преданных неведомой земле.

Не грусти — мы вахты отстояли,
Доверяя звёздам и друзьям.
И с любовью душу преломляли,
Как сухую корку, — пополам.

Мы в своём сиротстве вне закона:
Пусть не доведётся, может быть,
Голову склонить перед иконой...
Но достанет сердца, чтоб простить.

Снова время, разомкнув объятья
Тишины, несётся градом пуль,
И хрипя весёлые проклятья,
Память выворачивает руль,

Листьями шумя, как парусами,
Словно сказочный огромный лес,
Наша жизнь плывёт перед глазами,
Полная кошмаров и чудес.

Жалоба

Мне б лицом в твоё крыло,	Где-то стерегут мой стон,
Ангел мой растрёпанный.	Тишиною схваченный.
Что летало и плыло —	Светлой ночью долгий сон,
Сожжено, закопано.	Жар мой нерастраченный.

Свадебное

Вьюга белой фатой заметает дорожки,
Чтобы сбилась со следа волчица-беда...
Нас зима размешала серебряной ложкой
И в клубочек смотала, и катит туда,

Где стоит в ожиданье узорчатый терем
И хранит в сундучке золотое кольцо...
Там сбывается счастье, в которое верим, —
Надо просто приехать. Расчистить крыльцо...

И очаг затопить, и заняться ночлегом,
И друг другу в глаза заглянуть...
В этот час
стихнет мир,
Словно лес, переполненный снегом,
И останутся звёзды, влюблённые в нас.



К 80-летию писателя Кима Балкова

КИМ БАЛКОВ



Ямщик, не гони лошадей

РАССКАЗЫ

Леший

Леший мешковато сидел на заросшем густой рыжей травой полусгнившем пенёчке и, опустив большую седую голову на грудь и закрыв глаза, подрёмывал. Сребротелые птицы кружили над ним, звонкоголосо, как если бы норовя отогнать навалившуюся на него дрему, а однажды бурундучок, забравшись на низенькую берёзку, росшую чуть поодаль, нечаянно, захлопотавшись и на минуту-другую ошалев от этих хлопот, уронил на землю чьё-то давным-давно заброшенное гнездо. И пыль от гнезда, отвалившегося от тонкого, колышимого на ветру бледно-розового ствола, густо осыпала обильно заросшее тёмно-жёлтым волосом тонкоскулое, загорелое лицо Лешего. Надо быть, бурундучок потревожил птичье гнездо

Балков Ким Николаевич, прозаик, родился в 1937 г. в городе Кяхта Республики Бурятия. Автор книг: «На пяточке» (Улан-Удэ, 1969); «Его родовое имя» (Новосибирск, 1975); «Рубеж» (М., 1983); «Небо моего детства» (М., 1985); «Струны памяти» (М., 1987); «Байкал — море священное»: роман (М., 1989); «Будда» (Иркутск, 1995); «За Русью Русь» (Иркутск, 2000); «Берег времени» (Иркутск, 2002); «Звёзды Подлеморья» (Иркутск, 2008); «Куда подевалось небо» (Иркутск, 2012) и др. Лауреат Государственной премии Бурятской АССР (1987). Заслуженный работник культуры Бурятской АССР. Член Союза писателей России.

не случайно, может случиться, и ему тоже, как и птицам, не поглянулось, что старый знакомый нынче не сказывал ни о чём, привычно для себя поднося к длинной сивой бороде руку и аккуратно оглаживая её широкой ладонью, а сидел в недвижении и тихонько посапывал. Чего он ночью-то иль не спал вовсе?.. Бурундучок, когда б мог, то и спросил бы. Да куда там!.. Не обучен говорить с людьми. Прежде как-то не тянуло к ним, чаще дурковатым и зловредным, кому ничего не стоило обидеть и слабую лесную зверушку, которая сроду никому не мешала, жила помаленьку да потихоньку точно бы обочь ото всех обитателей леса и неприметно для стороннего глаза предавалась малым радостям и ловчила отсечь от себя разные напасти, которых хватало в лесу. А когда на холме в остроглавом с высокой печной трубой слегка покосившемся домике с наглухо заколоченными ставнями появился хозяин, вроде бы непохожий на своих сородичей, мог выйти на скрипучее крыльцо и попотчевать хотя бы хлебными крошками со стола, бурундучок заметно остарел и тянуться к пониманию чего-то, не больно надобного ему, не доставало сил. Да и желанья не было. Иссякли вдруг. Это он раньше мог поозоровать и без пути вроде бы, охотно подчиняясь тому, что в иные моменты рождалось в нём, чему-то прямо-таки бьющему через край, попрыгать с ветку на ветку. Нынче в нём появилось нечто несходное с тем, к чему привык. Порой он делался вялым и нерешительным и подолгу задерживался на том месте, где был остановлен примеченной им иной раз и нечаянно откровенной несходностью со здешним миром. К примеру, ежели вдруг углядывал сбочь таёжной тропы широкое лыжное наследье, небрежно кинутое на землю двуногими существами со смертоносными стальными палками в руках, которые они называли ружьями. Хорошо ещё, что никто не видал бурундучка в те минуты, а то могли бы навредить ему, ослабшему от сердечного напряжения. Мало ли у него в тайге недругов? Взять хотя бы лису-прониру... Но да не надо поминать про неё на ночь, потом будешь ворочаться на жёстком лежаке иль, ошалев от страха, забьёшься в какую ни то нору.

Как-то разом сумрачно сделалось в лесу, снизу, от горного ручья, подул ветер, непоспешающе закачались разлапистые купы матёрых деревьев, когда Леший отошёл от дремы и глянул в ту сторону, куда закатилось жаркое августовское солнце, оставляя после себя узкую розовую путину, по которой заскользили тени не то сроду незнакомых им птиц с длинными серебряными крыльями, не то давным-давно умерших людей. Те-то, кто поменял форму в ближние годы, пока не сподобились такой чести, им ещё предстоит пройти долгий путь очищения от земных грехов. Про это сказывала бабка Груня, давняя знакомая Лешего, когда приспел её срок. Позвал его тогда на соседское подворье мордастый, с круглыми рыскающими глазищами и огненно-рыжими волосами, рыхлый парень, как потом узнал Леший, внук бабки Груни. Он нечаянно, по пьяни, как признался сам, сел не в тот поезд. В те поры городская электричка стояла рядом с «Мотаней». Та «Мотаня» и привезла баламутного в поселё, где жила родная бабка, которую он не видел лет пять.

— Бабулька-то навроде бы как помирает, — сказал Грунин родственник. — Смотрит на меня мутно-серыми глазами, а ничего, поди-кось, не видит. Пустые глаза-то. — Тоскливо воздел руки к потолку, но тут же и опустил их, словно бы замущавшись. Пробормотал под нос: — А когда маленько очухалась, тихонько, запыхавшись, как если бы после ходьбы, попросила, чтоб позвал тебя. Слышь-ка?..

Парень явно был не в своей тарелке, суетился, то вдруг опустится на табурет, который стоял у двери, то заелозит, как если бы сел на гвозди голой задницей, а

потом вскочит с табурета и начнёт лопотать, выталкивая из себя путаные, ни про что, слова. Он словно бы чего-то побаивался. Может, того, что придётся одному хоронить родственницу. В поселье-то, в домах, что ещё не вывезены и не пущены на дрова, свету нигде не было видно. И людей там вроде бы не было. Съехали, небось? «Чё же я стану делать? Сбежать отсюда, не предав старуху земле, как-то нехорошо. Но ведь я сам, поди, и могилку не сумею выкопать?.. Ничем таким сроду не занимался, да и на кладбище был только раз, когда хоронили пацана с Верхней улицы». Всё-то нынче несвучно с натурой парня, привыкшего к другой жизни. «Смертью пахнет. Ей-богу!..»

Это уж он потом сказал Лешему, а ещё и про то сказал, что тоскливо ему здесь, хоть волком вой. Была б его воля, умотал бы отсюда. А только где она, воля-то?.. Небось забилась под толстенную коряжину, что торчит возле соседского дома. Иль сыщешь её теперь? «И как только тут люди живут?..»

Леший с интересом посмотрел на парня. В его признании он уловил что-то смутное, точно бы облитое болью, хотя ещё и для него самого неясной. И это слегка успокоило. «Поди-кось, и не вовсе одурелый, коль что-то удерживает на месте?..» Леший мог бы сказать, что в поселье теперь, кроме него и бабки, никого не осталось, только они ещё проминают тут дни, а бывает, и радуются солнышку. Но, со вниманием оглядев Груниного внука, только вздохнул: вроде бы есть в нём что-то, как если бы даже приятное глазу, хотя бы малое смущение в лице, слабой тенью лёгшее подле глаз, где едва зримо обозначились неглубокие морщинки, опять же излишняя суетливость парня, не на пустом же месте родилась, и её можно приписать к нечаянно возникшему в нём доброму чувству. Однако много и такого, что не по нраву пришлось. Уж больно глаза у Груниного родственника бегают, рыщут почём зря по ближним окрестностям, словно бы где-то нашкодил, а теперь боится, что укоротят руки-то.

Впрочем, Леший не стал утруждать себя этой мыслью, накинул на плечи побитую молью, с вывороченными рукавами куртку и вышел из избы. Помедлил на крыльце, вдыхая настоящий на лесных травах воздух, после чего осторожно, держась за перильца, спустился по ступенькам. Леший нынче осторожничал: на прошлой седмице качнуло вдруг, когда вышел на крыльцо и занёс ногу, чтоб перенести её на другую ступеньку, едва удержался, чтоб не упасть. Потом долго удивлялся: «Пошто бы вдруг почувал слабость, которой прежде не было, иль старею, иль что-то творится со мной, о чём раньше и не догадывался?..» Думать так было неприятно, и Леший старательно отгонял те мысли от себя. Не сразу, но это удавалось. И только когда оказывался на побитом отчем крыльце, они опять приходили в голову, но уже не пугали, всего-то говорили, что надо быть осторожней: он уж не так молод, чай, за седьмой десяток зацепился.

Бабка Груня лежала на кровати, разметав руки, и не слышала, как вошёл в избу Леший. А когда увидала его, на смуглом и длинном лице, помеченном жёсткой худобой, подле облитых синевой тонких, сложенных в строчечку губ появилось что-то похожее на улыбку. Слабую, дроглую, как бы уже помеченную стылостью, которая мало-помалу растекалась по её телу. Леший ощутил эту стылость сразу же, как только сел на скрипнувшую под ним низенькую, ставленную подле кровати лавчонку и взял Грунину руку в свою. И, не умея ничего сказать в утешенье, лишь пошибчей сдавил её, точно бы желая передать старухе часть своего тепла. Она, кажется, поняла про это его желанье и слабо улыбнулась и что-то прошептала. Леший нагнулся к её лицу, тут-то и услышал, как она в горячем

бреду прошептала: «А тени-то ушедших из этого миру высоко в небесах нонече. Скоро и мне там быть. Но, может статься, и не сразу туда пустют. Попридержут. Грехов-то за мной числится, поди-кось, немало. — Вздохнула: — А внучек у меня навроде бы как непутёвый. Ты подсоби ему, ежели чё...» Леший выпрямил спину и неожиданно для себя сказал хлётко, с вызовом даже:

— Тебе нельзя помирать, старая. Ведь нам доверено следить за посельем. Чё я один-то, не смогу сладить со всем. Не хочу, чтоб ты уходила. — Помешкав, добавил, сам себе удивляясь: ведь знал же, нипочём не остановить время, настырно и ничему не подчиняемо: — И не только я не хочу... И деревья не хотят, и дома, которые покамест не порушены. Надысь ходил на лесную поляну, там и услышал про желанье деревьев. Опять же коль скоро взять в разуменье дома... Иль скажешь, будто де играют в молчанку. Не... Вдруг да и пробормочут что-то и порадуют своей памятьностью. Кто ж станет следить за имя?.. Окромя нас, некому.

Бабка Груня вроде бы услышала Лешего: по худому лицу пробежала живая тень, а когда исчезла, скользнув по оконному стеклу, старуха с усилием, и это не мог не заметить Леший, а заметив, почувствовал, как сдавило в груди и стало больно дышать, подняла руку и перекрестила длинными жёлтыми пальцами сначала внука, тот теперь подошёл к её кровати и стоял, понуро опустив большую кудлатую голову, потом и Лешего, после чего пробормотала чуть слышно:

— Прощевайте. И да будет Господь с вами.

И спокойно, ни о чём вроде бы уже не печалась, отошла в мир иной. Тотчас за окошком пасмурнело, сумрачно сделалось и в избе; пуще прежнего загремели ставни, сорванные с петель, и Леший подумал, что надо будет наладить их.

Ближе к полудню он вышел из избы, и на его лицо упали солнечные лучи, продравшись сквозь облака, и он сказал негромко:

— А солнышко опять выглянуло. Это как добрый знак. Однако ждут тебя, Груня, в Божьем Царствии, и станешь ты равной тем, кому Господь отпустил грехи. И то ладно. Ить должна же быть справедливость, пушай пока и не в ближнем мире.

Леший тогда потолкался на Грунином подворье, ища плахи, которые понадобились бы, чтоб сколотить гроб. Кое-что сыскал. А кое-что, перейдя улочку, заросшую крапивой и полынью, принёс со своего подворья. После чего присел на чурбак подле поленницы с дровами и вытащил из внутреннего кармана куртки короткую, легонько загнутую посередке трубку. Оттуда ж извлёк кисет с листовым табаком. Года три назад, когда цены на сигареты взлетели, бабка Груня подняла табачную грядку. Закурил, напряжённо глядя перед собой и думая про то, как же теперь жить без Груниного участливого догляда за соседом, который нет-нет да и выкинет чего ни то, а случается, в лютую стужу встанет на широкие охотничьи лыжи и укатит в лес. Сыщи его там!.. Но Груня, душа добрая, искала, натянув на худые узкие плечи курмушку и закутавшись в шаль, так что одни глаза и были видны. И нередко находила, наверно, потому, что Леший и не скрывался ни от кого, шастал по ближним лесным тропам, порой останавливаясь и пристально вглядываясь в зверье наследье. Когда ж узнал, что эти его прогулки по гулкой снежной тайге страсть как не глянулись соседке, стал реже выходить из дому в зимнюю пору, разве что когда над круторогим гольцом зависало круглое, слегка порозовевшее солнце. Но и тогда, едва завидев Груню на таёжной тропе, тут же спешил навстречу, а потом, оправдываясь, говорил, сидя у печки и протянув руки к огню:

— Чегой-то напало на меня, и не сказать чтоб тоска иль чё ишо в этом роде, чегой-то запощёлкивало в башке, изюбрёнок вспомнил, что год назад вышел на

наше поселье, худющий, качало его и на слабом ветру. Ну, я вспомнил и намеревался узнать, ходит ли зверь к солонцу, где я копёшку сена поставил... А может, уж и нету его на свете: волки задрали иль злые людишки подстрелили. И тех и других в тайге хватает.

— И чё?.. — слегка оттянув шалюшку книзу, чтоб не мешала при разговоре, спрашивала соседка.

— Да всё покамест путём. Приходит к кормушке изюбр. Надо думать, наш... Но ежели и другой, чего ж?.. Тоже ладно. Жисть-то вон какая, крученая-перекрученная. Нынче одно, завтра другое. Поди, приноровься к ей. Худо человеку. А зверью, думаешь, легче?..

Груня огорчённо разводила руками, и он замолкал.

Леший приехал в поселье четверть века назад. Тогда он ещё был Прокопием Зиновьевым. Жил в городе, работал на заводе, чего-то мастерил... Теперь уж и не скажет чего, вылетело из головы. Он уехал из города на другой год после смерти жены, в которой души не чаял. Жутко тоскливо стало без неё. И на заводе всё зачужело, и уж не тянуло ни к чему. А потом и вовсе опостытелo, перестал узнавать недавних знакомых и здороваться с ними, словно бы не помнил никого. Когда ж к нему обращались за чем-либо, шарахался от людей, как от чумных. В конце концов, его самого сочли за чумного и предложили подобра-поздорову уйти с завода. Он так и сделал. На другой день встретил в забегаловке бывшего однокашника и... узнал его. Тот, мучаясь с похмелья, обрадовался Лешему. А когда услышал, что случилось с ним, предложил переехать на житьё в Подлеморье. «У нас нынче много пустых домов. Заезжай в любой и живи на правах хозяина да на радость тем, кто ещё не отдал Богу душу, не сгинул, не заблудился промеж трёх сосен». А ещё добавил, со значением поглядывая на бывшего однокашника:

— Чую, терять тебе тут, в городе, нечего.

Позже Леший узнал: то был муж Груни, удалый на работу, расторопный, поспевал всюду, где требовалась помощь, рыбаки уважали его, выбрали своим бригадиром. Верили ему, даже если он вдруг сказывал про дальнейшее, не имеющее к ним никакого отношения, всё ж как бы успокаивающе действующее на сердце. А там порой и у самого сильного нет-нет да и рождалась тоска, и с ней было не просто сладить. Может, так и не сладил бы, да бригадир умел подбодрить добрым словом, ничего другого у него, почитай, и не было. Он и Лешему помог отойти сердцем после смерти жены.

Короче говоря, был бригадир из тех, кто надобен во всякую пору и без кого жизнь враз тускнела, утрачивала прежние краски. Жаль только, недолго пожил после того, как сыскал Лешему избу близ высоченного холма на прилесье, густо заросшем зеленотравьем, и круглого мордастого щенка принёс со своего двора: «Подсоблять будет Серый. Маманя у него чистопородная лайка, с нею не страшно было ходить и по матёрой глухой тайге». Щенок тот через год-другой сделался справной собакой.

Помер бригадир, и на душе у Прокопия Зиновьева опять затомило. Пошёл в лес, там и встретил каких-то баб с соседского поселья, грибников, должно быть. Они не сразу распознали его, люто обросшего белёсым волосом, а потом одна из них обронила вроде бы как с досадой:

— Тю, пугало лесное. Чисто Лешай.

С того и пошло. Леший да Леший... Про имя-то его в Подлеморье живёхонько запомывали. Теперь уж и вовсе незнакомые люди при встрече с ним говорили:

— Здрав будь, Леший!..

Иной раз самый что ни на есть пацан, который ещё не обучился нос подтирать, подкатывал к нему на тонких, в синих оспинках, босых ногах и говорил шепеляво:

— Папаня велел передать, стоб ты, Лесай, нонеце сёл бы к ему, он зелат с тобой побалакать и цайку попить.

Леший не обижался, через год-другой свыкся со своим новым именем, а про то, прежнее, кажется, и сам стал забывать, как и про то, что раньше жил в городе; и ему глянулось вечерами бродить по опустевшим улочкам, а то и пропадать в забегаловках, лениво попивая пенистое пиво из кружек.

Нынче Леший, бывало, выходил из избы на своё обширное лесное подворье с малым огородцем у рыжих каменьев, упавших с ближних скал. Бывшие хозяева подворья, сказывают, почили в девяностые годы, не выдержав уколов тогдашней вдрызг порушенной жизни; он выходил из избы и привычно садился на пенёк подле широколапой поленницы с берёзовыми гарками дровами. Их Леший заготавливал, углубясь подальше в лес, где сухостоя было не перечесть сколько, там и валил гудящие хлысты двуручной бензопилой, а потом стаскивал к избе. В прежнее-то время, живя в городе, лишь пару-другую раз брал в руки топор, а тут живёхонько наловчился владеть им, колол дрова иль крепил заплату на огороже. Воистину, нужда заставит сухарики есть.

Леший садился на пенёк и подзывал к себе Серого, и нередко жаловался ему на сердечную щемоту. Пёс, когда был помоложе, слушал невнимательно и всё норовил сбечь в ближнюю тайгу, где ему страсть как глянулось: простору-то сколько, можно носиться из края в край, никто и слова худого не скажет, да и некому говорить. Опять же нет-нет да зайчишку углядит и устроит с ним игру в догонялки, которую, впрочем, редко когда повернёт в свою пользу. Но с годами Серый, войдя в понимание, уж не поспешал никуда, научился слушать хозяина, иногда тоже впадал в горестное смущение и жалобно поскуливал, но чаще, прибегая к разным собачьим хитростям, выманивал хозяина со двора, а потом бежал впереди него по узкой зверьей тропе. Иной раз они забредали далеко в лес, долго блуждали по нему и вроде бы делали это понарошку: и собака, и хозяин знали, где теперь находятся, а воображали, будто де заплутали промеж трёх сосен, и недоумённо оглядывались и без пути суетились. А когда это надоедало, шли к высокой скале, к той самой, что зависала над Байкалом, зеленоглавая, с тонкой гибкой талией, усыпанной серебряными камушками, и была удивительно хороша, иной раз схожа с лесной девицей, про которую сказывал старый буддистский монах, прошлым летом заглянувший на их подворье. Будто де в давнюю-давнюю пору жила девица с отцом и матерью на берегу священного моря и горя не знала, водила дружбу с малыми лесными зверятами, а ещё с высокой искряно-белой волной, которая появлялась в середине лета, в самую его макушку, и подолгу держалась у берега. Однажды приплыл на той волне молодой черноглазый парень, и был он весь как на ладони, светел ликом и ясен в мыслях. Пришёлся по душе девице. Да и она поглянулась парню. А ведь они знали из тех видений, которые посещали их иной раз и днём, что короток век у счастья. К тому ж ещё не забыл парень, сказывал про это Байкал-батюшка, отпустивший его в своё время на здешнюю землю, что нельзя ему, рождённому морской волной, подолгу пребывать в чуждых его духу пространствах, а не то растает он, обожжённый солнечными лучами, и превратится в серебряную пыль, навреде той, что оставляет после наката на берег серебряная волна. Знал, что не жить ему без воды, как не жить голулю в морской пучине,

как теперь уже не жить поглянувшейся девице без любимого, и от тоски-печали оборотится она в прибрежную скалу, коль скоро не откажется от своей любви. Она и не отказалась, а парень не захотел расставаться с нею. Но недолго он пожил на морском берегу, когда на небе появилось большое солнце, растаял. Исчез. А девица...

— Я нынче ходил к той скале и положил в изножье венок из лесных цветов, — сказал странствующий монах. — И на сердце сделалось сладостно, как если бы я слился с миром природы и уж не помнил и самой малости про себя. Ещё немного — и взлетел бы красноперой птицей в небо, да, видать, не приспела пора, не обрели мои руки чудодейственной силы, которая в крыльях. Но да всему своё время, придёт отпущенное богами в срок.

Леший подолгу задерживался в изножье Девичьей скалы, как её называли тунгусы, нередко ставящие в этих местах свои чумы, и ощущал на сердце нечто схожее с тем, что чувствовал тут странствующий монах, и Бог весть какие мысли приходили в голову, но чаще те, что подталкивали к желанию понять в собственной душе. Тут он впервые зауважал себя. Это когда догадался о слиянности с миром природы, о том, что существует он не сам по себе, а является частью сущего. Про сущее, огромное, не имеющее ни начала ни конца, но порой способное ужаться так, что и не увидишь его нигде, уже давным-давно по воле Богов ставшее обитающим человеческих душ, говорил всё тот же странствующий монах, как и о том, что он, Леший, не чужой на этой земле, а рождён ею, почему и принят тепло теми, кто живёт на ней. Леший мог бы сказать, что это не так, и он выходец из большого города, а тут оказался по воле случая. После смерти жены понял, что ему не за что держаться в жизни, и стал подумывать, как уйти из неё. И, наверно, нашёл бы, когда б не встретил в городе Груниного мужа. Приехав в Подлеморье, по первости вроде бы и не по своей воле, было такое чувство, что кто-то невидимый управляет им, зажил другой жизнью, о которой понятия не имел: научился топить печь, возился в огороде, таскал воду из дальнего горного ручья, а то и замешивал тесто для лепёшек. Этому его обучила соседка, чей внук нынче спускался с Девичьей скалы, недовольно покряхтывая. А когда оказался рядом с Лешим, сказал:

— Замаялся искать тебя. Ты ушёл из дому, даже не попив чаю.

Чудной парень, вроде бы баламут, мало чего умеет и на месте не постоит спокойно, всё норовит сбечь, но в то же время есть в нём радующее сердце Лешего, истомившееся от долгожития. Он думал, что парень сразу же после похорон бабки уедет. А он не уехал и когда провели девятины, а потом и сороковины. И это было не совсем понятно, однако ж страсть как приятно. Лешему хотелось передать Грунинуму внуку всё, что знал сам, отчего и рассказывал ему, сумерничая на крылечке, разные диковинные истории. Вот и нынче, когда парень спустился с гольца, Леший подвёл его к урезу жёлтопенной байкальской воды, постоял, пока с моря не подошла высоченная белоспинная волна, сказал, вздыхая:

— На этой волне, Рыжий, — он так звал Груниного внука, хотя и помнил его имя, да что имя-то, пыль одна, — оседлав её, приплыл парень, в которого влюбилась здешняя девица, после чего, малость самую помиловавшись с ним, она оборотилась в прибрежную скалу.

— Ты уж рассказывал про это, — вроде бы недовольно пробормотал Рыжий.

— Разве?... — удивился Леший. Смуглое лицо слегка вытянулось, обретя холодную хмурость. Густые тёмно-синие брови пуше прежнего встопорщились. Глаза зелено запосверкивали.

— А ведь ты и впрямь Леший. Встреться с тобой в тайге, небось, не будешь знать, куда бежать.

— Чего ж не бежишь-то?

— Не хочу, вот и не бегу.

Рыжий не знал, почему он сказал так, он нынче многого про себя не знал, хотя бы того, отчего пришлось по сердцу жить в бабкином доме, ходить теми же надворными тропками, коими хаживала она, а по утрам выгонять комолую козу со двора, прищёлкивая языком, дескать, поди покормись, травка-то нынче ладная, глядишь, и молочка будешь давать побольше.

Ему по нраву было подлазить под козу с бидончиком и оттягивать розовые соски, смотреть, как тонкой струйкой бежит молоко из вымени. Он сроду этим не занимался, а тут, надо же, с первой же попытки, через пару-другую седмиц переросшей в привычку, причиной которой стал Леший, наловчился доить козу. Когда б раньше кто-то сказал Рыжему, чем он станет заниматься уже в ближайшее время, не раздумывая, набил бы тому морду. Иной раз думал: «Что со мной, отчего мне приятно сидеть на кухне и наблюдать, как весело горят дрова в печке, а потом отхлёбывать горячий чай из деревянной чашки, и вовсе не тянет в райцентр, где остались дружки-приятели». Чёрт те что, он нынче вроде бы и не он вовсе. Что произошло-то?.. Откуда приспела к нему страсть сделать что-то ещё, только бы Леший одобрил его взглядом ли, словом ли, коротким, как удар весла об воду.

— И ладно, что так-то, — однажды сказал Леший. — Стало быть, проснулась в тебе душа.

Можно было бы и обидеться: «Чего ж, раньше-то был я без души?..» Но обижаться не хотелось. А потом стало мниться, что Леший прав и чего-то он в той своей жизни делал не так. Нет, не то чтоб кого-то обижал, этого не было, редко когда распускал руки, а вот что людей подле себя, иной раз и славных, вроде бы как не замечал, отчего многие считали его пижоном. Он мог бы пресечь неприятные для себя разговоры, но и пальцем не пошевелил: «А, пушай лопочут чё хотят. Язык-то без костей». Короче, жил легко, ни во что особо не вникая и принимая жизнь такую, какая она есть. И так продолжалось бы, наверно, ещё долго, если б не сел в тот поезд.

В последнее время Рыжего стала посещать не то чтоб тоска, нечто схожее с нею, как если бы чего-то не понял в себе, чего-то спрятанного за семью замками. Хорошо бы отомкнуть их! Да ключей не подобрать.

Чудно, право, в прошлой жизни за огненно-рыжие кудри приятели нарекли его Рыжим. И тут случилось то же. Главное, не в обиду ему, а в радость, но в такую, про которую никому не сказал бы. Наверно, даже бабке Груне, подымись она теперь из гроба. А чуть погодя, вроде бы как оробев от собственных слов, открыл в душе чудное, раздвинувшее в том пространстве, в котором теперь жил. И это тоже было приятно. Значит, не всё быльём поросло, кое-что осталось и от прежней жизни, а её Рыжий не желал бы считать пустой, выброшенной на ветер. И в ней было такое, отчего иной раз начинало пощипывать на сердце. Впрочем, легко и как бы исполнилось. А время спустя улетучивалось, так что и не вспомнишь всего-то.

Рыжий поглядел на Лешего, который теперь медленно, сутулясь, поднимался на крутой обрыв, зависший над морем, хотел спросить, куда наострил лыжи, но не спросил, догадался, что старика потянуло к Девичьей скале, видать, захотелось «потолковать с нею», как не раз уж бывало. Спросил у себя: «А мне-то пойти за ним или нет?.. Может, я окажусь там лишним». Только подумал так-то, как Леший, обернувшись, обронил досадливо:

— Не о том думаешь. Мне по нраву, что ты будешь рядом со мной.

Они поднялись на обрыв, а потом одолели ближнее, заросшее хилым и тонкоствольным, как если бы ему тут не хватало воздуха, березняком, широко распахнувшееся встреч солнцу нагорье и подошли к Девичьей скале. У Лешего тут было местечко, облюбованное им под разлапистым деревом, в тени, сюда он в своё время приволок снизу от моря пару-другую камней. И теперь, побряхтывая, опустил на один из них, а Рыжему велел сесть на другой:

— Передохнём маленько.

И замолчал, а потом, кажется, задремал. Во всяком случае, так подумал Рыжий и слегка подсадовал, ожидал, что Леший расскажет байку ли какую-нибудь, побывальщину ли про что-либо случавшееся с ним или с кем-то ещё, но, может, и ни с кем не связанное, а взятое с потолка. Рыжий, хотя и пожил по соседству со стариком всего ничего, приноровился к нему и даже научился определять, правду ли говорил Леший или выкатывал пред ним свою придумку, которая, надо быть, поможет не скучать. «Зря он так-то... Я не скучаю. Пошто бы мне заскучать?!»

Рыжий не сказал бы, правда ли, что он так думал. Иной раз и нынче не поймёт, что там происходит, в душе... Отчего она порой как бы замутняется, и тогда одолевает смута, с которой не просто сладить.

Рыжий посидел маленько на камне, норовя расшевелить в себе, чтоб не поддаться дрёме, которая постучалась, настырная. Какое-то время боролся с нею, а потом его сморило. Тут-то и увиделась девица, та самая, как если бы сошла со скалы. И была она дивно хороша, куда до неё тем, кого знал. И смотрела на Рыжего грустно и пыталась о чём-то сказать, да не могла. Что-то мешало.

— Ну, чё же ты?..

Это спросил он. И удивился, что не заробел. Всё ж у него хватило ума не загордиться, как ни крути, а голос у парня тогда дрогнул, и прибавилось в нём хрипоты от вчерашней ли застуды или от чего-то ещё, не разбери-поймёшь. И он опустил голову, и уж старался не глядеть на девицу, которая всё так же смотрела на него синими неживыми глазами. Долго ль это продолжалось, не сказал бы. Наверное, не так уж и долго. Когда ж очнулся и вышел из затенья, всё так же светило полуденное солнце, точно бы и вовсе не страгивалось с места, и слабо дул сиверок, заноса на нагорье прохладу от лесного ручья, протекавшего в ближнем распадке, от него версты две до поселя. Рыжий хаживал по здешним местам, ему тут глянулось, по нраву было слушать, как звонко голосил ручей, пробиваясь к морю, как лопотали могучие кедры, склоняясь к нему, и домовито, без излишней суеты шевелили ветвями, коль скоро ветер усиливался. Рыжий нередко останавливался, прислушивался к тому, что совершалось в лесу, и ему всё тут казалось близким и понятным, а то и памятным по давним летам, про которые теперь едва ли что-то скажет. Умом-то Рыжий понимал, что это не так. Ну какая может быть давность, коль скоро лет-то ему всего-ничего?.. Но сердце не желало соглашаться, упорствовало, и в какие-то моменты Рыжий готов был согласиться с тем, что и раньше жил в этих глухих местах и бродил таёжными тропами. Правда, звали тогда его иначе и имел он другое обличье.

Рыжий на прошлой неделе переехал к Лешему. Старик решил, что незачем жить на два дома: дров идёт больше, тем более что кормились мужики уж давненько с одного котла. Накрывали стол то в одном доме, то в другом... Рыжий по первости и слушать не хотел про это, по сердцу было ходить по скрипучим и слабым половицам и думать, что в этой избе жила не только тётка, а и покойная его

матушка, облик которой он мало-помалу начал забывать. Она ушла отсюда, когда ей не было и тридцати, с тем, чтоб уж больше никогда не возвращаться. Рыжий часто вспоминал её, но, может, и не её, а кого-то ещё, дивно напоминавшего матушку, и на сердце делалось щемяще, а вместе сладостно, как если бы он, непутёвый, после долгого странствия вернулся к отчему порогу, тут и нашёл успокоение душе и тихую нестрагиваемость в чувствах.

Да, по первости он не хотел съезжать с отчего подворья, где навёл какой-никакой порядок: отладил крыльцо, на кухне сбил половички, выправил под навесом поленницу с дровами, подровнял грядки с малой домашней зеленью.

Но Леший однажды сказал:

— Ты ж не куда-то далеко уезжаешь, а перебираешься в соседский дом. Чё ж упрямиться-то? Ить так нам будет сподручней.

И Рыжий махнул рукой. Но и тогда, едва начиналось утро, шёл на отчее подворье и подолгу пропадал там, теперь уже не один, за ним обычно увязывалась собака Лешего. Она с первого же дня приняла его за своего и ничего не имела против того, что он прикасался к её морде шершавой ладонью и произносил тихие слова, которые сроду не услышишь от Лешего.

Всё бы ладно, да год назад по первоснежью в поселье забрела ватага парней из райцентра. Кое-кто помнил Рыжего по старому времени. Пришлось принять их в отчем доме. Парни своими сказами про теперешнее житьё-бытьё нагнали на него смуту. И была смута угрюмовата, и не хотела уходить, даже когда по утрянке Рыжий едва ли не силком вытолкал из избы бывших дружков-приятелей и проводил их до полустанка, где те и сели в «Мотаню». Смута, не сказать, чтоб постоянно пребывала в нём, нет, конечно, всё ж иной раз накатывала, и надо было приложить немало усилий, чтоб прогнать её. Чаше она приходила поутру и выталкивала его на крыльцо, и тогда он, валко переступая со ступеньки на ступеньку, напряжённо смотрел в ту сторону, откуда появлялась «Мотаня», и ждал, когда поезд остановится, и, противно тому, что жило в нём, думал про то, что когда-нибудь и он сядет в вагон и поедет. Куда?.. Нет, не в районный городок, где у него никого не осталось из родных. Чего бы он там потерял?.. Но куда-то ещё. Может статься, в края незнанные, дальние, манящие непознанностью. Однажды не утерпел, сорвался с места и юркнул в переполненный вагон. Но доехал только до соседского полустанка, откуда и вернулся на своих-двоих, пуще прежнего томимый сердечной щемотой.

Леший знал про эти метанья парня и, хотя тоскливо делалось, ничему не мешал в нём. Нынче Рыжий встал чуть свет, осторожно на цыпочках прошёл на кухню, думая, что Леший спит, но тот не спал и всё слышал, помешкал, как если желая понять, что происходит, хотя так ничего и не понял, и тихонько закрыл за собой дверь, а минут через десять был на полустанке. Дождался, когда подойдёт «Мотаня», сел в вагон и уехал.

Тоня и Тоша

Было это лет пять назад, шёл тогда Тоша по лесу: наострился в дальний, под-ле гольцов, кедрач поглядеть, быть ли ему нынче с орехами иль как в прошлог-одье пустыми окажутся шишки, а деревья поникшими, точно бы утратившими нечто, что обыкновенно подсобляло им чувствовать свою надобность в тайге.

Тоше тогда поглянулось в лесу: ладно смотрелась зелёнокудрая рощица, вроде бы как сознавала в себе недюжинную силу, которая помогала и в яростный ветер не склонять головы, держать её прямо и привычно со своей природой не пользоваться ничьей милостью.

Тоша не больно-то одобрял деревья за эту, как ему мнилось, заносчивость, тут виделось что-то от желанья возвыситься над другими, покрасоваться, показать, чего они стоят, красавцы сибирские. Тоша по природе своей был человек скромный и тихий, привыкший смиренно принимать всё, чтоб ни отпустила жизнь. Бывало, прикоснувшись к ближнему стволу, а потом проведя тёплой ладонью по нему, говорил с привычным для него смущением:

— Зря вы так-то... Надо иметь уваженье и к тем, кто слабей и не так настырен. И в них есть душа, Богом даденная. Как можно не помнить про это?..

Деревья пошумливали в ответ на Тошины слова, как если бы соглашались со своим давним приятелем, от кого не жди ничего худого, противного их естеству. Но соглашались для виду, а внутри-то себя ощущали радость от существования в миру, которая порой приводила к тому, что они переставали замечать что-либо и в ближней округе. Впрочем, Тошу они не хотели бы обижать, помнили про то, что он всегда старался помочь им. Ну, к примеру, когда одно дерево, изрядно оstarевшее, заваливалось на другое, которое помоложе да потоньше, того и гляди, придавит ослабшее. А это было бы в нарушение порядка, к чему привыкли в кедровой рощице и не желали бы ничего тут поменять.

Да, это было Тошино время. Он брал в руки топор, поспешал в ближайший стланик, отыскивал там сухостоины покрепче да понадёжней и делал подпоры, подсобляя молодому дереву если и не восстановить прежнюю осанку, то хотя бы облегчить ему жизнь и не выставлять на показ нахлынувшую слабость. Такое не забывается. Деревья и не забывали, и всегда заметно оживлялись, когда он приходил в рощицу и садился на облюбованное им лет пять назад место в тенёчке и тихонько посапывал, окунувшись в дрему. В те поры они старались меньше шуметь. Иногда им это удавалось.

В тот день шёл по лесной тропе Тоша, мужик небольшого роста, полутора метров с копейками, с узкими покатыми плечами и с большими тёмно-серыми глазами, во всякую пору с откровенной робостью оглядывающими даже давным-давно знакомые места, словно бы ожидая увидеть что-то способное подвинуть в душе, нередко устремлённой в иные дали, и тихонько вздыхал. Может, потому, что нынче отчего-то не тянуло в те дали. Про них он вроде бы знал хотя бы и самую малость, однако ж не сказал бы, что это за малость, от которой иной раз садняще делалось на сердце. Впрочем, не так чтоб шибко садняще, а как бы ужато его ли напрягшимся естеством иль естеством природы.

Тоша шёл, привычно семеня ногами, вроде бы как поспешая, однако ж эта поспешность не делала шаг уверенней и ходче, а словно бы даже замедляла его. Он шёл, стараясь ни о чём не думать, но мысли, не подчиняемые ему, нет-нет да и приводили к отчей избе, опустевшей после смерти родителей, случившейся в прошлогодье. Вдруг болезнь какая-то напала на них, с нею даже старый фельдшер не сумел сладить, она и свела в могилу сначала батяню, а потом и матушку.

Тоша затосковал, потеряв дорогих сердцу людей, часами слонялся по пустой избе, не зная, чем занять себя. Всё-то обрыдло, вроде бы как оскудело на доброту, а потом и зачужело. В те поры Тошу потянуло к водке, а ведь прежде в рот не брал

её. Он купил на деньги, которые отыскал в низеньком пузатом шкафчике, стоявшем подле кровати, пару бутылок самогону, зазвал в избу первого встреченного в улочке прохожего, разлил по стаканам водку. Один из них протянул гостю. Тот не долго медлил, опорожнил стакан и, потирая руки, сел за кухонный стол, на котором стояла миска с картошкой. Принялся за еду. А Тоша, едва отпив из своей посудинки, тут же закашлялся, потом его начало тошнить. Понял: водка не для него, надо поискать успокоение душе в чём-то другом. Но в чём же?..

Про это задумался после того, как выпроводил уличного выпивоху из дому. И теперь уж подолгу измучивал себя разными опросными словами, такое с ним чаще случалось в отчей избе. Но стоило оказаться на лесной тропе иль спуститься на берег Байкала, круто и зыбисто спадающий к воде, да оглядеть всё, что окружало: ближнюю лиственную тайгу, угрюмовато гудящую на шалом, невесть откуда павшем ветре, но, надо быть, от струистого ручья, проторившего дорогу в скалах, иль морские волны, нередко заслонявшие водное пространство густой белой пеной, — как те слова отодвигались и уж не беспокоили, вместо них приходили другие, и были они как бы в облегченье ему.

Тоша шёл и думал о том, что не хочется ему домой, чего он там потерял-то, как вдруг земля под ногами зашевелилась, встопорщилась, словно бы подталкиваемая изнутри, а потом разверзлась, и он через мгновение-другое, которые помнились долгими и жуткими, оказался в глубокой яме, заросшей колючим и злым дурнотравьем. Позже почувствовал острую боль в спине, должно быть, зашибся, когда падал. И тут же потерял сознание. Когда ж очнулся, увидел про меж сосновых ветвей, низко склонявшихся к земле, синее, теперь уже заметно померкшее просторное небо, а потом и какие-то строенья, похожие на домики, и живых существ в белом одеянии подле них. Те существа отдалённо напоминали людей. Почему отдалённо?.. Ну, было в них что-то незнание, отчего можно было подумать, что, пройдя чрез испытанья, многое из прежнего, бытовавшего в них, они утратили, зато обрели нечто отодвинувшее от людского ряда.

В иное время Тоша заинтересовался бы, что же это за существа. Но теперь и мысли такой не возникло, помешала острая боль в спине. И надо было напрячь остатние силы, чтоб меньше изводила. Он так и сделал, а потом почти равнодушно наблюдал за тем, как передвигались небесные существа, похожие на людей, по широким машистым тропам, проложенным меж рваных облаков, за которые уцепились диковинные, точно бы с детской картинки, розовые домики. Но вот увидел среди них строенье, по внешнему виду сходное с отчей избой, и заволновался. Вдруг подумал, что все эти домики сошли с того места, что занимали в Подлеморье, и были вознесены божественной силой в небо. А если так, то и матушка с батяней могут оказаться в одном из них. И ему надо поднапрячься, прогнать и саму мысль о боли, которая теперь жила в нём, чтоб увидеть их. И он-таки настроил себя на нужный лад и разглядел среди небесных людей родителей. Обрадовался, заговорил с ними о себе, о Тоне, которая частенько приходит к нему и возится в огороде. «Ближе её у меня теперь никого нету». Позже сказал и про то, что случилось нынче, отчего он шибко потрёпан и мало похож на себя, и родные, может статься, не узнают его. Но матушка, а точнее, небесное существо, сходное с матушкой, какую помнил её, сказало, что сын дорог ей и батяне, в каком бы состоянии ни явился пред ними, они и тогда будут любить его, если он и вовсе станет немощен и уж никому не надобен на земле со своей болью и заботами. И пушай он не забывает про это нигде.

— А то, что случилось, должно было случиться. Помни, когда выберешься из зверьей ямы, поменяется в душе у тебя. Будет она вроде б и прежняя, только наделённая особым знанием, перешедшим от твоей бабки, и ты теперь сможешь пользоваться им. И да будет оно не в тягость тебе!

Тоша после того, как исчезло виденье, растворившись в пространстве, какое-то время лежал на дне ямы, боясь пошевелиться: мнилось, коль скоро подымет руку иль согнёт в коленях ноги, всё тело окунётся в боль. Он уже догадался, что попал в капкан, поставленный, может статься, и не сегодня, и не злыми людьми. Всё ж капкан он и есть капкан, как ни относиться к нему. Тоша и раньше попадал в его стальные объятия, и чаще из-за того, что не умел вовремя сыскать защитное слово, которое было бы произнесено для собственного оправдания. И был неспособен подогнать себя под единый для всех гребень. Вот и оказывался нередко отстранён даже от тех, кто сиживал рядом с ним на лавочке близ калитки и имел норов добрый и открытый. Стоило произойти чему-либо неладному, к примеру, соседская корова не пришла по вечеру на подворье, как даже иные из них, а не только бабы, которые давно подозревали Тошу в связях с нечистой силой, нет-нет да и косо поглядывали на него. «А пошто бы статься другому, ить бабка-то Авдотья при жизни не токо подсобляла, когда корова доилась кровью, а и навредить могла. А он, внук-то ейный, слыхать, много чего перенял от её».

В поселье так думали, хотя никто не сказал бы, кому Авдотья перешла дорогу. Станные у нас люди, напридумывают невесть что, а потом поверят в свою придумку. Ну, ладно, про старуху, которая заговаривалась и не всегда помнила, отчего на сердце у неё щемота и по какой надобности она забрела нынче на соседский двор, бормоча под нос несусветное, принимаемое за наговоры, можно было подумать невесть что и растеряться, а то и поверить в нечистую силу, что кружит над посельем и норовит навредить честному человеку. Но при чём здесь Тоша, про которого и в малолетстве говорили, что он тише воды и ниже травы. Он-то в чём замечен?.. Только вдруг да и выскакивал некто из общего ряда и виталкивал из горла нагловатого:

— А в тихом болоте все черти водятся.

Не сказать, чтоб такое случалось часто. Нет, конечно. Тоша не давал повода для подобных разговоров. Всё ж мало-помалу привык относиться к людям не то чтоб с опаской, с насторожкой скорее. Про неё, впрочем, решительно забывал, коль скоро кто-либо вдруг делался добродушен и мог поделиться тем, что на сердце. И, надо сказать, людей, которые хотя бы и невольно тянулись к Тоше, с каждым годом становилось всё больше. Сам-то он не старался выделиться. Был смирен, и мухи не обидит, как если бы и за нею признавал право проминать на подлёморских землях свой коротенький век. А когда в его жизни появилась Антониди, страсть как обрадовался. Не однажды предлагал Тоне переехать к нему, чего тянуть-то? Ить давненько уж живём как муж с женой. Но та отказывалась, говоря, что ещё не пришло время. А когда приспеет-то?..

Тоша редко когда выходил со своего двора. Родители оставили ему кое-какое хозяйство. У него на подворье близ старенького трёхступенчатого крыльца нередко бегала шустроногая коза, молоденькая, но уже теперь дающая кринку-другую молока. Были и куры, и краснопёрый петух. Надо сказать, петух не отличался добрым нравом, кидался не только на коршуна, норовящего сбить с ног какую ни то несушку и унести в лес, а и на хозяина, чуть позже и на Тоню. На спуске к ручью был разбит какой-никакой огородец, где росла картошка и мелочь разная. Прежде

Тоша работал в бригаде рыбаков, но потом её распустили, и люди остались без дела, и кое-кто из них уехал из поселья, звали и Тошу, но он отказался:

— Не... Чё я потерял хотя бы и в городе?..

И усердно занялся своим хозяйством, плохо только, деньги, оставленные ма-тушкой, быстро таяли, бывало, думал: «А потом-то как, ведь и хлеба не на что будет купить?..» Но Тоня сказала:

— А, ништяк. Ягоду станем брать в лесу. Слыхать, туристы покупают клубничку охотно. Опять же и бруснику, да и каку другу ягодку.

Разве что так...

Тоня до недавнего времени жила на другом конце поселья, у самой скалы, на вершинке которой и в летнюю пору гуляли злые ветры. Она не знала матери, та померла, когда ей исполнилось три года. Жила с отцом до самой его смерти, которая случилась в прошлогодье накануне Спаса. Был он добродушным малым, с глазами большими и во всякую пору грустящими, вроде бы слегка отстранёнными от мира. Работал в рыболовецкой бригаде. А когда пала прежняя власть и рыбаки, оставшись без работы, разбрелись кто куда, он растерялся, но потом взял себя в руки. И не захотел, как многие другие, покидать Подлеморье. Первое время маялся от безделья, но однажды вышел на крыльцо и увидел землю, сплошь заваленную большими и малыми камнями, отчего та дышала с трудом и как бы жаловалась на свою судьбу и просила подсобить ей. «В накладе не останесся, — словно бы сказала она. — Чем ни то порадуя».

Тогда и взял мужик в руки кирку да лопату и принялся расчищать подворье от камней и свозить их к ближнему гольцу. С неделю вкалывал не покладая рук, потом и другую разменял, зато и увидел, однажды выйдя на крыльцо, кусок тёплой розовой земли, пребывающий в шелестящих и весело лопочущих зеленях, и возликовал в душе. Вскопал какой-никакой огородец. Дочери огородец пришёлся по сердцу, и она принялась возиться на нём, делая грядки и высаживая разную мелочь. Чуть позже сыскалось место и для картошки. Теперь было на что жить мужику с дочерью. Надо сказать, что и море подсобляло. Случалось, бывший рыбак, прячась от чужого глаза, ставил на волну лёгкую, со слегка побитыми бортами остроносую лодчонку и правил в море. Закидывал сетушку-сороковку. Редко когда возвращался без пары-другой рыбьих хвостов. А время годя сыскалось другое занятие. В своё время он приехал из соседской деревушки, где ему частенько приходилось стричь колхозных овец. С той поры у него остались большие ножницы, он прихватил их с собой, сам не зная, для какой надобности, уезжая из отчей деревушки, едва ли не вовсе опустевшей после мора, напавшего на здешние земли. Не мог тут жить больше, всё-то мнилось, что скоро и за ним придёт смертушка. «А как же тогда дочка-то, ить пропадёт без моей помощи».

Тонин отец день-другой примеривался к ножницам перед тем как пойти к соседу, старому здоровенному хрычу Иннокентичу, люто обросшему белыми волосами, с бородой по пояс. Встреться с таким в тайге, не знамо, в какую сторону побежишь. А может, тут же превратишься от страха в телеграфный столб и будешь стоять, покамест кто-нибудь не столкнёт с места.

Иннокентич, бывало, подсоблял Тониному отцу, когда требовалось подновить заборчик ли на огороде, чтоб козы поменьше лазали туда, дровишек ли заготовить на зиму.

Ну, пришёл к соседу, держа ножницы в руках, сказал домовито:

— Садись, стричь ты буду, а то беда прямо, на чёрта похож. Люди жалуются, пугаешь их своим страшным видом.

Иннокентич, крихтя, сел на табуретку, вытянул длиннющие ноги, заняв едва ль не всю кухню, после чего с опаской поглядел на ножницы и покачал лохматой головой:

— Больно великоваты. Башку-то не снесёшь имя?

— Не бойсь. У меня сноровка дай бог какая, да и рука лёгкая. Помню, овечка, оказавшись в моей власти, не успевала испугаться, как я подчистую обривал её.

Тонин отец ладно постриг соседа. Тот остался доволен. На поселье подивовались на заметно помолодевшего Иннокентича, поспрошали, кто его так умело постриг, узнали про Тониного отца и стали приходить к нему всё чаще. Он никому не отказывал. А потом начал и сам захаживать в разные дома с овечьими ножницами, и везде ему были рады, бывало, и рюмочку-другую подносили. По первости это нравилось Тоне, но потом начало мучать беспокойство: как бы чего не сделалось с батяней, уж больно часто угощают его самогончиком. Попыталась поговорить с отцом, но он и слушать не захотел: «А мне приятно доставлять людям радость. Да и от рюмочки, которая от чистого сердца, пошто бы стал отказываться?..»

А потом случилось то, что и должно было случиться. Не выдержало сердце у отца. Помер он...

Тоня и так-то не рослая, стала вроде бы ещё меньше ростом, и в глазах появился страх. И вовсе худо было бы, когда б не монашек из ближнего монастыря. Он приходил в поселье, когда помер Тонин отец. Однажды монашек снова зашёл на её подворье, приметил в облике женщины смущенье, которое, догадался, не только от того, что потеряла близкого человека, а и от чего-то ещё, и спросил:

— Чё-то стряслось?

И она сказала про то, что маетно ей нынче живётся, не хочется ни с кем знать-ся, всё-то мнится, что люди холодны сердцем и ничего-то им не надо, кроме того, что уже есть, и за то, что уже есть, они готовы продать душу нечистой силе.

Монашек выслушал и покачал головой. А она вдруг почувствовала, что те слова, что были нынче произнесены ею, вроде бы не принадлежат ей, но кому-то ещё, может статься, той же нечистой силе, о которой прежде понятия не имела. От этого на сердце жутко как защемило, на месте не постоишь спокойно, она не замедлила проститься с сердобольным рыжеволосым монашком со вздёрнутым красным носом и невесть зачем поплелась на другой край поселья. Там-то и увидела в огороде мужичка невеликого, под стать ей. В серой курмушке, небрежно наброшенной на голое тело, он возился в огороде и что-то тихонько напевал под нос. Подошла поближе и сказала:

— Здравствуй...

С той поры минуло немало времени, а она по сей день не поймёт, как на это осмелилась, сроду никому не навязывалась в знакомые, а в последние дни и людей, про кого думала, что хорошо знает их, избегала.

— Здравствуй, — сказала она, положив руки на низкий, складенный из осиновых жердинок, поскрипывающий на ветру, как бы озабоченный своей недолговечностью, щелястый заборчик.

— Здравствуй, — ответил мужичок, выпрямляя спину и поглядывая на неё серыми, слегка удивлёнными глазами.

Тут уж Тоня засмушалась и прынула от заборчика, и уж вытолкнулась, обходя колючие кусты боярышника, на тропку, что привела сюда, когда была остановлена негромким певучим голосом:

— Чего же ты? Заходи.

Она помедлила, а потом пошла на голос. И не было ей стыдно или совестно, как если бы не ожидала ничего другого, ведь теперь не она решала за себя, но божественное провиденье, которое всё взяло в свои руки. Тоня ощущала ласковое к себе прикосновение и замирала от тихого, переполнявшего её восторга.

В тот день Тоша и Тоня познакомились, выяснили, что и раньше слышали друг про друга и, кажется, даже учились в одной школе. Но да когда это было-то?.. Тоша в какой-то момент подобно Тоне почувствовал себя словно бы находящимся в подчинении у неземной силы, которая была приятна, хотя и управляла им по своему усмотрению, не спрашивая, глянется это или нет... А ему глянулось, и он мысленно говорил: «Славно-то как!.. Я теперь не один... Чего ж ещё надо-то? Батяне с матушкой понравилось бы».

С той поры они стали встречаться то в доме у Тоши, то в избе у Тони, доверчиво прильнувшей бревенчатой щекой к высоченной скале. Была изба старенькая, покосившаяся, хорошо, что ещё не развалилась. Да, видать, подсобляло ей что-то. Всё вроде бы ладно, но тогда почему у Тоши нет-нет да и пощипывало на сердце, случалось, со смущением говорил мысленно: «Это хорошо. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой».

Бабы, а потом и мужики, издали завидев их, бредущих по улочке, отмечали как бы даже с удовлетворением, что Тоша и Тоня подходили друг к дружке: и росточку были одинаково малого, и в лицах у них сыскивалось что-то сходное, вроде бы смущение одно на двоих, с которым они, видно было, справлялись не сразу.

— Глядишь, и заживут на радость себе и людям, — говорили. А самые смелые из баб утверждали, что тут не обошлось без Господней воли, пособившей Тоше и Тоне найти себя. И, кажется, были правы. Подтверждением тому стали слова, сказанные Тоней по секрету одной из старушек, будто де Тоша после того как побывал в волчьей яме, видит небесные домики, страсть как похожие на наши, точно бы те тоже из-под руки мастеров вышли, которые в своё время подняли поселё на берегу Байкала. Тоня просила, чтоб старушка никому не сказывала про это, и та вроде бы сдержала слово, непонятно только, как люди узнали про диковинное. Но узнали и живёхонько разнесли по Подлеморью чудную новость. Дошла она и до ушей Тоши, и он вздохнул, но всего-то поворчал маленько, да и запомнил про неё. Другое в ту пору беспокоило. Как-то брёл по вёрткой вихлястой лесной тропе и вдруг ощутил движение земли под ногами. Нешибкое, едва обозначенное в ближнем пространстве. И хотя стояло тихое, без малого ветерка, ведро, деревья загудели, запоталкивали друг дружку, потянулись к жёлтым облакам враз взбаламученными ветвями. А потом Тише помнилось, будто и скалы, зависшие над тропой, зашевелились, сначала не так, чтоб уж очень приметно, но с каждой минутой это невесть отчего случившееся шевеление набирало обороты, сумрачно сделалось окрест, и это посреди белого августовского дня, и вот уж и синий клочок неба, зависший над распадом, почернел, потом и вовсе исчез. Тьма окружила Тошу, и он едва ль не наощупь отыскал подле ближнего дерева пенёк, сел на него и закрыл глаза. Что-то происходило в душе, точно бы ещё не принадлежащее ему, но уже ясно дающее о себе знать. Зачем? Для чего?.. Помнится, то же чувство испытал Тоша, когда очнулся после того, как был поднят из ямы и ощутил во всём своём существе что-то новое, как бы даже приподнимающее над землёй. Вроде бы всё тогда оставалось по-прежнему, однако ж глаз стал зорче, и он мог и малые иссиня-белые капли увидеть на чёрных стволах, отодвинутых на приличное

расстояние, а про меж ветвей крохотных птах, о которых прежде понятия не имел. Они были чуть побольше стрекоз и верещали так громко и задиристо, что у Тоши заболели уши. Всё ж не хотелось бы, чтоб птахи замолчали. А время спустя и на сердце поменялось, слегка отодвинулась свичная с натурой робость, что прицепилась к нему в малолетстве и уж не отпускала. Заместо неё проснулось что-то превносящее в него уверенность. И возникла мысль: «А может, никого тогда не было рядом с мной, и я всё напридумывал, приятно ж сознавать, что Господь и тут не оставил меня своей милостью? Может, тогда я сам без посторонней помощи выбрался из ямы после трёхсуточного пребывания в ней. А не то пошто бы руки были сплошь в ссадинах и порезах?»

Да, перемена в нём случилась после того, как «погостевал» в зверьей яме. Он по сию пору не знал, кем был освобождён из плена и куда подевалась боль в коленях. Не помнил, как оказался на тропе, которая вела к дому. А до того, кажется, сидел, прислонясь спиной к дереву, и не чувствовал мороза, не приведи какого лютущего, будь по-другому, осинки, склонявшие к нему свои кудрявые головы, не дрожали бы так сильно. Скоро дрожь передалась Тоше, и он едва поднялся с земли и, цепляясь холодными руками за ближние деревья, валко и медленно побрёл к дому. А в голове всё выстукивало: «Так чё же стряслось-то, отчето я чувствую перемену в себе: вроде бы отступила опаска, которую испытывал, когда шастал по глухой тайге. И я ощутил себя принадлежащим не только здешней земле, а и синему клочку неба, что опять возжётся над распадом, и деревьям, что растут вдоль тропы, и большому зверю, который теперь осторожно продвигается по дальнему лесному околотку...» Тоша не видел изюбря, но чувствовал его присутствие близ солонцов, отступивших от болот, которые огибала тропа, версты на две. Он ходил сюда и раньше, но не для того, чтобы пострелять. Терпеть не мог охоту, хотя со старым охотничьим ружьём, доставшимся от отца, не расставался. И даже иной раз брал в руки шомпол и зачищал ствол. Но это так, для того лишь, чтоб занять руки. Без дела-то он не мог, начинал скучать, и тогда невесть какие мысли приходили в голову, порой и отчаянные, невесть к чему влекущие. Смутные какие-то, вроде бы норовящие отвратить его от теперешней жизни и сказать, что не всё в ней так уж гладко, скорее, чаще погано, и не надо бы цепляться за неё, лучше поискать в душе, ведь ты ещё не вышел в тираж и в руках у тебя сохраняется какая-никакая сила.

Но, придя домой и на скорую руку затопив печку и сидя подле неё, дожидаясь Тоню, которая с утра умотала на отчее подворье чего ни то поделат в огородец ли, во дворе ли, Тоша прогнал обеспокоившие мысли и не мигая глядел, как бойко горят дрова в печном чреве, взблескивая смоляными потёками.

Через час пришла Тоня, и Тоша рассказал про то, что ходил нынче в кедровник, «худо там, всякая непотребь грызёт орех», а потом в который уж раз заговорил про то, что надо бы им жить вместе, одним домом. «Неча держаться за развалюху, чую, не долго ей стоять». И опять услышал в ответ смущенное: «А ты погодь маленько. Погодь. Не время ишо». Она и в первый раз, очутившись в его доме, сказывала про это. И в третий. И в десятый...

В Подлеморье всё чаще начали случаться землетрясения. От этого ли, оттого ли, что людям, отлучённым от моря разными подлыми указами, нечем стало кормить семью, поселье изрядно захирело. Всё шибче на подворьях то тут, то там запостукивали топоры и заскулили бензопилы, вгрызаясь острыми зубьями в заматеревшие от долгого недвижения толстые сухостоины. а кое-где настежь распа-

хивались ворота и оттуда уходили гружённые домашним скарбом грузовички, за которыми понуро брели бывшие хозяева Подлеморья. Что-то ждёт их впереди?..

В те поры кто-то из баб вспомнил, что внучек бабки Авдотьи, уже давно погребённой на дальнем кладбище, якобы сказывал соседу, что задолго до того, как начинает шевелиться земля, он чует беду, только в ум не возьмёт, как поведать про неё. Небось, не поверят, засмеют.. Но бабы поверили, до сей поры помнили, как мучительно отходила в иной мир Авдотья. И только тогда отошла, когда передала своё тайное знание внуку.

На самом-то деле, так ли это было, нет ли, не знал и сам Тоша, хотя иной раз в сонном полузабытье что-то такое накатывало, вроде бы как воспоминанье. Но да всё ли в этом мире зависит от человека?.. Не зря бабы поверили Тоше. Он и впрямь много чего сохранял в душе, и нет-нет да и подсказывал кому ни то, и мужик делался пуще прежнего осторожен, а когда сорвавшийся после проливного дождя со скалы камень перебуторивал на подворье, крестился и благодарил однопосельца.

Ну, ладно, бабы... Им сам Бог велел быть безоглядными среди мирских одёжек, норовя примерить каждую из них. Но поверили в то, что Тоша понимает в движении земли, и учёные мужи и зачастили к нему в избу, особенно после того, как он предсказал сильный камнепад на сто двадцать девятом километре, где скалы угрожающе зависали над «железкой», угрюмоватые, за неделю до того, как те, будто ошалев, запokaчивались, как лодчонка на волне. Когда б не Тошино предупреждение, могло стрястись и худое: по «железке-то» иной раз и поезда ходят... Спрашивали учёные мужи, как же он, с помощью какой-такой силы распознаёт движение земли. А он, чего ж, отвечал легко: «Чутьё у меня такое... И не сказать, чтоб в радость мне. Бывает, что и мучает, и сна лишает».

Надо сказать, чутьё ни разу не подвело Тошу. И только однажды... Да уж ночью вдруг проснулся, помнилось, будто де земля под домом задрожала, и звонкий, как если бы набатный гул пронёсся над ближними скалами. Пошарил глазами по избе. Тони не было. Видать, подуставши, осталась ночевать в отчей избе. Вышел на крыльцо. Тут-то и увидел большой чёрный камень, перегородивший дорожку в огородец. Догадался, что камень упал с ближнего гольца. Заколотилось сердце. «А Тоня-то одна в своей развалюхе. Как же она там?.. А чё, ежели...» Сорвался с крыльца, выбежал за воротца и, чуть только помешкав, поправляя рубаху, которая вылезла из штанов, рванул по улочке вниз, туда, где надрывно, точно бы предвещая неладное, шумел Байкал. А земля под ногами опять зашевелилась, и, подталкивая Тошу в спину и подгоняя, подул резкий, вроде бы застуженный, с хрипотцой, понизовик.

Тоша как ошпаренный ввалился, ощущая усиливающееся под ногами шевеление земли, на хилое подворье, где стояла изба, вроде бы сделавшаяся ещё меньше и неказистей, глянул по сторонам, надеясь увидеть Тоню, но не увидел и махом, откуда только силы взялись, одолел редкие скрипучие ступеньки зашатавшегося крыльца и распахнул дверь. Хозяйка, закутавшись в шаль, как если бы её знобило, хотя с чего бы в такую-то духоту, что висела нынче над Подлеморьем, сидела за кухонным столом, подперев подбородок иссиня-белыми руками. Увидала Тошу, смутилась, скинула с себя шалевую накидку, спросила обеспокоенно:

— Чёй-то случилось, на тебе лица нету?..

Она, кажется, ни о чём не догадывалась, хотя на кухне уже чувствовалось нездешнее напряжение в воздухе, правда, тут оно было не так заметно, не то, что на

улице, где было жесткое, и не сказать, чтоб знобящее, скорей, холодное и упрямое. Поди, справься с ним!..

Тоша подбежал к Тоне, взял её за руку, сказал задышливо:

— Пошли отсель!..

И тут изба зашаталась, заскрипела всеми своими древесными связями, а потом накренилась на бок. Тоня ойкнула, растерянно глянула на Тошу, как если бы намеревалась спросить: «Пошто бы так-то? Иль в чём-то я провинилась пред Господом?..» И — заревела в голос. И был голос надрывен и страшен, и вроде бы принадлежал не одной женщине, но ещё и морской волне, что в те поры вдруг набежала на каменистый берег, высоченная, и заглядывающим в окна скалам, которые, помнилось Тоше, иль так и было, стронулись с места. Краем уха услышал, как где-то жалобно запричитали бабы, и, надо думать, мужики захлопали дверями, отчаянно, а порой матерно ругаясь, и пряча за руганью жесткое недоумение: «Пошто бы так-то?..» А ведь и верно, пошто бы?.. Про это в какой-то момент задумался и Тоша, не оставляя надежды вывести вконец перепуганную Тоню из уже полуразвалившейся избы. И не успел. Дрожа и выстанывая что-то тоскливое, упала крыша, осыпав ходуном заходивший под ногами пол жёлтой мёртвой пылью.

Ямщик, не гони лошадей

Я стоял у окошка и со странным чувством робости, а вместе и смущения разглядывал ныне пустующий, по крайней мере, так мне показалось: на окнах отсутствовали занавески, а кое-где были выбиты стёкла, — четырёхэтажный дом, соседствующий с кардиологической больницей, куда меня привезли после очередного инфаркта. Я не знаю, откуда пошло это чувство, что сделалось тому причиной. Я многого нынче про себя не знаю, в какой-то момент всё, что было в моей жизни, как и сама она, грешная и путаная, ломающая в душе, раздробилось, рассыпалось, подобно карточному домику, а в другой раз собрать его некому. Я вроде бы ещё живу, но теперь уже иной, как если бы не до конца принадлежащей мне жизнью. И в ней я не всегда властен над собой, мне порой кажется, что я и вовсе утратил власть над своими мыслями, и всё, что я нынче, облачаюсь в больничные одёжки, делаю, я делаю не потому, что так мне хочется, а потому, что это надо кому-то ещё, может статься, существу более сильному, чем я сам, чему-то бесформенному, едва различимому, пребывающему в духе. Иной раз мнится, будто де сей дух кружит над моей головой, и тогда я напрягаюсь, начисто отключаюсь от того, что теперь окружает меня, порой и соседа своего по больничной палате не вижу, хотя он стоит рядом со мной и вроде бы о чём-то спрашивает. Я не слышу его, не слышу и того, что исходит из моей души, нынче до предела ужатой, сделавшейся чуть ли не прозрачной и потеснённой какими-то порой вялыми, а порой отчаянными желаньями, явно пришедшими ко мне со стороны. Конечно ж, отчаянными, какими ж ещё, коль скоро норовят, впрочем, с моего согласия утянуть меня в свои слабо мерцающие про меж неближних звёзд просторные дали, где нет ни тепла, ни света, а только что-то ледяно искрящееся, чуждое тёплой небесной глади, которая осталась где-то позади. Странно, у меня столько с нею связано, а я уж не всегда про неё и помню.

Я не знаю, долго ли продолжалась моя гонка невеста за чем, ведь нельзя же называть те дали свичным для слуха именем иль хотя бы прозвищем, обыкновенные

слова, рождаемые нынче в моей голове, бессильны, хоть ты тресни, ничего путного не сыщешь. Вроде и есть что-то, с чем я иной раз общаюсь, пытаюсь понять в нём, бесформенном, а толку-то?.. Вот и нынче это нечто, на мгновение-другое приблизилось ко мне и, привычно обдав холодным дыханием, пропало в сумеречной неблизи, прибавив в душе смуты. И я с ещё большей настырностью стал разглядывать соседствующий с моей больничкой дом, пока не вспомнил: жена говорила, что прежде в нём было родильное отделение, и тут она, будучи студенткой госуниверситета, родила сына. Он был хорошим парнем, как мне теперь думается. Когда подрос, по своей воле пошёл в армию, а уж после службы, работая где ни попадая, а чаще на маленьких, на ладан дышащих заводиках и фабричках то слесарем, то сборщиком разного рода металлоконструкций, закончил тот же университет, что и мы с женой. Возмужал и окреп духовно, и у него появились друзья. И я решил, что у сына всё наладилось, и та подлая жизнь, которая вламывается в наши дома, обошла его стороной. Но не тут-то было. Эта жизнь оказалась подлей, чем я думал о ней. Доконала-таки и его. Он вдруг утратил интерес ко всему, что прежде глянулось, и лицо осунулось, и в глазах появилась тоска. Та самая, лютая, от которой не уйдёшь просто так, по первому зову чего-то, хотя бы и от Божьего света отколовшегося. Коль скоро она зацепила кого-то, то уж не отстанет. Я пару-другую раз пытался поговорить с ним, но он смотрел на меня так скорбно и устало, вроде бы даже с участием ко мне, и я отступил от своего намеренья. А потом я попал в больницу, когда же меня выписали, жена сказала щемяще тоскливо, по кровинке выплескивая боль из своего сердца, что сын умер. «Наш сын умер...» А дочь, у меня есть дочь, дивное существо, с малых лет без чьей-либо подсказки со стороны потянувшееся к Богу и с тех пор ни разу не поменявшее в душе, от всего ж прочего как бы и вовсе отвернувшееся, сказала тихонько, дрогнувшим голосом:

— Ты был слаб, и мы побоялись за тебя, и не сказали сразу о смерти моего брата. Ты уж прости нас...

Я стоял и смотрел в окошко всё с тем же чувством робости и смущения, к которому, впрочем, примешалось ещё что-то, может статься, и по сей день не покинувшее меня горестное недоумение, когда я узнал о смерти сына. Я смотрел в окошко и думал: «Отчего же так?.. Сын ушёл из жизни, а я, старик, живу. Где же тут справедливость? И надо ли искать её в том, что нам отпущено свыше?.. Сказал бы, нет, не надо. И сказал бы неправду. И так считаю не только я. Ну и что?.. Иль смута, рождаемая в людских сердцах, не одного корня, и не требует для своего удовлетворения от каждого живущего на земле что-то своё, особенное?..»

Вздохнул, а потом попытался в который уж раз за последнее время сыскать такое, что приуменьшило бы сердечную боль. Но так ничего и не сыскал. В голову лезло невесть что, а только не то, что надобно было бы мне теперь. Да и где, в каком краю можно отыскать нечто, способное отодвинуть сердечную боль? Иль есть такой край на земле? Впрочем, может и есть, только не для меня, впадшего в отчаяние, которому не видно конца. Пробормотал вяло: «Вот и верь после случившегося со мной книгам, призывающим не впадать в отчаяние. Да как же этого добиться, Господи?.. Но, может, и ты не знаешь как?..» Огорчённо развёл руками: надо ж, договорился Бог весть до чего... Вот что значит, когда в затылке покалывает, а в голове совершается кружение, и ты боишься сдвинуться с места, и напряжение, которое живёт в тебе, усиливается. Как тут оторваться от окошка и отвести глаза от дома, что так заинтересовал меня ещё в ту пору, когда я ничего не знал про него, но чувствовал с ним какую-то чуть ли не родственную связь.

Это неправда, что люди лишь про меж собой роднятся. Бывает и по-другому. Я, к примеру, уж давно ощущаю сродни братней привязанность к священному сибирскому морю. И чувствую себя не в своей тарелке, коль скоро подолгу пребываю в разлуке с ним. Потому-то, едва сойдя с электрички, поспешаю на иссадненные камнями, то и дело упдающими с гольца, зернисто жёлтые берега, а потом долго сижу, опустив ноги в прохладную воду, и чувствую, как на сердце делается всё ровней, и то, что прежде расталкивало, замутняло в нём, мало-помалу отодвигается, нередко и вовсе исчезает.

А соседу по больничной палате что-то потребовалось, и он стал всё настырней подталкивать меня в спину и даже попытался отодвинуть от окошка. Чудной у меня сосед-то, ему вроде бы уже за шестьдесят, а порой ведёт себя совсем как пацан, вдруг пристанет: «А скажи-ка, брат, сколько ножек у сороконожки?..» Ну, скажешь, сорок, он посмотрит на тебя как на очумелого и хмыкнет под нос:

— Зря ты веришь каждому знаку. Небось, всяк на земле с малолетства обучен врать. Врут и дворники, и министры.

И не дай бог возразить ему, замучает своими рассказами. Ему, судя по всему, глянется выискивать в людях непотребное и говорить про это едва ль не с восторгом. Вот и ко мне он, видать, долго присматривался и углядел-таки чего ни то... Ну, есть у меня такая привычка: коль скоро мне грустно, закрываюсь в себе и напеваю что-либо под нос, чаще это «Ямщик, не гони лошадей...»

Уж больно песня подходит под моё теперешнее душевное состояние. Нет-нет да и помнится, что отмотал я своё на земле, «вот тебе и край...» И ничего уж не светит впереди. И пора бы складывать манатки. Однако иной раз страсть как не хочется. И я говорю мысленно: «Не поспешай, брат, успеется ещё».

— «Ямщик, не гони лошадей...»

Сосед, видать, уж не раз слышал эти слова из моих уст, и однажды спросил с усмешкой на круглом дряблом лице:

— А кроме этой песни ты чего-то ишо помнишь?..

Я пожал плечами и не ответил.

— Ну, чего тебе?.. — нынче обернувшись к соседу, спросил я с досадой. Он посмотрел мне в глаза и, видать, углядел что-то, отчего тут же вроде бы даже ростом сделался поменьше и, сутулясь пуще прежнего и пуще прежнего припадая на левую ногу, повреждённую в трамвайной давке, поплёлся к двери. Я облегчённо вздохнул и опять оборотился к окошку, тут-то и увидел, как роддом, теперь я по-другому и не называл четырёхэтажное, серое от толстого слоя пыли, налипшей ему на бока, строение, стронулся с места и, покачиваясь из стороны в сторону, начал медленно скатываться с тёмно-рыжего, наверно, от той же пыли, отчего бы ещё-то, косорылого пригорка к широкой, искряно-синей реке, которая протекала внизу, по-сибирски своенравная, привыкшая с уважением относиться к себе, чему не помешали даже высоченные чужеродные плотины, поменявшие в её первоначальном облике.

Я зачарованно смотрел на роддом, слышал, как он скрипел всеми своими связями, и не знал, как быть. Наверно, надо бы кому-то сказать про это. Но кому?.. Соседу, что с утра до ночи, сорвав бинты, разглядывает свою ногу? Да он и с места не сойдёт, хотя бы и небо вдруг упало на землю. А больше рядом со мной никого нету. И врача нету. Нынче суббота, и мы, больные, предоставлены самим себе: делай, что хочешь, только не пей горькую в палате. Не то живо отправят домой. А домой не хочется. Тут хоть кашей накормят. А в обед, если повезёт, и мясным супчиком.

Впрочем, при большом желании я мог бы сыскать и среди болящих людей равнодушных, кому не по боку моя тревога. Но, пока я думал об этом, больничка, где я пребывал, тоже стронулась с места и потянулась следом за роддомом. Так они и двигались, едва не задевая друг друга, спокойно, вроде бы никуда не поспешая, и можно было подумать, что продельывают это не в первый раз. Ничего себе!.. А куда же деваются люди из домов? Неужто их всех надо искать теперь на дне реки?.. Я покрутил головой, норовя отогнать дурные мысли. Но это не удалось, как не удалось определиться во времени, в котором нынче пребываю. Со мной нередко случается такое, и я не всегда могу сказать, в какую пору живу, и всё, что происходит, теперь ли происходит, иль было давно, и кто я есть, принадлежу ли сегодняшним дням, а может, тем, другим, сокрытым во мраке. Про это, думаю, догадывается моя жена. Но молчит. И ладно, что так. Было б хуже, если бы она приставала ко мне со своей догадкой.

Я вспомнил о жене и, напутав во времени, подумал, что она лежит теперь в больничке с малюткой-сыном. У меня заныло на сердце: как же так, родные мои там в большой опасности, а я нахожусь вроде бы недалеко от них, но ничем не могу помочь им. Впрочем, кто сказал, что не могу?.. Просто надо поднапрячься и, не обращая внимания на тупую боль в коленях, постараться дойти, опираясь на палку, до конца длинного, сумеречного коридора, какие чаще бывают в больницах, после чего осторожно, держась за перильца, спуститься с высокого крыльца. А там уж рукой подать до того дома.

Я так и сделал. И скоро оказался в палате, где лежала жена с новорождённым. Она увидела меня и спросила с испугом в голосе:

— Ты как тут оказался?.. Зачем?.. Завтра меня с сыном выписывают. — Вдохнула: — Ты как всегда поторопился.

Я не сразу вспомнил, что подвигло меня прийти в роддом. А когда вспомнил, заговорил про напасть, которая угрожает, и попытался убедить жену довериться мне. Она выслушала, и на лице у неё я не заметил и малого волнения. Это расстроило. И я усиленно стал искать в памяти слова, которые убедили бы жену. И, в конце концов, кажется, нашёл и уж набрал в грудь побольше воздуха, чтоб произнести их. И не успел. Жена протянула мне белокудрого круглолицего мальчонку, завернутого в одеяльца, а помешкав и как бы даже удивляясь моей неумелости, хотя удивляться тут было нечему, сказала негромко:

— Ты поаккуратней с первенцем-то. Не тискай. А не то у него разболится головка.

Я ощутил тепло от живого комочка — и разом запечатывал про своё намеренье, а сердце забилося сильно-сильно. Я испугался, как бы не выскочило из груди. Что я без сердца-то, небось и ребёнка не удержу на руках. Только подумал про это, как всё окрест поменялось, и я уж не видел жену, и не было ничего, что сказало бы про мою встречу с прошлым. Впрочем, уж позже я понял, что-то всё-таки осталось. Может, сыновий дух? Им, казалось, был пропитан воздух в палате, и от рук моих, ныне ничем не занятых, пустых и заметно охолодавших, тоже исходил этот дух. У меня помутилось в голове, и я уж вовсе не принадлежал себе и тому времени, откуда вышел, теперь я был где-то в небесном пространстве рядом с большими и малыми тенями, они кружили подле меня, изредка касаясь моего лица невидимыми крыльями. Это были удивительные прикосновения, после них я ощущал себя не чужим в небесном пространстве, казалось, тени с удовольствием приняли бы меня, когда б истёк срок моего пребывания на земле. Но тот срок ещё

не истёк. Знать, для чего-то я потребен земной жизни, которая, грешен, порой делалась такой постылой, что я готов был бежать от неё хоть на край света. И, может, убежал бы, когда б знал, где тот край.

Чаше всего подле меня оказывалась тень, сходная с обликом моего сына. Её прикосновения к лицу были особенно трогательны и вызывали во мне желание и вовсе не расставаться с нею, хотя я понимал, что это невозможно.

— Нынче я был в палате, где ты родился, и видел тебя, совсем ещё крохотного, и твою маму, тогда и вовсе молоденькую. И мне было хорошо с вами и не хотелось никуда уходить. Но потом вы исчезли, и так неожиданно, что я не успел ничего сказать. Вы куда-то торопились?

— Да нет. Просто нужно было развеять твоё беспокойство, и мы, по совету своих ангелов, растворились в пространстве. Если бы этого не сделали, ты мог бы так и остаться в той палате, — сказала тень сына и заколыхалась, точно бы подталкиваемая хлесткими порывами ветра. Но окрест стояла гулкая тишина, а лёгкие перистые облака, что заволакивали солнце, были и в малости не колеблемы.

— Тут не дуют ветры, — выдохнула из себя тень сына. — Тут во всякую пору не страгиваемо даже в малости.

Я уловил лёгкую досаду в сыновьем голосе и заволновался. Помнилось, ему захотелось увидеть что-то ещё, помимо постоянной нестрагиваемости в пространстве, что-то превносящее новину в его теперешнее существование в духе. А это могло не понравиться кому-либо. И я сказал дрогнувшим голосом:

— Ты нынче принадлежишь другому миру, и мало следовать тому, что отпущено людям, поменявшим форму. И не искать чего-то другого.

Казённо как-то получилось, скучно, и мне сделалось совестно за те слова, что были произнесены мною, и я извинился бы за них пред тенью сына, но та вдруг исчезла, оставив меня одного посреди огромного неподвижного пространства.

Я по первости растерялся, но потом взял себя в руки. Всё ж за долгие годы жизни на земле я научился быть ровнее в своих чувствах, не выпячивал их, не впадал в крайности, губительные не только для души, а и для ближнего окружения, хотя бы и для берёзки, что выросла подле моего байкальского домика, сияюще светлая, как если бы вся устремлённая к небу. Порой я подходил к ней в расстроенных чувствах, и тогда она, словно бы угадав, старалась подсобить избавиться от напастей, что без спросу пролезли в мой огород и теперь упрямо не желали уходить. Берёзка начинала пошевеливать ветвями, пошумливать, хотя даже и малым ветерком привычно не тянуло снизу, где протекал по весне боёвый горластый ручей и откуда иной раз накатывал буйный верховик. Берёзка что-то успокаивающе нащёптывала мне на ухо, и я оглаживал её, и кончиками пальцев чувствовал лёгкое дрожание, исходящее от неё. Было жаль деревце, которое тоже не обретёт покоя, и я говорил про эту свою жалость, а ещё про то, что так и не научился держать удар, и всякая, порой даже малая неприятность могла поломать во мне что-то. Берёзка, я чувствовал, с вниманием выслушивала всё, о чём я говорил, а потом и вовсе расшевеленная в своём древесном естестве вроде бы начисто утрачивала осторожность и принималась пуще прежнего раскачивать ветвями, хотя по-прежнему было тихо, ветром и не пахло. И можно было подумать, что она использовала родовую силу, что искони жила в ней и к которой обращалась лишь в крайнем случае. Неужто теперь приспел такой случай?..

Да, мне делалось неловко, и я упорно искал оправдания своей откровенно явленной слабости, что заставила обратиться за помощью к ещё неокрепшей бе-

рѣзке, не обретшей уверенности, что так приметна в старых деревьях. И мысленно просил у берѣзки прощения за то, что нечаянно, по собственной глупости потревожил сущее в ней, отчего она теперь долго не придѣт в себя. Уж я-то, привыкши наблюдать за нею, знал про это. Надо сказать, прежде я много о чѣм знал и не только о деревьях, а и о птицах, о малом зверье, которое нередко выходило из лесу и подолгу шарилось подле моего крыльца, порой и вовсе не обращая на меня внимания. Должно быть, привыкло к хозяину, знало, что если теперь он стронется с места, то лишь для того, чтоб зайти в избу и вынести хлеба ли ломоток, козьего ль молока в миске.

Наверное, так и было, и меня это устраивало, как и моих гостей. Про меж нас завязалось нечто, отдалѣнно напоминающее дружбу. И когда зверушки подолгу не приходили, мне становилось скучно. И я, нередко и в лютую снежную зиму с яростно гудящими ветрами, сталкивающимися с тропы даже большого сильного зверя, вытаскивал из кладовки широкие охотничьи лыжи, обшитые камусом, в своё время подаренные мне здешним егерем, становился на них и шѣл в ближнюю тайгу. В дальнюю-то я и раньше не ходил, чего бы я там потерял, коль скоро и тут хватало малого зверья.

Я успевал пройти по зверьей тропе, а то и целиком, по затверделому снежному насту, вѣрст пять, не больше, как встречу мне непременно выталкивался бурдучок иль бельчонок. Они подкатывали на легко скользящих по снегу лапках, которые почище лыж будут, успевай только держать убаг, заглядывали мне в лицо покраснелыми кругляшами глаз, как если бы сгорали от нетерпения, дожидаясь, когда я скину рюкзак наземь и развяжу тесѣмки... А дождавшись и чем ни то угостившись, долго не отходили от дерева, под кроной которого я сыскивал место, чтоб перевести дух. Когда ж дыхание делалось ровнее, я говорил про то, что негоже забывать старых друзей и надобно хотя бы изредка заглядывать на огонѣк. Не знаю, понимали зверьки меня, нет ли, думаю, кое-что передавалось и им, озорно и весело глядящим на мир. А не то почему бы после моих странствий по ближней тайге на другой ли день, через день ли, на моѣм подворье можно было увидеть следы пребывания малых таѣжных зверушек, а потом и их самих?..

Утром ко мне в больничку пришли жена с дочерью. И были они сильно взволнованны и долго не могли найти себе места в тесной палате. От них я узнал, что ночью у меня был сильный жар. Надо сказать, мне и теперь не доставало сил оторвать голову от подушки. А ведь день назад вроде бы всё во мне пришло в норму, и лечащий врач был доволен мною. Но да чего уж там!.. Годы-то не те...

Я смотрел на дорогих моему сердцу людей с нетерпением: «Ну, ладно, был у меня жар... А дальше-то что?..» Из путаных слов жены, облитых болью, понимал, что я умудрился в донельзя разобранном физическом и душевном состоянии, когда и берѣзки не отличишь от осины, а небо мнится так низко зависшим над головой, что, кажется, можно дотянуться до него рукой, только слабость такая, что и не пошевелишь ею, висит как плеть, я умудрился выйти на улицу. Что было со мной потом, жена не знала. Как не знала, долго ли я лежал на сырой земле про меж двух домов и пристально, не мигая, смотрел в небо, и можно было подумать, что уже отошѣл в другой мир. Медбратья, поутрянке вышедшие на крыльцо покурить, по первости так и подумали. Но когда я слегка пошевелился, сделались расторопны, дали мне капель, а потом поставили на ноги и, поддерживая с двух сторон, отвели в больничку. И я ещё неделю пролежал в палате. Теперь я дома, и солнце светит в окошко, по-осеннему скуповатое на тепло. А и ладно, что так-то. Могло быть и хуже.



НАДЕЖДА ТЕНДИТНИК

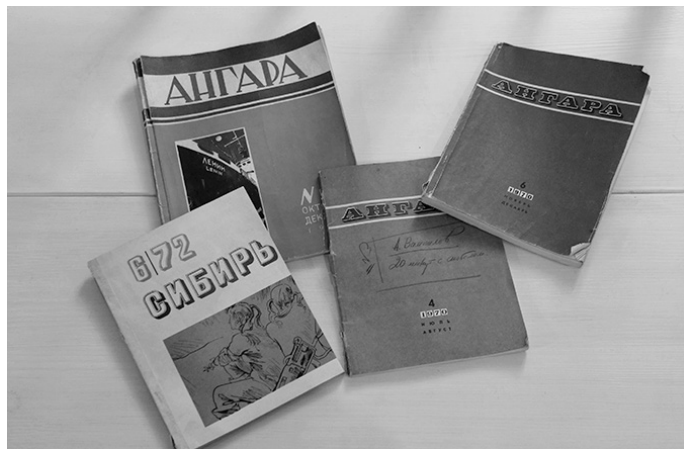
Неразгаданный Вампилов

О «ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ» ДРАМАТУРГА

На большинстве фотографий Александр Вампилов запечатлён молодым, ироничным, схваченным в момент розыгрышей, остроумных шуточек вроде письма запорожцев или трёх богатырей на развилке дорог. Однако же последние четыре-пять лет его жизни были трудными, насыщенными, как сейчас принято говорить, стрессовыми ситуациями.

В 1967 году он завершил лучшую, главную пьесу — «Утиную охоту». О публикации нечего было и мечтать, и он отдавал её на чтение друзьям, издателям, театрам. В Иркутском областном драматическом театре обсуждение её обернулось крахом. Тогдашние талантливые, строгие в своих требованиях актёры — Крамова, Юренев, Руккер — единодушно осудили взгляд драматурга на молодёжь, которая у нас всегда считалась передовой и идейной. Завлит театра Р. Курбатова после рассказывала: «Александр был поражён, потрясён, гневно сказал, что пьесу осудили люди устаревших представлений. «А я вот и есть Зилов, и все мы — Зиловы!»...»

Потом наступило время тревог: а вдруг пьеса попадёт за кордон, и что тогда? История с романом «Доктор Живаго» Б. Пастернака была слишком поучительной.



Журналы, где публиковались произведения Александра Вампилова

Публикация «Утиной охоты» в альманахе «Сибирь» в 1970 году была делом случая. Усыпили бдительность руководителя Иркутского обллита Н. Козыдло и не ведали, какой ценой будет суждено драматургу заплатить за выход пьесы. Мы тогда жили в одном доме с главным цензором, и я знаю: он бушевал не один год. Через четыре года после публикации

пьеса попала в Италию, была поставлена, вызвала много шума, и Н. Козыдло рассказал: в Москве стали выяснять, кто осмелился такое напечатать, и высочайшее негодование вновь обрушилось на него. Вампилов до этого времени не дожил.

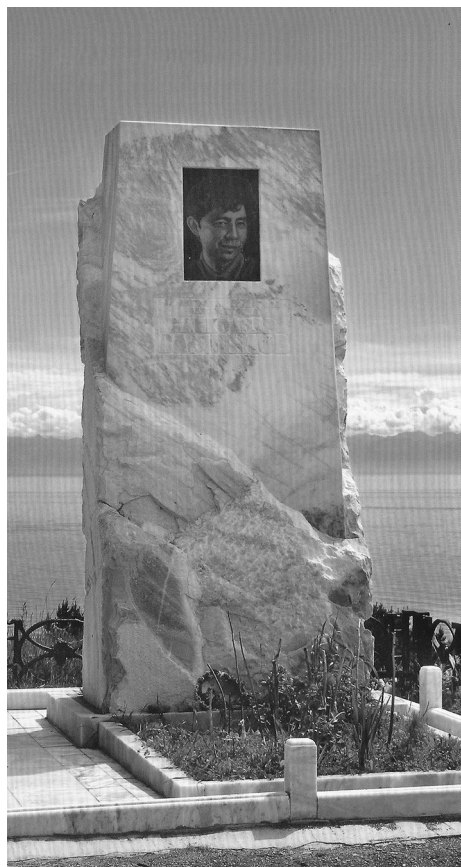
Вслед за выходом из печати «Утиной охоты» последовало памятное мероприятие — выездное заседание комиссии ЦК КПСС в Иркутской писательской орга-

низации. Надо было видеть лицо Александра Вампилова перед началом. Куда-то исчезла его лёгкая, добрая улыбка, и сам он словно уменьшился в росте. Слава богу, всё тогда обошлось благодаря В. Гусеву, не позволившему сделать оргвыводы. Правда, на местном уровне тяга к этому не исчезла.

Нельзя не удивляться мужеству драматурга, много пережившего с «Утиной охотой» и вновь обратившегося к острым социально-нравственным проблемам в драме «Прошлым летом в Чулимске». Как будто стремился высказаться, самореализоваться до конца. Стоило в обллите узнать, что «Сибирь» подготовила к публикации новую пьесу, как разразилась гроза.

Публикация была остановлена. Писатели добились коллективного обсуждения пьесы в присутствии Козыдло. Много было сказано о ней добрых слов, но под конец обсуждения раздалась реплика В. Шугаева: «Ну что ты, старик, так отстаиваешь «Валентину» (первое название пьесы. — *Н.Т.*), ведь Валентина-то у тебя не получилась!» После чего прозвучал уверенный голос цензора: «Оказывается, у вас нет единого мнения!» И последовало распоряжение — набор рассыпать.

Недолго прожил после этого драматург. Сердце... В холодной байкальской воде оно разорвалось.



Памятник на Байкале, где погиб драматург

Два слова о похоронах. Писательская организация помещалась тогда в маленьком одноэтажном домике на улице 5-й Армии. Мало кто попал на панихиду, и огромная толпа ждала выноса на улице. Не знаю, кто подсказал идею продолжить прощание в здании драматического театра. Пока процессия двигалась по улице, у театра было выставлено несколько табуреток, покрытых старым выцветшим ковром. В здание театра почему-то не пустили. Никто не решился выступить у гроба, и его поспешно перенесли в почти рядом стоящий катафалк.

Вспоминается всё это как в тумане. Поминки состоялись на квартире драматурга по улице Дальневосточной. Как сказано кем-то в те годы, «уж так покойничков мы любим, что хоть ложись да помирай». Пьесы Вампилова пошли в Москве, Ленинграде, других крупных городах. Появилось много друзей и доброжелательных публикаций.

* * *

Наступило время разгадывания загадки Вампилова. Во многом в этом плане стало переломным время издания Фондом Александра Вампилова «Записных книжек» драматурга в 1997 году¹. Четверть

¹Вампилов А.В. *Записные книжки*. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1997. 112 с. Здесь и далее в скобках ссылки на эту книгу.

века — ни много ни мало прошло после гибели! «Не уйти от памяти» — так называлась одна из статей в «Восточно-Сибирской правде», опубликованная в день его рождения, 19 августа 1997 года.

Драматург сам рассказал о себе.

Всматриваясь во всё усложняющийся мир, Вампилов предчувствовал своё недолгое пребывание в нём. Среди записей, оставленных им, есть и такая: «Я смеюсь над старостью, потому что я знаю — я старым не буду» (с. 26). И ещё: «Последнее время я заглядываю в глаза своей судьбе с беспокойством и жду от неё чего угодно» (с. 29).

С творчеством драматурга и прозаика читатель знаком достаточно широко. Лучшие пьесы его поставлены театрами. Обращался к его творчеству и кинематограф. Но даже дотошному исследователю его творческая лаборатория не открылась. Научное изучение вариантов его пьес — а их было множество — пока не состоялось. До недавнего времени были неизвестны его суждения об искусстве и политики. Записные книжки, как и дневники, не всегда отражают подлинность воззрений. В них могут присутствовать варианты новых задумок, фразы, принадлежащие будущим персонажам. Но очевидно главное: запечатлена пронизательность суждений, способность видеть собирательный образ человека 60-х и начала 70-х годов. Это видение не внушало оптимизма, не совпадало с официальной оценкой ситуации в стране, вызывало запреты цензуры. Иные доброхоты советовали Александру объявить себя представителем национальной бурятской литературы, чтобы давление ослабло. Такой путь не был принят.

Поразительно, но на страницах «Записных книжек» дана ёмкая характеристика 1997 года. Жизнь планеты — в руках учёного кретина, который «может взорвать атмосферу. Отсюда — абсурд: вся философия, культура и т. д. зависят от состояния (а оно ненормальное, испорченное алкоголем и совершенными в это время наркотиками) одного человека» (с. 6).

Абсурдное существование общества и человека Вампилов предвидел. Его становление как гражданина и писателя совпало с началом этого процесса. Бессильные попытки приостановить процессы переоценки ценностей сопровождались давлением на сознание с помощью узаконенной Конституцией 6-й статьи — об усилении руководящей роли партии; критика культа личности сменялась созданием новых смехотворных культов Хрущёва и Брежнева. Вину за сегодняшние и грядущие потрясения драматург возлагал на общество, на его духовную деградацию и пассивность. «Мельчим, мельчим. Стараемся все жить тихо, без врагов и недоразумений. Все друзья, все хорошие, со всеми ладим — запечная, тараканья философия. Утюги, томагавки!» (с. 79–80). Не этот ли контраст — утюги и томагавки — смотрится и сейчас как итог страусиной позиции обывателя на фоне усиливающегося международного противостояния? Это обернулось не новой войной («Лишь бы не было войны» — так оправдывали в те годы преступное молчание и терпение), а рукотворным крахом государства.

В ту пору, когда возрастал авторитет двух выдающихся мастеров литературы — В. Распутина и А. Вампилова, — прозаик старшего поколения В. Марина, имевшая на них большое влияние, сказала: «Вот загадка личности: Распутин по характеру суров и необщителен, а в творчестве мягок и милосерден к своим героям. Вампилов же улыбчив, общителен, а к героям своим суров и требователен». Это замечено верно. Даже в рассказах из книги «Стечение обстоятельств», написанных по большей части в студенческие годы, выразилась идея, их объеди-

няющая: «сценки из нерыцарских времён». Что уж говорить о духовной лениности учителя Третьякова, о беспечном равнодушии к теме мировой скорби у Колесова, Гомыры, Бусыгина, не говоря уж о Зилове. Да и Шаманов, спрятавшийся от проблем своей профессии в Чулимске, разве не оставил в нём печальный итог своего опустошения?

В «Записных книжках» множество подтверждений выводам драматурга о состоянии человека в условиях, когда интересы рядовых людей ежедневно и ежедневно попирались во имя неких высоких идей и ради светлого будущего. Кстати, к мысли о важности организующей идеи в судьбе страны писатель возвращался неоднократно.

Пишет Вампилов и о фанатизме «чрезмерной святости» идей, полагая, что они ведут к изуверству и появлению типа «улыбчивого мракобеса». Драматург знал цену отработавшим идеям, за которые люди умирали и умирают, понимал, как опасно их несоответствие укореняющимся безобразиям. Цена этому — неверие. Вывод звучит так: «Опричники, коммунисты, фашисты, лейбористы, маккартисты — всё это временные категории. Дураки, умные, любимые, нелюбимые — категории вечные» (с. 106). Остро ощущал писатель, какой ценой оплачивается торжество навязанных обществу идей. «Идеи мы отстоим, но у нас не будет детей... С человека, который знает, что у него не будет внуков, трудно спрашивать» (с. 107).

Читая подобные записи, удивляешься провидческому смыслу высказываний совсем молодого человека, при жизни которого понятия «зомбированность» ещё не было. Он видел людей, «загипнотизированных своим будущим», и сравнивал их с лягушками, которые против воли прыгают в пасть ужа (с. 75). Расхождение высоких идей с прозой жизни рождало ложь, «которая стала естественной, как воздух. Правда сделалась исключительной, парадоксальной, остроумной... Говорите правду, и вы будете оригинальны» (с. 74). Сказать так мог человек, много раз испытывавший это на себе. Позиция «лицом к правде» всего дороже стоила ему самому. Он не терпел компромиссов и был убеждён в том, что идея и дело неразрывны. «Ложь не экономична», — сказал в те годы герой пьесы «Человек со стороны» Чешков. Герои Вампилова находили ложь и шалопайство в людях старшего поколения, всё чаще представляемых литературой и прессой носителями окаменевших истин. «Старики, спекулирующие своим прошлым» (с. 90) — эта запись указывает на существование подобного явления, и оно небезопасно для воспитания молодёжи, всё чаще начинающей жить, «не разбирая ни радости, ни тоски — просто, прямо, глупо (делают что надо). Может быть, они мудрецы! А мы просто психи» (с. 104). Однако же примириться с появлением «людей без мировоззрения» писатель не мог. Он считал их равными преступникам, которых «надо сажать в тюрьму».

* * *

Александр Вампилов остался в памяти совсем молодым, но он возвращается в нашу современность провидцем, в своих предчувствиях и прогнозах опередившим время на десятки лет вперёд. Обстановка холодной войны охарактеризована в его «Записных книжках» как всеохватывающее безумие: «Человечество готовилось в свой последний крестовый поход» (с. 108). «Скоро все полетим к чёрту, и я не хотел бы, чтобы вы были этому очевидцем» (с. 81), «жизнь в основном проиграна» (с. 83), «в груди, будто в печной трубе, воет ветер» (с. 80) — он всё чаще

говорит о жестоких парадоксах эпохи. В поисках мира человечество бросилось в гонку вооружения, и «я никогда не прощу физикам, что они могильщики» (с. 106). Ведь угроза жизни, сознание, что мир конечен, проецировались на поколение незащищённое, «слабое, хилое, выросшее на «колосках» и на мёрзлой картошке» (с. 98).

Отмечены драматургом явные признаки социального расслоения. Материальное благополучие всё чаще проступает как идеал. Кажется, что уже и сама «луна разменялась на сто мелких монет» (с. 82). Открытием в этой области стал Золотуев из «Прощания в июне», а официант Дима из «Утиной охоты» стал знаком будущего.

Сегодня уже очевидно, что делячество этих персонажей совсем невинное по нынешним временам. Оба они, в конце концов, были трудягами и придерживались хоть каких-то принципов. И не похожи на нынешних «новых», совсем не с неба свалившихся.

Вампилов не знал слова приватизация, хотя уже в те годы появилась подмена понятий. Так, например, спекулянт незаметно превратился в фарцовщика. Ныне эти люди — герои дня. Но вот как охарактеризована драматургом атмосфера 60-х — начала 70-х годов: «Вот мы строим, лазаем в грязи, а построим город, положим асфальт, насадим тополей, и тогда придут сюда они — с бабочками, в манжетах, будут разгуливать по главной улице, и будет стыдно нам ходить по ней в спецовках» (с. 35). Что предвидел драматург в будущем, мы не знаем, но, в сущности, он определил качество строя, откровенно обретавшего черты государственного капитализма, взамен которому придёт дикий капитализм, и те, кто строил, в одночасье потеряют всё, что созидали годами.

Чётко обозначил писатель и смену идеалов. «Теперь, — читаем в «Записных книжках», — нравятся молодые люди с собственными машинами, а не с собственным мнением» (с. 32). Стало заметно, как за высокими словами скрывается новый образ отношений: «Человек человеку — Красная Шапочка» (с. 45). «Бетховен не повторится, — с горечью пишет Вампилов. — Чем дальше от Бетховена, тем больше человек (в известном смысле) будет становиться животным, хоть и ещё выше организованным. В будущем человек будет представлять из себя сытое, самодовольное животное, безобразного головастика, со сказочным удобством устроившегося на земле и размышляющего лишь о том, как бы устроиться ещё удобнее». И совсем уж актуально звучат слова о времени Пушкиных и Бетховенов, которое «будет рассматриваться как детство человечества. Головастик скажет: «Как ребячились люди! Занимались какой-то поэзией, как это?.. музыкой. Что это такое? И зачем она им тогда понадобилась?»» (с. 11). Парадоксы времени проступали в сознании Вампилова в разных вариантах.

Страна строилась, её могущество было очевидным. Но отчего вскоре идеал строителя, создателя стал меркнуть? Исполненные горькой иронии слова: «Мимо жизни — это значит теперь — мимо стройки» (с. 33) или: «На наших стройках теряется каждый третий кирпич» (с. 95) — не насмешка над энтузиазмом, а упрек времени, безжалостно эксплуатировавшему труд и духовный потенциал народа.

«Записные книжки» Вампилова говорят об отнюдь не благостных переменах во взглядах на любовь и семейную жизнь. Появляется образ женщины, ради творчества кинувшей детей, и женщины, страдающей в очередях. В сознании писателя ещё живёт представление о любви, которая не знает и не принимает холодной логики. В устах его новых персонажей всё выглядит иначе. «Слова «любить», «люблю», «любовь» звучат... страшно неестественно» (с. 36). А разве нельзя при-

менить к Галине из «Утиной охоты» заготовленное драматургом откровение: «Я люблю тебя, но в то же время я готова к чему-нибудь новому»? (с. 38). Ещё одна любопытная запись: «Как это скучно — любить за положительность» (там же). Рационализирующемуся сознанию и распушенности писатель противопоставлял способность прощать, любить бескорыстно, «говорить нежности и делать глупости», вкладывать в чувство всего себя. «Любовь — творчество, у бездарных она — нудная драма с утыгом в валенке» (с. 108).

«Записные книжки» поражают глубоким смыслом кратких, афористичных, наполненных гражданского и человеческого смысла обобщений. В сущности, все сегодняшние понятия о «демократии», национальных претензиях, богатых и бедных, о провинциальных нравах и их новых носителях, об атмосфере в творческой среде, об инфляции слов и понятий в сложнейшем XX веке и т. д. и т. п. помечены в этих личных, но столь значимых записях впрок.

Трагическое мироощущение Вампилова не мешало ему любить своих зачастую не идеальных героев, и поэзию искусства он искал и находил «только на земле». Своим истинным домом и примером высокой гармонии считал природу. Он был уверен: правда не в людях, а в природе. Ярче всего символом святости проступает в его записях образ русской берёзы, ветви которой и ствол тянутся в небо. Душевный порыв к небу был главным и в судьбе нашего прославленного земляка.

* * *

Глубинному проникновению в творческую лабораторию Вампилова мешало отсутствие архива. Находясь в частных руках, он пропутешествовал из Иркутска в Омск, из Омска — в Братск, из Братска — в Москву. Он оказался разбросанным в виде новых публикаций в газетах и журналах, пока не появилась книга «Александр Вампилов. Избранное» (М.: Согласие, 1999), в которой предположительно собрано всё. Предисловие В. Распутина «С места вечного хранения» подверглось сокращениям, обеднившим текст, написанный в 1997 году, к 60-летию со дня рождения драматурга.

Есть претензии как к издателям «Записных книжек», так и книги «Избранное» — за их недостаточную научную оснащённость. Недостает (в «Записных книжках») дат и комментария. В книге «Избранное» иные ранние рассказы трудно принять за вампиловские тексты — так они слабы художественно. Надо ли было их публиковать?

Особо хочется сказать о заметках «Об А. Твардовском». В комментарии к ним сказано, когда и где Вампилов встретился с поэтом, о симпатиях Твардовского к молодому писателю, о его предчувствии: «...Вампилов далеко пойдёт» — и ни слова о том, каким неожиданным, малоприятным выглядит в них сам Твардовский. Как это объяснить? Земляки отмечают: Александр любил Твардовского и даже собирался предложить ему для печати «Утиную охоту». Не успел или понял, что в «Новом мире» драматургия вроде бы не печаталась? А может, и не мог обратиться по простой причине: над журналом к 1967 году, когда была завершена пьеса, нависла гроза, а потом и уход Твардовского. Возможно, эти заметки, наполненные малоприятными воспоминаниями о литературных нравах послесталинского и хрущёвского времени и стали основой задуманной, но неосуществлённой пьесы «Несравненный Наконечников»?

Как разгадать написанное? Нам кажется, мы знаем о Вампилове всё, но нам ещё предстоит открыть его.

* * *

Все знавшие писателя помнят о его нравственном максимализме. Что же формировало его духовный мир, духовный образ, столь неповторимый и тогда, и сейчас? Завеса была приоткрыта его другом — поэтом А. Румянцевым в книге «Александр Вампилов: студенческие годы» (Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993).

1993 год! Не знающее удержу разоблачение культа личности позволило поэту попасть в архив КГБ и опубликовать никому доселе неизвестные факты. Друзья Александра единодушно отмечали, что сам он не любил рассказывать о себе, и это понятным стало лишь в 90-е годы.

И по материнской, и по отцовской линии он был наследником потомственного духовенства, а на дворе — стойкий атеизм. Помнится, как одна иркутская писательница сказала с сожалением: «А ведь мать-то у Саши — поповна!» Разумеется, в Анастасии Прокопьевне ничего от поповны не наблюдалось. Она была человеком светским, но глубоко воспитанным и религиозным внутренне.

Родословная драматурга уходит корнями в православие. В истории Иркутской епархии не раз упоминается фамилия Копыловых, причастных к трудной службе в глубинке Сибири и Якутии.

Дед Вампилова по матери, Прокопий Георгиевич Копылов, — из кимильтейских крестьян. Долго помнило старшее поколение иркутян его дар проповедника в знаменитом, позднее взорванном кафедральном Казанском соборе Иркутска. Бабушка, Александра Африкановна (в девичестве Медведева), окончила в семнадцать лет епархиальное училище в звании домашней учительницы и многое сделала для воспитания четырёх внуков — Михаила, Галины, Владимира и Александра. Среди детей Прокопия — охотоведы, инженеры-строители, врачи.

По линии отцовской драматург происходил тоже из религиозной среды. Прадед по отцу Вандан Вампилов в молодости был ламой, а потом принял крещение и новое имя — Владимир. Трое из одиннадцати его детей получили образование в Санкт-Петербурге. В роду прадеда были министр образования Монголии, учёный-биолог, врачи, педагоги.

У Александра, сына учителей, были все основания гордиться своей родословной, но жизнь диктовала иное поведение: скрывать, откуда родом, молчать, что он — сын и внук репрессированных, хотя к годам его студенчества ослаб нажим на выяснение анкетных данных. Не потому ли позднее он просил Анастасию Прокопьевну написать о себе всё, что она могла знать и помнить.

* * *

Лишения военного детства, постоянная нужда и бедность, сопровождавшие в студенчестве, да и что говорить, в писательстве, отразились в выборе героя, в милосердном отношении к нему, в строгой требовательности. Вместе с ними драматург пошёл дорогами провинциальной глубинки, прочувствовал её беды и возможности, проник в мир студента, разнорабочего, официанта, инженера, адвоката, администратора гостиницы, экспедитора, метранпажа, неисправимого шалопая...

Поражает в этом собирательном образе незащищённость человека. Отсюда и новая, непризнанная и осуждаемая, созданная художником модель мира — трагикомедия. Трагический облик опасной реальности проступит через двадцать — двадцать пять лет, уже в посмертной жизни Вампилова.

Получалось как в «Записках из мёртвого дома» Ф. Достоевского: живые души

в мёртвом доме. Реакция на это была острой. В народной, особенно молодёжной, среде черпал драматург самые что ни на есть разнообразные начала жизни, в которой трагическое и смешное шли рядом.

Вампилов оставил немало свидетельств интереса к театру народному, в котором видел возможность объединить все виды искусства: музыку, пластику, пантомиму, а также возможность избавления от режиссёрских представлений от актёрских амплуа. В его пьесах максимально концентрировались действие и время, позволившее чётко определить точку переломов и катастроф сознания.

Как истинный мастер в области трудного жанра, Вампилов вполне оправдал суждения Гегеля о драматическом действии как самом ясном, выразительном раскрытии человека. К несчастью, основным фактом бытия становился разлад духовных сил человека, а не воплощение в нём «известного и божественного» (Гегель).

Главное открытие драматурга, источник его переживаний, взлёта и мук — Зилов — был прорывом в мир, где попораны все нравственные представления. Нет ни одной заповеди православного мирозерцания — «чти отца своего», «не прелюбодействуй», «брак чист и ложе не скверно», — не попорненной им. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн незадолго до кончины выделил самые важные начальные духовные дарования человеку: дух целомудрия, нестяжания, кротости, трезвения, покаяния, смирения и любви. Всё это в мире вампиловских героев утеряно, и угроза превращения общества в стадо вполне осуществляется. И это не просто настроение и поведение одного лишь Зилова или его компании. Это — мир.

У Вампилова, как справедливо отмечалось в критике, нет и не могло быть, как у Достоевского, обращения героев к Евангелию, проникновенных слов о Христе, открытого выражения взгляда на духовное состояние общества. Историческое время и обусловленное им сознание проступает в «Утиной охоте» в сцене утреннего возвращения Зилова к жене, которой он лжёт безбожно и в этой лжи запутывается. Как видно по ходу действия, Зилова лирикой воспоминаний тронуть невозможно. Его реплики относительно Бога, церкви, семьи убийственны по своему цинизму и пошлости. Порабощённость материализмом просматривается на каждом шагу.

Довольно часто упоминается о смерти, но мысли о ней слишком отдалены от религиозного ощущения. Это не то жертвенное её восприятие, какое может быть у человека верующего: смерть как страда, последняя трудная работа, которую нужно выполнить достойно. В компании Зилова игра со смертью превращена в балаган. Сопровождающий действо похоронный мотив с ёрническим вариантом создаёт ощущение агонии. Из «Записных книжек» можно извлечь близкую тому запись: «Вся жизнь — это перед смертью» (Избранное, с. 675).

В жёсткой критике Вампиловым сложившихся в молодёжной среде представлений о ценностях жизни явственно проступила мировоззренческая целостность понятий о добре и зле. Нынешним насмешникам над коллективизмом противостоит его, по-своему выраженная, идея соборности: «Все люди — братья». Врождённая религиозность определила мастерство изображения православных основ русской души.

Даже у падшего Зилова не угасла, живёт любовь к земле и природе. Он не мог убивать, сострадая меньшей братии. В нём не иссякла щедрость души, он способен к раскаянию. Сердцем, а не воображением продиктованы в пьесах духовные заповеди, попорненные и обесчещенные.

Совпадение духовно-нравственных воззрений автора и героини состоялось в пьесе «Прошлым летом в Чулимске».

Образ Валентины вынашивался всерьёз. В. Распутин вспоминает, как тяжело переживал драматург разрешение судьбы героини — самоубийство в первом варианте пьесы. От такого финала он отказался, и не потому, что боялся цензуры, а из сострадания к героине и понимания греховности этого акта. В статье «Душа жива» Распутин пишет о Валентине как о натуре жертвенной, способной отозваться на чужую бездомность, противостоять расчётливому, жестокому веку, спрямляющему пути. «Такая красота могла бы спасти мир, если бы мир пожелал быть спасённым»².

В «Записной книжке», помеченной 17 мая 1972 года, — надо полагать, пометкой последней, — встречаем сюжет, герои которого — бригадир лесников и незваная гостья в его бригаде — не сразу находят общий язык. Слезы, смешные и настоящие, брань и трудное сближение, столкновение судеб должны были привести к выводу: «В целом же вся эта история замышляется для того, чтобы, говоря высоким слогом, сохранить и приумножить человеческое в человеке» (Избранное, с. 684).

Светлый мир пьес Вампилова был дан ему свыше, и именно он определил отношение драматурга к зрителю и читателю. Добрый взгляд на человека живёт в его творчестве и прочно связывает его с великой традицией русской классики.

Нынешнее грубое перераспределение ценностей в области литературы, попытка демонтажа тысячелетней культуры и разрушения самой ткани национального искусства ведутся неспроста. Это не что иное, как духовное мародёрство и вызов утверждённому в веках представлению о величии русской литературы. Расхищение духовных кладовых и противопоставление им иных, западных ценностей ведётся иначе, чем на ранней стадии большевизма, когда возможно было «дать залп» по «есенинщине» и по «русским блинам» в литературе. Ныне настойчиво и с энергичной последовательностью предлагается иной путь — отторгнуть православную традицию с помощью синтеза разных «цивилизаций», базой которых объявлены «общемировые ценности» и «общечеловеческие стандарты». Православная традиция, с точки зрения новых растлителей и разрушителей, должна уступить место идее всесмешения, опрокидывающей духовные ориентиры и мобилизующие человека начала. Но в условиях катастрофических разрушений, пережитых народом, отчётливо вызревает возвращение к истокам православного сознания. Это пребудет вечно и спасёт русскую цивилизацию. У этих истоков стоял и Вампилов.

* * *

В последний раз я видела Александра Вампилова в конце июня 1972 года, за полтора месяца до гибели. Он поднимался по лестнице старинного дома, где временно размещался филологический факультет.

Он казался озабоченным и усталым.

— Помогите устроить Ольгу (жену) на работу...

Нуждался. В связи с запретом «Чулимска» перспектив не видел. Или что-то предчувствовал?..

Стариком не стал.

Жить остался молодым.

Москва. 2001. № 9. С. 98–108.

²Распутин В. Душа жива // Вост.-Сиб. правда. 1987. 24 окт. С. 4.

Тот самый ангел...

Есть на белом свете то, что в мире жадности, которым управляют машины, никак не маркировано и не может стать его частью, не может стать иконой — символом смысла, значком, потерявшим самый смысл. Мир этот одержим особенным желанием присвоить всё невинное, что находится в пределах досягаемости. Ему неподвластно лишь то, что уже присвоено любовью. Но и она больше не знает меры, и она потребляет сверх возможного, сверх достаточного. Любовь становится страстью обладания, в объятиях её гибнет прекрасная завязь, как гибнет начало плода на больном растении. Что может выжить? Невинность и чистота, которые остаются свободны, слово, которое произнесено без оглядки.



Тетрадь стихов Александра Вампилова

* * *

Географически Вампилова нет нигде. Это удивительная особенность его силы, характеристика этой силы.

Наполовину бурят, он никак не отразил «национальное самосознание» — ни в одном рассказе, ни в одном очерке, ни тем более в пьесах. Те, кто бывал среди восточных народов, по-

нимает: это неожиданно. «Род для бурята — всё», — торжественно произносит главный хранитель кутуликского краеведческого музея, милая бурятка. На стенах музея развешаны фотографии хонгодоров, представителей отцовского племени, и на почётной стене напротив входа в экспозицию — Вампилов, его самый известный портрет. Вокруг — сёстры, братья.

Рядом с музеем чернеет вампиловский дом, старый учительский барак на несколько семей. Мимо него смотрит бронзовый драматург, мимо дома, где он вырос с матерью. К ней, русской учительнице, оставив бурятскую семью, ушёл его отец.

Родители страстно любили театр и литературу. Они и сошлись, отчасти, на почве театра, из этой почвы явился и Вампилов. И если что-то и досталось ему от отцовского рода, то это (здесь следует отойти подальше и на расстоянии, как на живопись, сделанную крупными мазками, посмотреть) волнующая, почти болезненная и здесь, пожалуй, родовая связь с драматическим искусством. Среди хонгодоров (племени, вышедшего из монгольских степей к Байкалу три века назад) необыкновенно много актёров театра и кино, а также писателей. Один из выдающихся бурятских улигершинов Платон Степанов, «певец Платон», проживал

в соседней деревне. Но я не знаю, слышал ли Вампилов рассказы Степанова о приключениях бурятских богатырей на земле и на небе.

Экзотических национальных особенностей, наследственности, которая по вкусу этнографам, для Вампилова словно не существует — он об этом даже не умалчивает, не выдаёт ни одной фигуры умолчания. Природа будто бы оставила его в покое. Предложения пойти по «национальной линии» выводили его из себя. «Однажды коллега Вячеслав Шугаев предложил это, мол, будет легче. Вампилов вскипел...» — живы ещё университетские приятели, которые помнят его острый, воистину, драматический, характер.

Весь Вампилов сосредоточен на матери. Мать — высокие женские образы, чистота, проясняющее и утверждающее начало. Оно абсолютно, ему ничто не противостоит — в пьесах у Вампилова нет смерти. Поединок разворачивается в плоскости морального переживания. А здесь, полагаю, сыграла роль как раз материнская наследственность — предки матери служили по священнической линии — рай и ад сражаются внутри человека.

* * *

Ад и рай были местом битвы внутри него. Эта коллизия описана в каждой пьесе, к ним делает намёки-наброски в рассказах.

Поэтому всякая география чужда ему — кроме географии внутренней. Моральная карта путешествий и есть драматургия провинциальной жизни. Как верно заметил Лев Аннинский, «райцентр... место равноудалённое от земли и неба». Райцентр — это место объективности, сцена без лишних вещей, ровная и прямая. То место, откуда можно начинать отсчёт. Занавес ещё не нужен. Зрители размещаются на каменных ступенях. Они наивны.

«Райцентр» в этом контексте читай «человек» — как персону, как поле сражения, как пьеса, которая разыгрывается. Каждый из нас представляет собою «райцентр» — место действия, ни маленькое, ни большое. Адекватное: древнее чувство меры, золотая середина, свойственная была и Вампилову, метису, ребёнку Запада и Востока, существу пограничному.

...Думаю, нет ничего удивительного, что в работах по сибиреведению среди других авторов Вампилов не упоминается или упоминается редко.

* * *

Примирение: две крови — русская и бурятская, два места — деревня и город. Уроженец райцентра, который, по существу и в отличие от других ближайших райцентров, — в полной мере, со всех сторон, деревня.

Житель старинного Иркутска, издавна сосредоточившегося на том, чтобы не отстать от столиц. Честолюбивый, как сам город, он везёт пьесы в Москву. Но страстно мечтает приобрести дачную халупку в Порту Байкал — маленьком посёлке, охватившем подковкой мыс Баранчик, лезущем в гору вместе со своими огородами. Здесь обзаводились дачами иркутские писатели: исток Ангары, Шаман-камень, Кругобайкальская железная дорога — красота, романтика, история. Отсюда он вышел в последнее, трагическое, плавание.

* * *

«Я его увидел так: его внесли в комнату общежития и положили на кровать как был, в прорезиненном плаще с клетчатой подкладкой. Следом внесли командирскую сумку¹». Вампилов был смертельно пьян.

«Первый его брак — это, скорее, мезальянс, на котором он настоял. Люда Добрачева, дитя кукольной красоты, «девочка из хорошей детской», уступившая напору настырного старшекурсника, продержалась в браке три года. Вампилов был, что называется, «ходок». (В провинции, которая гордится, не принято открыто говорить о вопросах пола, когда речь идёт о «священной корове» вроде Вампилова. Иногда кажется, что эти коровы бесполы и размножаются, как одуванчики, воздушными семенами.) К тому же человек характера непростого, колкого, взрывался легко, нетрезвым — особенно легко. О калитку Людмилиного дома он как-то ещё в цветочно-прогулочный период в сердцах разбил старинную семейную гитару».

«О нём пишут как будто он святой. Но он всем дал характеристики...» Взрывной, саркастичный, бурятский характер.

«Временами он был диковат».

Из него пытаются сделать позитивного клоуна, ходячий рай, того самого ангела, который появился вдруг к двум алкоголикам и предложил денег. Но помните ли, какой это ангел? — колхозный агроном, человек, отчаянно избывающий свою вину перед другим человеком и собственной душой. Освобождающийся: хотел сделать хорошее одному, да не сделал, но добрая энергия не должна пропасть, она будет отдана другим. Даже если другие не смогут её взять. Этот «ангел» — также и Зилов. Персонаж заострённый, существующий на грани воспоминания и реальности, в одиночной камере чистилища. Он ведёт молчаливую беседу сам с собой.

* * *

«Он жил так, как будто не замечал советской власти» — он жил так, будто вне времени и пространства. Его герои разыгрывали свои драмы среди скуки поистине чеховской. Здесь он существовал как бы среди естественных вечных декораций. И декорациями служили не таёжная героика и бодрящие условия сибирскихстроек, а провинциальная благодать и провинциальная нищета — очищенный от лишних влияний воздух; пища как необходимость, а не роскошь; чувства как первоизданный хаос; внутренний выбор как инструмент для умирения этого хаоса. Вечное человеческое как оно есть.

Достижения сибирской стройки, которую Вампилов декларировал, как и другие сотрудники советских газет на их огромных страницах, в пьесах вдруг показали себя с другой стороны: они не дали главного результата, ничего в человеке не изменили! Достижения обнулились мгновенно, выйдя за пределы очерка, за пределы молодого восхищения всеобщим подъёмом. И появились Колесовы, Шамановы, Бусыгины, Зилковы и другие. Появились города, обесчещенные типовым строительством, малолюдные депрессивные посёлки, юность которых прошла, а зрелость так и не наступила.

В пьесах — не укор стройке, героике, преодолению, а лишь печальная констатация: жизнь не роман, «люди живут везде одинаково», как выясняют загодя

¹Здесь и далее приводятся мнения, суждения современников Вампилова, чьи имена автор не называет.

ещё герои вампиловских очерков. В том смысле, что куда бы ты ни бежал от себя, никуда всё равно не убежишь.

И Зилов сидит в типовой своей квартире, обыкновенной, где и взгляд-то задержать не на чем, сидит в типовом доме типового микрорайона, окружённый дождём. Это дождь Маркеса, дождь в Макондо, который божественным одиночеством запечатывает человека — тебя в тебе, внутри, неизбежно. Недаром в записной книжке помечено: «Все города в дождь одинаковы». И где бы ты ни был, твой ад и твой рай, и твой выбор — внутри. И будешь ли ты жить воображаемой жизнью, испеля себя мечтой, предвкушая самое прекрасное и откладывая его на потом? Или справишься с реальностью и выйдешь, наконец, на свою утиную охоту. И скажешь себе, что ты за человек. А то получится, как у Чехова: «Что прикажете делать с человеком, который наделал всяких мерзостей, а потом рыдает». Выходи на охоту.

Да, утиная охота становится просто охотой, убийством уток. Но однажды придётся это признать, а то ведь так и будешь вечно стоять с важностью идиота, побрякивая деревянными утками на поясе. И ради этого открытия не нужно никуда ехать, даже из дома выходить не нужно, ведь всегда находишься в одной и той же точке пространства — в самом себе.



Письменный стол Александра Вампилова

у Шаманова, прошлое большое, драматическое, оказавшееся вдруг не по зубам. Прошлое есть и у Зилова — его родители живут далеко, пять часов самолётом, полсуток на пароходу и ещё на автобусе, к ним не так-то просто добраться, а это значит, что Зилов — пришлый человек, приехавший, скорее всего, за романтикой, но оказавшийся в ловушке вполне чеховской скуки.

* * *

Вампилов есть продолжение Чехова в новом времени — и его преодоление. Чеховское «подводное течение», проявленное в словах переживание героя, у Вампилова обогащается более старым материалом, классическим поступком героя.

«Спящие» пассивные герои Вампилова — осознающие своё положение (они, все же, выросли на Чехове и в состоянии поставить себе первичный диагноз), но утратившие желание к действию, о чём и заявляющие: не хочу, не вижу смысла. Шаманов желает на пенсию, Зилов ничего не желает. Они лишены «изначального изумления», которое испытывает человек перед лицом мира» (Ю. Эвола).

Часто герои Вампилова имеют биографию как бы за пределами пьесы. У них есть прошлое. Есть прошлое

А может быть, они — другое? Вроде как лишние люди, Онегины, Печорины, Базаровы сибирскихстроек? Но в таком случае что лишает их желания действовать? Потеря энтузиазма, связанная с тем, что всё построено? Разочарование в том, что построенное никоим образом не меняет существа жизни? Что оно не решает экзистенциальных проблем? Мы не ответим однозначно. Как, полагаю, на момент последнего путешествия не было ответа и у Вампилова.

* * *

Ещё один любопытный персонаж с прошлым — Сарафанов. Его обычно относят к трогательно положительным героям. Пьющий, но смирный, Сарафанов играет в похоронном оркестре. Ему кажется, что дети будут стыдиться его — и он обманывает их, заявляя, что играет в филармоническом. Также он много лет утверждает, что сочиняет большое произведение. Но ничего так и не насочинял. Сочинение — это тоже прятки, та же «утиная охота», на которую возлагаются неадекватные надежды. Но в отличие от спящих, пассивных персонажей, Сарафанов проявляет активность, однако иного рода: женскую, глубокую активность любви. Он любит своих детей, причём, не отцовской, а именно материнской, всепрощающей и принимающей, любовью (согласно условию пьесы, заменяет им кукушку-мать). Он боится отпустить их во взрослую жизнь и счастлив, когда приходит новый «сын». В образе мужчины Сарафанова представлена Вампиловым женская сущность. Эта коллизия, спрятанная глубоко внутри текста, и есть, по-моему, прекрасный плод этой комедии. Поведи Сарафанов себя по-мужски, комедия бы не состоялась.

* * *

Мужское начало до Сарафанова — Колесов, взрослеющий ребёнок, он играет. «Прощание в июне», к которому театры при жизни Вампилова были равнодушны, в общем-то, рядовая (и бытовая) советская пьеса с типичным советским героем: комсомольцем, выбирающим свой нравственный путь. Аналогичный Колесову персонаж, который в «Старшем сыне» имеет фамилию Бусыгин, сталкивается с образом Сарафанова, носителя материнского начала. (Что-то вроде «все вы для меня мои дети» может сказать любвеобильная мамаша, но не отец, который скорее с подозрением отнесётся к внезапно возникшему на горизонте взрослому отпрыску. Такова природа.) Бусыгин — та стадия, когда ребёнок готов отделиться от матери, а ровно и принять её как существо другого пола.

После Бусыгина является Зилов. Он находится в процессе запоздалой инициации. Архетип инициации услужливо подсказывает: вот временная изоляция от родителей и социальной группы, вот и контакты с образами, приходящими из другого мира — из мира воспоминаний, из необъяснимой параллельности; вот мучения, вот и смерть — временная, нестрашная. Мальчик-тёзка с похоронным венком, желание покончить с собой, потом — со всеми. И наконец, принятие реальности — рождение взрослого человека. «Утиная охота» была напечатана без цензуры только по той причине, что иркутский поэт Марк Сергеев, редактировавший в то время областной писательский журнал, орган Иркутского отделения писателей СССР, пошёл на хитрость, понимая, что иначе пьеса напечатана вообще не будет. Дождавшись, когда цензор уйдёт в отпуск, редколлегия «Ангары»

разместила пьесу — спустя три года после её окончания. На сцене она была поставлена ещё через шесть лет. Крамольной в ней была сама мысль о том, что человек должен созреть до самостоятельного решения, а вовсе не тип безыдейного подлеца-героя, что есть клевета на всю советскую молодёжь!

Следом за Зиловым созревает Шаманов. Он обладает уже всеми признаками взрослого мужчины, едет совершать мужской поступок. Однако же делает это, будучи сподвигнут не внутренней душевной работой, а порывом — реакцией на приятное обстоятельство в виде нечаянной любви юной девушки. Сам Шаманов глубоких чувств к женщинам в пьесе не испытывает (недаром, как тяжёлая гирька на весах, в пьесе присутствуют Хороших и Дергачёв — супружеская пара, оттеняющая легковесность прочих любовных отношений в пределах драмы). Но он перерождается под влиянием признания Валентины.

Влияние облагораживающего женского начала — непреодолимая, почти сверхъестественная черта вампиловской драматургии. Она кажется личной слабостью, ведь Вампилов вырос без отца, убитого в годы репрессий, и безмерно почитал мать. Но в момент драматического действия на бумаге или на сцене, эта черта вдруг приобретает вид инструмента, который позволяет преодолеть безнадёжность чеховской скуки — как вида страдания личности.

* * *

Вампилов преодолевает Чехова, презентуя в своих пьесах *Ewig-Weibliche*, вечную женственность. В одних случаях она как бы утяжелена материнским началом, в других — облегчена до состояния символа. Если не принимать во внимание этот факт, то большинство женщин в его пьесах выглядят, как топорно исполненный образ, недостоверный факт или мёртвый шаблон.

Ибо что такое Валентина со своей калиткой в реальном времени-пространстве? Чокнутая девица, которой пора заняться личной жизнью, а не доставать окружающих своей манией. В литературном пространстве Валентина — слащавый, утомительный образ правильной девушки, которая со всей дури своей комсомольской души стремится к излечению общественного сознания от некоего порока, который и обозначить-то трудно (отсутствие уважения к порядку, может быть?). Навязчивая идея Валентины с калиткой и палисадником противоречит здравому смыслу, но не противоречит смыслу символическому. Валентина является главным действующим лицом пьесы, *deus ex machina*, спущенным на сцену в самом начале представления.

А что такое Ирина и Галина в «Утиной охоте» как не символы? Галина — вечная занятая учительница, «бытовая» женщина, а Ирина — юная, свободная, вдохновляющая, муза, одним словом. Сложите две части — и вы получите идеальную женщину в воображении любого среднестатистического мужчины. У Ирины и Галины нет лиц, нет исчерпывающих характеристик, поскольку они — всего лишь части целого. В «Утиной охоте» есть ещё Вера, образ женщины страстной, порочной, с характером, хоть и дурным. Вера противоположна идеалу, это тёмная часть женской сущности. Если к Вере прибавить энергичную и прагматичную Валерию, жену Саяпина, то получим ещё один целый образ, противопоставленный в пьесе сборной «идеальной женщине». А если соберём воедино тёмную и светлую, то получим просто женщину. Женщин Вампилов любил, а они любили его.

* * *

«В университете работала преподаватель, читала античную литературу. Она была воплощенная женственность. Когда она проходила мимо, Вампилов вслед ей громко говорил: «Какова Фемина!»»

В каком же качестве выступает у Вампилова Фемина?

Никогда — в качестве плодородного, рождающего начала. Счастливой, или хотя бы устойчивой, семьи у Вампилова не существует. В описанных им семьях всегда есть какой-нибудь дефект — либо отсутствие членов семьи, либо непринятие кем-либо из них своей роли. Студенческая свадьба в «Прощании в июне» — попытка взрослых отношений, отдающая игрой. «Старший сын» — комическая подмена матери отцом.

Апофеоз этого явления — Валентина, соглашающаяся пойти замуж за Мечеткина, намеренно ввергающая себя в пучину мучений, подобно христианским святым. Первоначальный финал с самоубийством Валентины не мог удовлетворить Вампилова. Самоубийство декларирует слабость, а вечная женственность сильна. Валентина берет на себя грехи окружающего ее человечества и согласна их искупить. Чем не христианский образ?

(Рассматривая Валентину как характер, мы, конечно же, с большим сочувствием, спровоцированным житейской логикой, отнесли бы к её самоубийству. Пассивность, неспособность взять на себя ответственность за собственную жизнь, заикленность на проблеме палисадника, влюбленность в мужчину много старше мы сочли бы инфантилизмом; согласие выйти замуж за Мечеткина — капризом из разряда «так не доставайся же я никому»; а выстрел — результатом несчастной слабости характера, настолько же случайным, насколько и закономерным. Это ведь не Катерина из «Грозы», придавленная своим диким семейством как социальным обстоятельством. Валентина в любом случае свободна делать глупости...).

* * *

Фемина у Вампилова — это всегда либо волшебное преображение, либо справедливый суд. Преображение: девочки-эльфы, невинная женственность, девственность с единорогом, мудрая юность — таковы Таня, Маша, Валентина, Ирина. Суд вершат взрослые героини, наделенные опытом, — Галина, Вера, Кашкина, Нина.

Где-то они действуют сообща, как Ирина и Галина в «Утиной охоте». Ирина, которую читатель и зритель отождествляет с невинной женственностью, вдруг соглашается на плотские отношения, да ещё и в чужой супружеской спальне — она приходит к Зилову, когда уезжает Галина: Галина совершила свой суд, и ей на смену приходит Ирина, создающая условия для некоего искривления (пока — не преображения). Зилов оказывается в ситуации, когда ему самому становится очевидно: он лжец. И заключительное, третье действие пьесы проходит в трансляции «правды» — якобы того, что думает Зилов о людях и обстоятельствах. Но «правда» разворачивается в провокацию, в скандал — поскольку герой говорит правду не об окружающих, а о себе. Он видит себя собственным внутренним взором. И это грустная правда — Зилов ни во что и никому не верит (в общем, пьяная реплика «Мы обвенчаемся в планетарии!» — отличная характеристика для этого персонажа). Наконец, Галина и Ирина воссоединяются в воображении Зилова в «видениях из первой картины» (такова на этот счёт ремарка самого автора), собственно, вся «Утиная охота» — это внутренний диалог Зилова, в заключительным строках

которого он вынужден признать, что утки существуют, их едят и они вкусные. Зилов выходит в реальное измерение, каким бы оно ни оказалось и каким бы настоящим он ни оказался в нём.

Существует ещё одна любопытная интерпретация финала — официант Дима убивает Зилова на охоте. Но Вампилов не любит убивать своих героев, предоставляя им возможность для маневра. Мёртвый Зилов уничтожил бы всю пьесу, не пройдя инициацию и не воскреснув. Как передаётся из уст знакомых драматурга, сам Вампилов видел, что выживший Зилов — «это ещё страшнее». Здесь я вынуждена заметить: всё настоящее всегда страшнее. Зилов, кажется, немного отбил от рук, позволив себе захотеть быть настоящим, перешагнуть внутренний закон драматурга, отрабатываемый в пьесе. Отсюда её загадочность, а на самом деле — пластичность. Эта пьеса — роман, где герой переборол автора и повёл за собой, съехал с заданных рельсов и намерен встать на свою колею. Произошла инициация.

* * *

По моему глубокому убеждению, настоящая литература лежит за пределами литературы. Естественный её источник — личность автора. Но река становится полнокровной, лишь собирая в себя многие и многие воды. Насколько в состоянии автор перейти к нечаянной трансляции коллективного бессознательного, проявленного во времени, настолько объёмным будет и его вклад в искусство, которое само по себе — самая правдивая история человечества. Искусство несёт информацию о выживании и порядке, оно предлагает типы героев, способных исправить пороки настоящего времени. В этом смысле драматургия — теоретически — более всего привязана ко времени, быстрее всего стареет, поскольку стареет и проблема, и способ её разрешения. Кто сегодня помнит пьесы Погодина, в какой-то момент до невозможности актуальные, связанные с мигом в истории? Но есть и другой пример: кто сегодня не знает Чехова? Выбираем ли мы лояльность ко внешним факторам или же ищем свободу? — вот и вся разница.

Пластичная драматургия Вампилова не стесняется обратиться к выбору человека не как индивида, а как носителя общечеловеческих нравственных характеристик. Он ставит его в зависимость не от внешних условий, а от декларируемых моральных позиций, которые заключены в тех или иных обстоятельствах пьесы. Выбор, который совершает герой, поистине, сказочный, поэтический. В сказке всегда известно, что добро, а что зло. Вампилов предлагает взглянуть на ситуацию с ясных моральных позиций, когда читателю и зрителю заранее известно, что добро и что — зло. И он приступает к детскому представлению, зная, что серый волк — герой отрицательный. Встанем на позиции детства: невинность и чистота, которые остаются свободны, слово, которое произнесено без оглядки. Вампилов — герой детства, где Запад и Восток ещё едины.

Может быть, усложнённому, информационно перегруженному, рефлексирующему человеку настоящего времени такой подход покажется нарочито простым. Может быть, запоздалым укором драматургу выступит Зилов, вырывающийся из-под опеки набившей оскомину морали. Или женщины, ждущие счастья в будущем, искупающие и терпеливые, превращённые в функцию по закону нашей сказки. Или мужчины, чья мужественность определяется случайным «прозрением» благодаря внешнему раздражителю.

На нашей строгой сцене появление Вампилова с его апелляцией к морали, как к главному фокуснику этого мира, и к любви, принимающей от морали зайца, вынутого из шляпы, настолько же неожиданно, как если бы это явился Оле Лукойе собственной персоной. Было бы понятней — и приятней, — если бы правила любовь. Но она дискредитировала себя, занявшись присвоением. Любовь похудела, стала астеничной, нервной и может закапризничать. Нравственный закон, отождествляемый с моралью, как с действием, со сценическим его воплощением, служит основанием более прочным. А уже за ним следуют превращения любви, очищающие превращения счастливого свойства. И вот тогда, как справедливо сказал Вампилов устами Сарафанова, «вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное...»

«В театре спрессованы все времена...»

О пьесе Александра Вампилова

Очередное обращение к гениальным пушкинским строчкам, которыми восхищались многие (в частности, философ и публицист В.В. Розанов пишет, с каким волнением дочь-подросток читала ему наизусть пушкинское «Воспоминание»: *Когда для смертного умолкнет шумный день / И на немые стогны града / Полупрозрачная наляжет ночи тень...*), побудило нас заглянуть в примечания и узнать, что, оказывается, вторую часть этого стихотворения (там говорится о завистниках, о друзьях-предателях) поэт в свой окончательный вариант не включил. Тогда же подумалось, насколько бы проиграл текст, не претерпев этого интуитивного изъятия. Нечто подобное произошло и с вампиловской пьесой «Прошлым летом в Чулимске» (а мы именно о ней собираемся вести речь!), когда молодой (увы, навеки молодой!) Александр Вампилов вдруг кардинально меняет концовку, и вместо самоубийства Валентины (именно к этому будто бы и шло действие, и ружьё фигурировало не единожды!) мы видим в конце пьесы преображённую молодую женщину, строгую и скорбную от случившегося. Уместно привести здесь в параллель толстовское наблюдение: *«Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, — тем спокойнее и величавее, чем больше и стыднее у ней было на душе».*

В Библии есть интереснейший образ: жало в плоть. Это как раз о том, что хорошим людям судьба посылает самые изощрённые, роковые испытания: ну-ка, выдержишь ли? Но когда идёт заключительная сцена, когда Валентина с ещё большим усердием возвращается к своей личной модели достойного поведения, символом которой является повторяющийся лейтмотив палисадника и вновь восстановленной ограды, вспоминается ещё одна героиня — Татьяна Ларина, умевшая сохранять достоинство и оставаться лучшей среди своего окружения, тем самым мягко корректируя и само это окружение. Так ведёт себя и Валентина с её кротостью, ласковостью и... святостью. Всё большее число её знакомых оберегает калитку и цветы. О нет, не напрасно усилие — то, будто бы иррациональное, которое насыщает жизнь высокими смыслами. Биологам известно: когда растение пересаживают в новую почву, оно сначала заболевает, но потом начинает преобразовывать почву вокруг себя.

Кажется, мы уже начали раскрывать заявленную названием статьи тему о параллельных текстах, о веере ассоциаций, не удосужившись ни обозначить исходную цитату, ни её автора.

Театральный режиссер Владимир Мирзоев, лауреат премии Фонда И. Смоктуновского, переехавший в 1989 году в Канаду и вернувшийся в Россию в 1993-м, пишет: «Но это вообще свойство русского человека сочинять сказки, игнорируя очевидные факты. У нас же воображение богатое, как тайга. Поэтому, кстати, и театр в России так интересен всем — от мала до велика. (Не только в смысле возраста, но и в смысле статуса.) Потому что в театре спрессованы все тексты, все фактуры, все времена» (Книжное обозрение. 2000. 17 апр.).

Спрессованы все тексты... И прежде всего тексты, посягающие на изображение идеала, по которому голодает каждое общество, и наше общество здесь отнюдь не исключение.

В январе 1868 года Ф.М. Достоевский о своём романе «Идиот» (кстати, в этом году исполняется как раз 150-летний юбилей осуществления замысла этого романа!) написал следующее: «Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее... Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь... Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы — ещё далеко не выработался».

Действительно, судьба порой жестоко испытывает своих любимцев, но ведь порой и помогает. «Случайно» на первичное название пьесы («Валентина») «накатилось» название уже идущего в то время спектакля М. Рощина «Валентин и Валентина». Однако нам представляется, что «хронотопное» (время и место!) название «Прошлым летом в Чулимске» на порядок удачнее, и образ Валентины засиял ещё ярче «внутри» пьесы. Мы примерно в одно и то же время, в 70-х годах, смотрели оба этих спектакля, но помнится только калитка и милая девушка, противостоящая социальной разрухе. По пословице «Не стоит село без праведника».

Продолжим цитацию статьи Владимира Мирзоева: «А язык театра очень сложен. Это, по сути, поэзия, причём поэзия, которая разворачивается сразу в нескольких плоскостях...»

Не случайно рецензенты подчёркивали, лиризм пьесы «Прошлым летом в Чулимске», называя её самым поэтическим произведением автора, более того — сказочным. Внимательно перечитывая текст, мы обратили внимание и на мечту Валентины посадить маки, наверное, как самые яркие и беззащитные цветы. В одной из семейных родословных, которые мы много лет собираем в свой 30-томный уже архив, говорится о бабушке, которая любила повторять: *Чего только нет на белом свете — маковом цвете!* Увы, теперь так не говорят, и наркомания по-своему нанесла языковую травму этим сочно-красным или нежно розовым цветам. Впрочем, дело всего лишь в слове, словах. О хорошем вообще писать трудно. Писать не слащаво, не примитивно, не схематично, а убедительно и пронзительно, потому что всегда героя ждёт испытание, ему уготовлено жало в плоть, а зритель испытает катарсис, потрясение и очищение.

Присутствуя на спектакле или читая пьесу, мы не можем не думать о смерти автора на пороге всего лишь 35-летия. Поэт к этому возрасту главное обычно уже сказал. Можно, хотя с большим трудом, представить 35-летнего прозаика, но представить драматурга? Творчество А.В. Вампилова будет вызывать всё больший интерес исследователей, во-первых, потому, что пьеса освещает совсем недавний советский период нашей жизни, который, однако, уже остро нуждается и в переосмыслении и, как минимум, в повторном «прочитывании». А во-вторых (и это, пожалуй, главное!) потому, что перед нами пьеса классического уровня, которая пробрасывает содержательные лучи к самым различным текстам.

Вернёмся к названию — Чулимск. Тот самый Чулимск, из которого не собирается уезжать Валентина. У Александра Вампилова есть рассказ «Конец романа», где девушка не может покинуть город, который ещё только строится. В сплотке «прикладная филология — литературному краеведению», на наш взгляд, целесообразно выделить и такое направление, как поддержка региональной личности, подбор цитат о значимости всех тех, кто живёт не в столицах. Общеизвестны сло-

ва Н.М. Карамзина: «Россия сильна провинцией». Приведём ряд менее известных высказываний. *В деревнях до сих пор живёт значительная часть российского общества. Говорят даже, что там располагается «вторая Россия»* (Знание — сила. 2013. № 9. С. 19). Сергей Есин в своём дневнике пишет: *«Но ведь — это парадокс! — правда-то возникает как раз в региональных изданиях, в разговорах, в замечаниях за столом». «Я родился в маленьком городе, и чтобы он не стал ещё меньше, я никогда не уеду из него»* (Плутарх). *«С процессом демографического сжатия цена индивида возрастает, и в малом городе она возрастает быстрее всего»* (Знание — сила. 2006. № 8). Понимал это и Александр Вампилов.

Группа канадских ученых предлагает рассматривать художественный текст как тренажёр. Лётчиков тренируют на специальных компьютерных программах, как поступать в критических ситуациях¹. Нечто подобное происходит, когда мы читаем. «Прошлым летом в Чулимске» — это ещё и о том, на что способны плохие люди (история с запиской следователя Валентине, перехваченной любовницей следователя) и как полезно всё это знать не только на основе собственного, увы, заведомо неполного опыта, но и на основе сюжетов пьес ли, книг. Вспоминается «Муму» И.С. Тургенева, как соседи Герасима подстроили, чтобы Герасим увидел пьяной Татьяну, в которую был влюблен. Вспоминается наблюдение Ф.М. Достоевского: «...ибо любит человек падение праведного и позор его» (это о Валентине, о её отчаянии и срыве). А в самом «декораторском» рисунке пьесы угадывается А.П. Чехов. Адольф Шапиро пишет о К.С. Станиславском, угадавшем в «Чайке» кантиленность непрерывного развития действия, тональность загадочной пьесы-сонаты. *Точно заметил Станиславский: всё зависит от того, какие «стены» режиссёр закажет для спектакля* (Дружба народов. 2013. № 11. С. 137, 149). Е.П. Муромский во вступительной статье «Мир Александра Вампилова», анализируя пьесу, прозорливо отмечает: «Здесь в полной мере господствует чеховский принцип построения драмы: люди едят, пьют чай, разговаривают, а между тем совершаются драмы, рушатся чьи-то мечты, ломаются человеческие судьбы».

Читающий (именно читающий!) пьесу «Прошлым летом в Чулимске» не может не обратить внимания, с какой подробностью Александр Вампилов прорисовывает место действия, старый деревянный дом в таёжном райцентре. *«На картинах, оконных наличниках, ставнях, воротах — всюду ажурная резьба. Наполовину обитая, обшарпанная, чёрная от времени, резьба эта всё ещё придаёт дому нарядный вид»*. У декораций свой настрой, своя интонация.

«...Спрессованы все тексты». Эвенк Еремеев и мысли не допускает подать в суд на бросившую его дочь. В исследовании А. Цирюльникова эвенков за поведенческий аристократизм называют «французами Сибири».

Как в жизни не самые эрудированные люди иногда проговаривают психологически точные наблюдения, так и в этой пьесе психологически точно выписал диалог:

Кашкина. Не подерутся они там?

Шаманов. Очень может быть.

Кашкина. Знаешь, почему у них так?

¹«Группа канадских психологов из университета Торонто недавно выдвинула идею: так же как обучение на авиационном тренажёре позволяет усовершенствовать навыки будущего пилота, хороший роман служит «симулятором жизни», тренирует навыки жизни в обществе. При этом текст выступает как «обучающая программа», а роль тренажёра выполняет мозг читателя» (Наука и жизнь. 2009. № 8. С. 43).

Шаманов (равнодушно). Почему?

Кашкина. Она его любит...

Шум за дверью усиливается. Голос Хороших звучит пронзительно, но слов разобрать невозможно.

Он её — тоже. Они любят друг друга, как в молодости.

Шаманов. Только бы они друг друга не убили. Последнее время они что-то чересчур усердствуют.

Дальше — интереснее: выясняется, что Пашка не родной сын Афанасия. Но мы не случайно остановили цитату на словах Кашкиной. У писателя С.Н. Сергеева-Ценского в одной из «поэм» (так определён автором жанр лирической прозы) герой признаётся с горечью: *«Вот этого именно она и не может мне простить, что я оказался прав, а не она. Вы понимаете? Вот в чём тут... Мы очень любили друг друга и потому очень боролись друг с другом...»*

Пьесу «Прошлым летом в Чулимске» сопровождает ощущение вины. В записной книжке драматурга есть интересное, хотя и горькое наблюдение: «Счастливый человек всегда в чем-нибудь виноват. Перед многими людьми он виноват уже в том, что он счастлив». А в 2014 году известный филолог М.Н. Эпштейн опубликовал статью: «Почему каждый перед всеми виноват. Этика в обратной перспективе» (Звезда. 2014. № 4. С. 191–199). Это ощущение вины подспудно возникает всё в той же сцене с оградой.

Шаманов. Да? Ну, значит, мне просто лень нагибаться. Мне лучше обойти, чем нагибаться... *(Не сразу.)* Нет, Валентина, ты зря стараешься.

Валентина. Неправда... *(Двумя-тремя жестами закончила с оградой.)* Вот и всё. Много ли здесь труда — и всё на месте. И ограда целёхонька. *(Живо.)* Ну неужели вы не понимаете? Ведь если махнуть на это рукой и ничего не делать, то через два дня растащат весь палисадник.

Шаманов. Так оно и будет.

Валентина. Неправда! Увидите, они будут ходить по тротуару.

Шаманов. Ты возлагаешь на них слишком большие надежды.

Валентина. Да нет же, они поймут, вы увидите. Должны же они понять — в конце концов. Я посею здесь маки, и тогда...

Эта убеждённость девушки как раз и обернулась в самом конце пьесы изменением решения Шаманова: *Нельзя ли подбросить меня к самолёту?.. В город... Да, хочу выступить на суде... Да, завтра... Нет, я решил ехать... Нет, я поеду... Мне это надо. И не мне одному...*

А ведь здесь философия — не самая известная и не самая престижная — мелиоризм, согласно которой мир может стать лучше за счёт усилий человека. Отдельного человека, подчеркнём. И актуальность этой жизненной установки в ситуациях уже последней четверти двадцатого и почти двух десятилетий двадцать первого века видится как раз в том, что чрезмерное педалирование идеи соборности *(Давайте все вместе! Только совместными усилиями...)* может дать не самый хороший результат. Одной этой идеи соборности в принципе недостаточно, не будь «иррациональных», крошечных усилий отдельного человека — предста-

вителя семьи, рода, страта, социума. «Пойми, нравственная нагрузка на одного может быть намного больше той, что приходится на многих». Потому что идеал, праведность — это не раз и навсегда завоёванное и воплощённое, нет, это то, что требует каждодневных подтверждений, усилий подчас на грани срыва. Философ, которого ещё при жизни величали грузинским Сократом, Мераб Мамардашвили писал в «Кантианских вариациях»: *«Мы всё время должны заново устанавливать на какой-то вершине, потому что с неё мы неминуемо соскальзываем то в одну, то в другую сторону».*

Собственно, для этого нам нужна острота чувств. А для этой остроты чувств нам так необходим... театр. Поэтому в триаде: *поэт — прозаик — драматург* фигура драматурга столь значима. Будем пестовать начинающих, но будем вновь и вновь возвращаться к уже имеющемуся фонду драматических произведений. Замечательно сказал об этом Валентин Распутин: *«Вампилов был влюблён в театр, не представлял без него жизни, но ведь и театр был влюблён в Вампилова. Театр помолодел с его приходом — и не только благодаря возрасту молодого драматурга, но и от свежего и чистого чувства, принесённого им на сцену».*

С чувствами тоже не всё просто. Хорошо известно, что эволюция шла к независимости от внешней среды. «Но это неизбежно требовало, — пишет писатель-фантаст Иван Ефремов, — повышения остроты чувств — даже просто нервной деятельности — и вело за собой обязательное увеличение суммы страдания на жизненном пути» («Час быка»). Неприятности налагают отпечаток на внутреннее и внешнее в человеке, и заключительный наш пассаж — об осанке.

Речевой идеал молодой женщины (и вообще — женщины), воплощённый в Валентине, — кротость, нежность, ласковость, терпение. Вспоминается афоризм «Женщина должна уметь быть незаметной». Но вот парадокс, блестяще высвеченный Вампиловым: именно из-за её кротости, «незаметности» Валентину и замечают: и Еремеев (с его реплики начинается пьеса и с его помощью в ремонте забора завершается!), и Шаманов, и Мечеткин, и Пашка. *«Да, Валентина, ты не знаешь, чем стала ты для меня за эти несколько часов...»*; *«Листал я сегодня одну книжечку. Так, вместо отдыха. И вот попалось мне там одно стихотворение. Лирическое, между прочим... Такое...»*; *«Когда я отсюда уезжал, ты вот (показывает) была. Совсем пацанка, я и не смотрел на тебя... <...> Может, хватит мне шататься? Здесь дом, хозяйство, леспромхоз — работы навалом. Шофера здесь, говорят, неплохо заколачивают... Может, закрыть гастролы и приземлиться на лоне родной природы? Может, так, Валя?»*

Это очарование простой, сердечной речью начинается с самого первого акта пьесы: *Ой, как вы меня напугали... Нет, вы страшный, если неожиданно...* (Улыбается). *Извините, конечно... Уже не боюсь... Помогите, пожалуйста. Ну вот, большое вам спасибо... Я вас разбудила? Как же вы здесь спали?.. Холодно же. Да и жёстко, наверно... Постучались бы.* Мы говорим о самом будто бы простом, простеньком — о речевом поведении, речевом портрете главной героини, что существенно отличает её от большинства персонажей. Но ведь язык, речь — это осанка личности, знак достоинства. Есть древнейший афоризм: «Заговори, чтобы я тебя увидел!» И эта дельта между речью Валентины и речью других женщин, она ведь тоже воспитывает.

Откуда это у писателя? Я смотрю на уникальную фотографию предков Александра Вампилова по материнской линии. Четыре человека изображены на снимке, и у каждого, даже у очень пожилой женщины, — осанка.

«Где потерялось достоинство старого мира? Человек разменял своё достоинство на грандиозность и атеизм, на свободу и равенство любой ценой, на вседозволенность, неуважение к жизни человека. А на сдачу получил мелкое честолюбие, расплескал достоинство на пути к величию <...> Но и повсюду в Европе уходили в прошлое индивидуализм, голубая кровь, хорошее происхождение, образованность, достоинство и нравственность...» (С. Князева. XX век берёт разбег // Знание — сила. 2014. № 2. С. 64).

Оттуда, из прошлого, и тянется эта ниточка доброты и достоинства, таланта достойно вести себя в том самом «контексте», который высвечен, в том числе пьесой «Прошлым летом в Чулимске», и который философы не случайно обозначают как «ад обычной жизни» — по трудности преодоления тех самых испытаний, которые уготовляет судьба каждому.

Мир писателя Кима Балкова

Художественная аксиология К. Балкова
в произведениях о Байкале

Байкал занимает в творчестве Кима Балкова особое место. С ним связана художественная аксиология¹ писателя, Байкал выступает у него ценностным символом, свидетельствующим о его представлениях, взглядах на природу, жизнь, бытие. Вот почему Байкал в его прозе — это своего рода божество, дающее кому-то жизнь или забирающее у кого-то недостойного, или строгий судья, решающий судьбы каждого, обратившегося к нему. Не менее важно для писателя определение Байкала как мистического пространства, тайну которого желают познать и постепенно познают повествователь и герой-рассказчик. Одним словом, по Балкову, «велик Байкал и загадочен... Море сибирское... как символ чего-то неизбывного, вечного, окружённого таинственностью, которою мы окружаем всё, что находится за пределами нашего разума».

О художественной аксиологии писателя в указанных произведениях можно судить ещё и потому, что она тесно связана с особым повествователем, наделённым талантом сказителя. Вот он предстаёт перед читателем как улигершин, торжественно сказывающий о батюшке Байкале под волнующие звуки хура. Всё описал славный хранитель песен о священном море: о том, что лежит Байкал в зелёной чаше, о том, что волны его могучи, о том, что чайки его иссиня-белые, как пена, о том, что неподсуден отец-батюшка людскому мнению, о том, что одному лаской ответит, а на мольбы другого равнодушно промолчит.

Повествователь в цикле байкальских рассказов поведаёт историю про неистового протопопа, который увидел море и воскликнул: «Чудо-то какое!» Освободило море сибирское пленника от ненавистных оков и за муки и горячую веру обратило в свою правоту.

Постепенно образ повествователя обретает реальные черты, вместе с ним сужается пространство, превращаясь в Пыловку (Пылёвку) — посёлок, построенный в начале прошлого века, когда тянули шестое чудо света — Кругобайкальскую железную дорогу. В посёлке от благополучных лет осталось несколько домов. Перейдя железное полотно, открывается сибирское море, на берегу которого меж камней выросла берёзка. В старом доме смотрителя дороги поселился рассказчик. Это старик семидесяти лет. Он живёт один, иногда ощущает присутствие теней из мира мёртвых в своём доме, слышит «мягкий и грустный, а вместе с тем... ободряющий голос сына, покинувшего земную обитель». Он способен путешествовать в пространстве, тонко чувствует окружающих, их непохожесть. Однажды привиделся ему серебряный изюбр, спустившийся с небесных пастбищ на земные.

¹Аксиология (слово, учение) — теория ценностей, раздел философии. Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.

Возникает вопрос: откуда такая особая пронизательность у героя? Ответ дан в его разговоре с рассказчиком-собеседником: «...отец сказывал, что от деда. Был тот улигершином, причём не обычным сказителем, умеющим виртуозно обращаться со словами, а и придавать им неземное звучанье. Это отмечалось людьми, пришедшими под крышу дедовской юрты, чтобы послушать улигершина и наслаждаться свободной, ни к чему не привязанной песенной мыслью... И я с нетерпением ждал, когда опять поменяется во мне, и я окунусь в иной, пространственный, ни одним чувством не угаданный, но такой желанный, как если бы я всё знал про него, неземной мир...»

Поселёе Пыловка (Пылёвка) — это место, выбранное для жительства героем, Чёрные Камни — его любимый уголок на берегу Байкала. Священное море притягивает всё живое к берегам своим: это и серебряный изюбр, и молодая берёзка, растущая меж камней, и незнакомец, пришедший издалека, провидец, баба Фрося, двадцатилетний парень Коля, перебравшийся в посёлок из районного центра, жена Лёшки Комисарова Ирина, приехавшая маленькой девочкой из Калининграда и навсегда полюбившая странной любовью Байкал, и Сашка Шахматов, гостивший у рассказчика.

Рассказчик так объясняет силу, которой обладает батюшка Байкал: «Я чувствовал зависимость от нездешних сил, вполне приятных и как бы даже убаюкивающих меня и успокаивающих душевную растолканность». В рассказе «Серебряный изюбр» почти мифический зверь «спустился с небесных пастбищ, чтобы полюбоваться священным сибирским морем, которое в нынешнее лето похорошело, приобрело новину, смутно сознаваемую человеческим разумом, как бы сделало усилие явить миру истинную свою красоту. Её невозможно охватить взглядом всю, только и коснешься её, коль скоро обратишь внимание на то, как дивно колеблются волны, накатывая на берег и раскидывая пенное кружево. Но и этого вполне хватает человеку, чтобы открылось ему что-то несвычное, сладостно томящее... И он надолго сохранит в своем сердце чувство прикосновения к чуду, о котором многие и не догадываются даже...» Ценность Байкала ощущается рассказчиком как необъяснимая, влекущая сила, за которой скрыта человеческая тяга к красоте, идеалу.

Незнакомец из рассказа «Происшествие» также пытается объяснить притягательную силу озера, считая, что она заключается в необычном удвоении, обогащении его личности: «...вот теперь довелось увидеть Байкал, и всё в моём существе как бы расширилось, и у меня возникло чувство, что я до сих пор принадлежу ещё и вашему миру. Во мне словно бы живёт два человека из разных миров, они не имеют ничего общего меж собой, однако же стараются приспособиться друг к другу, бывает, что и радуются чему-либо происходящему в них. И я бы не хотел, чтобы со временем один из этих человек покинул меня».

Художник Пётр Петрович Лазурков у Чёрных Камней в одноимённом рассказе относится к Байкалу с благоговением, когда говорит «дрогнувшим голосом», в котором звучит нота непонятной тревоги: «Природа хороша, особенно тут, на Байкале. Но в ней проглядывает хрупкость. Мне иной раз кажется, она доживает последние дни. А когда сделается и вовсе слаба и беспомощна, когда зачахнет, как куст черёмухи, в одиночку поднявшийся у горного ручья, что тогда станет со всеми нами?.. Красота, рождённая в природе, скоротечна. Вот только что всё было ясно и разумно, а стоило надвинуться тучам, потускнело окрест. Я это вижу и тревожусь... Я знаю, кое-кто насмехается надо мной, когда я говорю об этом. Ну да

Бог с ними! В жизни есть много такого, к чему тянет прикоснуться. И, коль скоро это удаётся, как же хорошо и свободно делается на сердце!..»

В этом чувстве героя заложено писателем и глубоко личное, автобиографическое. Только творческая личность способна соединить в красоте этого чуда природы силу и слабость, крепость и хрупкость. Хрупкость красоты для художника родственна ценности, свято оберегаемой. Для героя, как и для автора, она почти сакральна: «В то субботнее утро над дальним горизонтом, в который упиралось море, взнялось широкое, ни с чем не сходное хрустальное кружево, обрамлённое множеством разных цветов. Трепетно колеблемые, как если бы в них было мало внутренней силы, они казались тем прекрасней, чем больше ощущалась их слабость.

Петрович сидел на Чёрных камнях рядом со мной. Я заметил, как у него заблестели глаза. Понял, он уже воспринимал жизнь не обычными чувствами, но душой, невесть куда влекущей. А потом он сорвался с места, спустился к ближнему урезу воды, запрыгнул в остроносую рыбацкую лодку, оттолкнулся от берега. Чуть погодя он уже стоял на корме и размахивал длинным гибким веслом, вырванным из уключины. В его облике появилась новина, ясно сказавшая, что он отодвинулся от ближнего мира и сделался подобен тяжёлому облачку, зависшему над морем. Что ему небо и что ему земля!.. Он один меж ними.

Он стоял на корме прыгающей на волнах рыбацкой лодки и кричал, всё больше отдаляясь от берега:

— Там Божество... Там торжество мира... Всё, что я искал в жизни! Господи, помоги мне!»

Разумеется, в таком восприятии есть преклонение человека перед водой как изначальной стихией. «В самых различных мифологиях вода — первоначало, исходное состояние всего сущего...» Вода как первоначало оживляет, а, значит, и одушевляет: в природе ничего нет бездушного.

Жизнь, душа как категории, закрепляющие изначальность воды как стихии, обосновывают своеобразную поэтику воды, сопровождающую и дополняющую её «стихийный» или субстанциональный философский образ. Вода более чем какая-либо иная стихия поддается описанию поэтическим языком, она, как материя, единообразна и одновременно многообразна в визуальных и звуковых проявлениях. Воображение, привязанное к воде в её субстанциональных характеристиках, порождает основанную на совокупности впечатлений о реальном природном объекте метафору воды — сжатое выражение её универсальных культурных смыслов.

В своей не соединенной с чем-либо изначальности, в своей чистоте вода становится источником и затем материальным воплощением образа и идеи чистоты — величайшей символической ценности человеческого бытия. Среди смысловых оттенков образа чистой воды — её свежесть, вносящая в природу и в человека очищение. Обряды очищения имеют ценность и смысл как процесс возрождения. Путём очищения человек приобщается к некоей живительной возрождающей силе, которой наделяется каждая капля жидкости.

Так происходит в романе «Байкал — море священное»: Лохов выпил горсть воды из моря — прошла тревога, копится в душе уверенность. Общение Студеникова с озером сродни духовному очищению: когда на сердце тяжело, выйдет на берег, постоит и посмотрит на плещущиеся волны, и «тогда на сердце делается легко и ясно, и слёзы выступают на глаза, непрошенные, и он не будет стыдиться

их...» Монах Бальжийпин, оказавшись на белом каменистом берегу, чувствовал себя частью всего сущего, «и это наполняло его особою радостью», он ощущал чувство причастности к чему-то великому и таинственному. Другому герою романа Христе Кишу в белом-белом море чудятся «церковки крашенные, принаряженные, зайти б туда и помолиться, авось полегчало на сердце и отпала бы тоска-печаль».

Повествователь также находится во власти священного Байкала, но не только светлые мысли занимают его. «Что же произошло со всеми нами? Иль навсегда поселилось в нас то, злое, пришедшее от Большого Ивана иль от кого-то ещё, но тоже злое? Что ж, и не поломать уж этого, не сделаться добрым в своём отношении к земле человеком?»; «Куда же мы идём, люди?» Острая боль разрывает его сердце, и катятся слёзы по щекам потому, что повествователь глубоко переживает отчуждение людей от своего рода, от своей родной земли. А что если кто-нибудь замахнётся на святую красоту, став холодным и безбоязненным?..

За образом пронизательного повествователя романа предстаёт сам автор, для которого в Байкале важна его способность объединить людей в лучших проявлениях их душ: «Не русское море, не бурятское, не чьё-то ещё... Вселенское... по сей день непонятна человеку его неземная красота. От веку приходят люди к байкальским берегам, не с любовью, нет, с трепетом, как если бы это было святое место. Глядят на волны и дивуются, и не посмеет никто поднять руку на эту неземную красоту». Таково ценностное мировосприятие автора, а его произведения о Байкале концентрируют в себе те универсальные культурно-исторические ценности, которые читателем осознаются именно в художественно-образном пре-ломлении.

Таким образом, проза Кима Балкова о Байкале обнаруживает ценностные ориентации писателя, формирующего в читателе глубоко личностное отношение к окружающему миру. В единстве произведений о Байкале заложена художественная аксиология писателя как призыв к единению людей перед лицом Универсума, воплощающего изначальную красоту человеческого бытия.

Хронотоп² в романе К.Н. Балкова «Будда»

Обращаясь к проблеме «мир и человек» и предлагая некоторые пути решения, определённая группа писателей кропотливо изучает мировую и национальную историю и культуру, сопоставляет прошлое и настоящее, прогнозирует будущее. Так создаётся произведение, основанное на исторических событиях и пронизанное нитями глубочайшего философского смысла. В литературе Сибири таких писателей немало: И.К. Калашников «Жестокий век», В.Г. Митыпов «Долина бессмертников», К.Н. Балков «Байкал — море священное», «Будда», «Идущие во тьму», «От руки брата своего», «Горящие сосны» и т. д. Во всех перечисленных произведениях главные герои: Темуджин — Чингисхан (И.К. Калашников «Жестокий век»), Модэ (В.Г. Митыпов «Долина бессмертников»), монах Бальжийпин (К.Н. Балков «Байкал — море священное»), Иван Небеснов (К.Н. Балков «Горящие сосны»), Будда (К.Н. Балков «Будда») и др. — особенные: они наделены об-

²Хронотоп — «закономерная связь пространственно-временных координат». Термин, введённый А.А. Ухтомским в контексте его физиологических исследований и затем (по почину М.М. Бахтина) перешедший в гуманитарную сферу.

щечеловеческими и индивидуальными неповторимыми чертами, которые выделяют их из социума. Одним словом, в герое заключён удивительный мир, который является предметом пристального исследования литературоведения.

Пожалуй, самым необычным, творчески смелым является роман «Будда» (1995) и его главный герой — выдающийся сын Земли, философ и основатель одной из трёх великих религий мира. Гаутама Будда — легендарная личность, создатель учения «Четырёх Благородных Истин», живший в Индии приблизительно в VI–V веках до н. э. Получив при рождении имя Сиддхаттха Готама (пали) / Сиддхартха Гаутама (санскрит) — «потомок Готамы, успешный в достижении целей», он позже стал именоваться Буддой (буквально «Пробудившимся»). Гаутаму также называют Сакьямуни или Шакьямуни — «мудрец из рода Сакья», или Татхагата (санскр. «Так Приходящий») — «Достигший Таковости», «Достигший Истины». Согласно буддийским источникам имеется несколько версий биографии Будды, а именно: тантрийская, махаянская и хинаянская. Наиболее известна и популярна версия хинаянская с некоторыми махаянскими параллелями, которая и легла в основу романа, состоящего из трёх частей: «Сиддхартха», «Сакья-муни», «Татхагата». Такое деление на части неслучайно — это путь легендарной личности к Истине, к Просветлению.

Произведение поражает своей многоплановостью с точки зрения жанровой разновидности — от психологического романа, романа-исследования до философского романа, действие которого разворачивается на широком социальном фоне жизни, а также художественной образностью, особой стилистикой, неторопливой, раздумчивой, по-восточному живописной. Хочется медленно перечитывать особо понравившиеся главы, погружаясь в собственные мысли, и находить ответы на вопросы, которые мучают и терзают душу читателя. Блестящ язык романа. Автор, как ювелирный мастер, оттачивая грани богатого художественного слова, создаёт уникальную романную вербальную оболочку. Помимо этого опять же слово непосредственно персонажа становится отражением его характера, переживаний, побуждений, своего рода фокусом художественной трактовки как главного героя, так и множества второстепенных героев, например, Суддходаны, Ясодхары или Джанги, Девадатты, Белого Гунна.

Действие романа открывается панорамой города Капилавасту, которым правит царь Суддходана (счастливый отец, ждущий рождения своего первенца — продолжателя рода сакиев). В этом небольшом городе пространство и время неразрывны, взаимообусловлены: приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Например, вторую главу, посвящённую происхождению рода сакиев и основанию города Капила, писатель начинает так: «Это было время, когда великий Пифагор прибыл со своими учениками в Италию, когда пророк Исайя Второй, освободившись из иерусалимского плена, начал творить Ветхий Завет, когда блистательный Махавира Джина, презрев своё высокородное происхождение и возлюбив сущее как часть самого себя и сделавшись последним из двадцати четырёх тиртханкаров, кто нашёл брод, ходил по пыльным и красным дорогам древней Индии и звал людей к очищению от скверны. Это было время, когда человечество пребывало точно бы в сладкой дрёме, когда и горькая бедность не казалась презренной, не угнетала, не вводила в искушение». А третья глава, рассказывающая о рождении Сиддхартхи, открывается следующими словами: «Произошло это за пять столетий до рождения Христа Спасителя. Много ли это? Да нет, пожалуй, если представить то огромное, не име-

ющее начала и конца, во что все погружается и из чего возникает, в том числе и скамбха — жизнь, и что именуется веной и стоит в основании времени. Времени, которое вроде бы меняется, но, если принять во внимание вечность, то оно точно бы замерло, а если и сдвигается с места, то так нерешительно и неприметно, что и не разглядишь сразу». Насколько ощутима взаимосвязь временных и пространственных отношений. Следовательно, Капилавасту — «времяпространство», или хронотоп (М.М. Бахтин), в котором сгущается, уплотняется и становится художественно-зримым время, а пространство интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Таких значимых хронотопов можно выделить несколько: парк Лоумбини, находящийся неподалёку от Капилавасту, где молодой царевич впервые задумывается над законами жизни, Урувельские леса, где Сакия-Муни открыл путь в Нирвану, царство Магады, где Татхагата со своими учениками рассказал о своем учении. Во всех заявленных хронотопах существует один ключ, позволяющий проникнуть читателю в нечто запредельное, — это образ вечнозелёного дерева, будь то дождевое или бамбуковое дерево Джамбу в парке Лоумбини, или дерево Бодхи в лесах Урувелы. Данный символ-ключ, или хронотоп природы (М.М. Бахтин), означает бесконечность, вечность, жизненность, источник мудрости не только героя, но и читателя.

Конечно, в романе существуют и другие хронотопы, напрямую связанные с предыдущим. Это хронотоп встречи и хронотоп дороги (М.М. Бахтин), пересекающиеся в одной временной и пространственной точке, в которой переплетаются судьбы людей многоликого мира и бога жертвенного огня, покровителя домашнего очага, посредника между небом и землей Агни, а также вездесущего бога разрушения и смерти Мара с судьбой Сиддхартхи — Готамы — Сакия-Муни — Татхагаты — Бодхисатвы — Будды. Мара незримо следует за Буддой, искушая, чиня препятствия при помощи своих верных слуг: брамина Джанги и Девадатты, двоюродного брата Татхагаты, не желая, чтобы люди познали Закон — высшую мудрость. Отступил Мара — не смог одолеть свет Будды. На фоне их противостояния в определённый момент времени (хронотоп встречи) и на определённом отрезке (хронотоп дороги) и развёртываются остальные события. Этот сквозной конфликт, очень важный в сюжетной линии романа, пронизывает всё произведение. Основным движущим конфликтом, на мой взгляд, является антиномия внутреннего мира Просветлённого с внешним, которая позволила открыть врата Вселенной, ощутить связь между людьми и мирами, поймать мысль, способную назвать истину... О страдании: «...рождение есть страдание, старость есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание, пребывание с немилым есть страдание, невозможность исполнить свои желания тоже есть страдание. Словом, вся пятеричная привязанность к земному есть страдание...» О происхождении страданий — «Они от Тришны, от жажды существования, от жажды непрерывных удовольствий». Об уничтожении страданий — это срединный путь от двух крайностей: жажды удовольствий и стремления умерщвлять собственную плоть — к покою, к Просветлению, к Нирване. В нём восемь ветвей: «...чистая, ничем не запятнанная вера, чистая память, чистые размышления, чистая устремлённость к истине, чистая, ни к чему дурному не влекущая речь, чистое желание, чистое, к добру направляемое действие...» А также о любви — «Кто думает о любви к людям, к земле и ко всему, что возвращено на ней, тот следует моему учению, любовь есть то, что единственно сравнимо с сиянием звёзд». В данном случае наблюдается определённый контраст двух миров, реального и ирреального:

он становится отчётливее с каждым шагом главного героя, следующего по своему пути в поисках нирваны. Очевидно, что данный конфликт просматривается через ансамбль заявленных хронотопов.

Но совершенно иной хронотоп встречи, с помощью которого осуществляется диалог двух культур, на дороге читателя, незримо следующего за персонажами романа. Следя за судьбой Сиддхарты — Сакия-муни — Татхагаты — Будды, невольно находишь удивительное сходство некоторых положений буддизма и христианства. Аналогии между буддизмом и христианством были давно замечены учёными и дали повод для самых смелых гипотез. В жизнеописании Будды много ситуаций, весьма сходных с рассказами о жизни Христа в Евангелии. Так, например, Будда — сын князя, Христос происходит из рода царя Давида. Мать Будды, Майя, не понесла плод, как обычная женщина, но была оплодотворена чудесным образом. Бог сам вошёл в её лоно (во сне царица Майя увидела белого слона, который вошёл в её бок), чтобы позднее родиться. Так же и мать Иисуса, Мария, была оплодотворена Святым Духом. После долгой жизни, в которой были и неприятности, и даже покушения на жизнь Учителя завистливого ученика Девадатты (некто вроде новозаветного Иуды), Будда умер, отравившись свининой, которой угощал его кузнец Чунда. В минуту его смерти затряслась земля, и боги в трауре появились перед его учениками. Легенды о житии Будды содержат немало историй с описанием чудесных происшествий, рассказанных живым, ярким языком, в которых и Будда, как и Христос, совершают чудеса, причём оба великих Спасителя и человечества часто выступают как целители, врачеватели телесных и духовных недугов. И Будду, и Христа предал один из учеников. И Будда, и Христос боролись со жрецами, представлявшими господствующую в их время религию. Прежде чем начать свою деятельность, Христос удаляется в пустыню, где постится и где его искушает Сатана. Подобным же образом (обещанием власти над миром) был искушаем Будда Марой, когда на него снизошло откровение, стал он «Знающим», «Пробуждённым» от тьмы «Неведения», «Просветлённым», т. е. «Буддой». Познав истину, он решил объявить её людям и вызволить их из убожества прежнего существования. Тогда подошёл к нему дух зла Мара и стал его искушать, уговаривая отказаться от спасения «живых существ», точно так же, как Иисуса искушал Дьявол.

К тому же слово Будда, ввиду родства древнеиндийского языка санскрита и славянских языков, сходно со словом «будить», поэтому Будда — это «Пробуждённый (от сна к знанию)». Интересно, что в некоторых древних славянских дохристианских текстах высших мастеров духовного пути называли «Побудом» или «Будаем».

Таким образом, в романе писатель создал удивительные взаимопроникающие точки, или хронотоп встречи, дороги, природы, соприкосновения судьбы главного героя с читателем, а также диалога культур. Данные категории и у героев, и у читателя индивидуальные, хотя они и следуют по одной сюжетной линии произведения. Справедливо заметил Валерий Ганичев в одном из выступлений в Союзе писателей России: «Ким Балков написал книгу, которая сделалась необходимой всем нам...» Действительно, в романе «Будда» есть всё, нужное каждому разумному человеку.

АРКАДИЙ ЕЛФИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОБОЛЬСКА»

Герои на все времена

К 375-летию СЕМЁНА РЕМЕЗОВА

Уже не год и не два мне кажется, что всё, что с нами происходит в последние 25 лет, — это не случайный ход вещей, а что-то вроде телевизионной театральной постановки. Реальное время остановилось четверть века назад. А мы сейчас находимся в пространственно-временной чёрной дыре, напоминающей театральную оркестровую яму.

Сегодня в России человек, в какую сторону ни поглядит, до чего ни дотронется — всюду натывается, если не на саму ложь, так сказать, в чистом виде, то на испачканные враньем ещё недавно чистые, а то и святые для народа сущности.

Выросло целое поколение, которое отучили от труда и умения мыслить, умения принимать решение, добиваться его исполнения и нести ответственность. Поколение, «воспитанное» на книжках «Месть трёх поросят», «Диван-вампир», «Шоу весёлых покойников» и т. д. и т. п. Авторы этих «бестселлеров» для детей и юношества занимаются не только дискредитацией святости и самоотвержения и высмеиванием способности к самопожертвованию, но и развенчиванием гениальности (для мещанина нет людей великих). В спорах «отцов и детей» никогда прежде поколение «детей» не отторгало себя от культуры предков и от всех культурных достижений человечества. Только в наше время антикультура смогла этого добиться.

Несколько лет назад Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» объявил о проведении акции «Подари книгу детям», и это не было призывом просто к дарению абы каких книг, это было ещё призывом к современным писателям создавать произведения, развивающие любовь к ближнему, показывающие примеры нравственного подвига, раскрывающие мир духовной красоты, когда главным подарком, который сохранится в сердце каждого ребёнка, стала бы любовь к чтению по-настоящему художественной и просветляющей душу книги.

К сожалению, изучая книги современных авторов, навязываемых подрастающему поколению, складывается ощущение, что все они пишут для каких-то жизнерадостных дебилов. Русский язык умирает, сокращается количество слов, укорачиваются словесные конструкции. Русский язык — это мы, и мы становимся беднее. С 2007 года Пушкин исключён из десятки самых издаваемых авторов для детей. Зато стал популярным Гарри Поттер. А ведь эта книга задумывалась как пропаганда, продвижение английского языка и английского государства в мире. Мы свой язык не продвигаем! Есть хорошие тексты, но мало хороших книг, они становятся просто дефицитом.

Детско-юношеской литературе нужны истинные герои, герои на все времена, и они есть, их даже не надо придумывать, настолько богата ими русская история. И, конечно, когда фонд «Возрождение Тобольска» решил издать книгу о таком

герое, то двух мнений не было — эта книга должна быть о Семёне Ульяновиче Ремезове, бессмертном витязе Земли Сибирской, которого выдающийся русский историк науки Л.А. Гольденберг сравнил с титанами эпохи Возрождения (первым такое пожелание высказал наш давний друг, писатель, президент телерадиокомпании «Регион — Тюмень» А.К. Омельчук, за что ему честь и хвала).

Мнение Гольденберга близко к истине, но хочется подчеркнуть и немалое различие. Подобные сравнения словно говорят о вторичности свершений Ремезова, хотя он, по сути, уникален в своей деятельности. Нет никакого «сибирского Леонардо да Винчи», есть единственный в своём роде сибирский Семён Ремезов!

Гениальный русский самородок, один из тех, кого преобразующая Петровская эпоха нашла, поставила на ноги и кому дала большое дело — под стать тем масштабам, на которые замахнулась крепнущая российская государственность. И фамилия у него была соответствующая: ремез — это птица-строитель.

Напомню, что в 2011 году Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» издал факсимильное издание одного из наиболее значительных памятников русской картографии — «Хорографическую книгу Сибири» С.У. Ремезова, первого географического атласа Сибири. Атлас опубликован через 300 лет после его составления.

Этим изданием мы завершили публикацию трудов великого русского географа, художника и историка. Ранее были выпущены «Сибирская летопись», а также «Чертежная книга Сибири» и «Служебная чертежная книга Сибири». Издания Фонда вызвали неподдельный интерес общественности и доброжелательные отзывы со стороны профессионалов, получив немало международных и российских наград.

Один из сибирских историков высказался так, что «возвращение трудов Семёна Ремезова для учёных равносильно открытию в русской литературе «Слова о полку Игореве». Напомню, что академик Д.С. Лихачёв называл нашего земляка первым в списке художников и писателей в начале XVIII века среди мировых имён! Не случайно в Энциклопедическом словаре Русской цивилизации о Семёне Ульяновиче Ремезове говорится как о выдающейся личности, вошедшей в мировую историю.

И сегодня, в год 375-летия со дня рождения С.У. Ремезова, мы имеем честь представить книгу о Ремезове, автором которой стал известный «детский» писатель из Иркутска Юрий Иванович Баранов.

Стал он им не случайно, вернее, не случайно именно к нему я обратился с просьбой создать такую книгу: познакомившись с Юрием Ивановичем на Днях русской культуры и духовности «Сияние России», продолжал общаться с ним в дальнейшем, и у меня сложилось стойкое впечатление о нём как о человеке чести, верности долгу, слову, делу, эти же понятия в полной мере присущи и его литературным героям.

Особенно заинтересовала меня книга Юрия Баранова «Иркутский драгун Лешка, или Тайна Наполеона», рассказывающая о событиях Отечественной войны с французами 1812 года. Герой повести, семиклассник Лёшка Хабардин, узнаёт, что в Иркутском областном краеведческом музее находится шкатулка, в которой хранился когда-то таинственный кортик Наполеона. Лёшке страшно интересно, как и откуда шкатулка попала в Иркутск. Увлёкшись её поисками, каким-то невероятным образом он попадает в другое время: обнаруживает себя участником событий той далёкой войны и узнаёт много нового о своих земляках, сражавшихся с

наполеоновской армией в Иркутском драгунском полку. Книга эта имела большой успех именно у детей. Насколько мне известно, зачастую дети приходили записываться в библиотеки, чтобы прочитать книгу Юрия Баранова.

И вот перед нами новый персонаж — Кешка Дубровин, который «случайно» открыл дверь в «живой уголок», где впервые познакомился с «необыкновенной птичкой» — ремезом, а потом... Хотя назвать Кешу новым персонажем не совсем корректно. Он «пришёл» к нам из книги «Иркутский драгун Лешка, или тайна Наполеона». Это друг Леши Хабардина. Так что книгу «В поисках тайны Ремеза» вполне можно считать своеобразным продолжением «Иркутского драгуна». У Юрия Баранова удивительный дар говорить с детьми на их языке, не опускаясь, а поднимая их до вполне взрослого понимания исторических событий, приобщая к духовным ценностям нашего народа.

Впрочем, книга Юрия Баранова перед вами, дорогие читатели...

Русский философ, педагог-новатор Николай Фёдоров напоминает нам из XIX века: «Дети — не только наше будущее, дети — наше настоящее, которое не может ждать». И он прав, будущее, как известно, закладывается в настоящем.

Уверен, что и эта книга — для детско-отроческого возраста — не станет последней в издательской деятельности нашего фонда и творчестве Юрия Ивановича, в том числе и о Семёне Ульяновиче Ремезове. Хороших и нужных книг много не бывает.



АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ



Весёлая Танька

Я с вами, люди

— Об этом нелегко рассказывать. Прошное у меня такое, что о нём трудно вспоминать. В нём мало хорошего и нет ничего счастливого.

Это говорит Александр Навалихин, плотник и художник СМП-267. Он ставит перед собой пепельницу и, глядя в окно, за которым целый день идёт дождь, рассказывает.

Ему было шестнадцать лет. Он шёл по вечерней улице с девчонкой, провожал её из кино. На окраине города тихо. Только в дальнем палисаднике захлебывалась переборами счастливая гармоника.

Навстречу шёл человек. Шёл пошатываясь, балансируя в воздухе руками. Остановился и ни с того ни с чего длинно и грязно обругал Сашину девчонку. Кровь бросилась в лицо мальчишки. Он подошёл к пьянице вплотную и потребовал замолчать. Но это только распалило последнего. Тогда Саша молча ударил по ухмыляющейся красной роже. Началась драка. Девчонка убежала. Пьяница — мужик здоровый, руки у него тяжёлые, безжалостные. Тонкие мальчишечьи руки быстро шарили на земле камень.

Возвращались из кино Сашины приятели. Пьяница был крепко побит. Хрипло ругаясь, он убежал в темноту улицы. Перед дракой пьяный снял пиджак и бросил под ноги.

Так Саша оказался перед судом. Его осудили на пять лет. С поезда, остановившегося в Минусинске, сошёл молодой человек, одетый по-осеннему, небритый, без вещей. Быстро, нигде не останавливаясь, он зашагал по улицам ночного Ми-

нусинска. Из плотного морозного тумана выплывали чёрные деревянные дома. Гулко скрипело под сапогами. Миновав несколько улиц, молодой человек побежал. Через пять минут он трясущейся от холода и нетерпения рукой распахнул калитку чистенького дворика с чёрным угрюмым домом посередине и бросился к окну. Стучал он долго. Наконец, дверь скрипнула, кто-то вышел в сени.

— Вам кого?

— Откройте! Навалихина мне... Я сын его. Пять лет не видел.

— Навалихин здесь не живёт.

— Откройте!

Дверь чуть подалась и вдруг распахнулась рывком, хлопнув внешней ручкой о стену. Луч карманного фонарика медленно обшарил всю фигуру молодого человека. Потом дверь так же внезапно захлопнулась.

— Таких не пускаем, — слышался голос из сеней, — беги на вокзал, загнёшься. Молодой человек зашагал обратно. Ногой двинул калитку.

— Постой! — слышалось сзади. — Вернись!

Он, чуть помедлив, вернулся к порогу.

— Проходи. Был в твоей шкуре, а потому... Ну, проходи, проходи.

Молодой человек вошёл в дом и безвольно опустил на первую табуретку.

— Где мой отец?

— Нет здесь его. И когда мы купили дом — тоже не было.

Мужчина, который открывал дверь, был средних лет, невысокий, глаза навывкате. За столом, оставив недопитый чай, сидела худенькая женщина. Пристальным, полуиспуганным взглядом она изучала незнакомца.

— Откуда? — спокойно спросил хозяин.

— Из тюрьмы.

— Вижу. Из какой?

— Не всё ли равно?

— Ладно. Куда завтра?

— Искать отца.

Отогревшись и поужинав, Навалихин сел у открытой печки и, прищурившись, стал смотреть на тлеющие красно-синие угли.

— Кто такие?

— Я служащий, она — домохозяйка, — растягивая слова, ответил хозяин. — А что?

— Говоришь, был в моей шкуре. А теперь?

— А теперь я служащий, а она домохозяйка, — загромыхал хозяин, — и вот что, парень, завтра же мотай отсюда по холодку. Лучше будет. И советую тебе с этим делом заканчивать.

Утром хозяйка дала Навалихину телогрейку, шапку, и, простившись, он снова вышел в морозный туман.

— Я знал, что некоторые «завязывают» — кончают преступную жизнь и живут по-новому, по-хорошему. Были и в тюрьме у нас об этом разговоры. Но таких я видел первый раз. Тот хозяин, видно, в прошлом был из матёрых. И в то же время было ясно, что переменялся он совсем, навсегда. Я много о нём думал и сам решил «завязать». Но это было тогда не убеждение. Это было только отчаяние и усталость от своей беспутной, горькой жизни.

Отца и сестру я нашёл в Барнауле. Приехал с подарками. А подарки-то были ворованные. Отца убедил, что работаю честно. А через несколько дней попался с кражей.

И снова суд.

К мысли покончить с моей тёмной жизнью я возвращался тогда всё чаще. Особенно не давал мне покоя тот новый хозяин отцовского дома. Со мной он разговаривал грубо и даже брезгливо. А ведь тоже бывший вор. Я почувствовал в его перемене решимость и убеждённость. Всё чаще думал о честной жизни. Всё бессмысленнее мне казалось то, что я, ещё молодой человек, живу за чужой счёт, прячась и озираясь. И я решил жить по-новому.

Они сидели на только что поваленной лесине, отдыхали, курили. Весенний день перевалил за первую половину. Был слышен шорох скользившего на землю наста. Тракторная колея наполнилась водой.

Навалихин забавы ради затёсывал жёлтую спину длинной ровной сосны. На конце этого ствола сидел Зяблик, шуплый заросший человек лет сорока. Зяблик колючим взглядом следил за медленно переступающим к нему вдоль ствола Навалихиным. Недавно Навалихин нарисовал пьяницу Зяблика в стенгазете, а теперь забыл об этом.

— Пусти, — спокойно попросил Навалихин.

Зяблик не шевельнулся. С ненавистью глядя прямо в глаза, Зяблик говорил:

— Садись, отдохни. Много работаешь. Лучше всех хочешь? Цветы хочешь выращивать? Ну, мы тебе покажем цветы! Мы тебя научим.

— Вам меня учить нечему. Вы сами ничего не понимаете.

— Слышали? — сказал Зяблик. — В люди лезет.

Все слышали. Здесь были сторонники и Навалихина, и Зяблика.

— Ты догадался: хочу стать человеком. Мне совестно, что я долгое время ходил на тебя.

Наступает молчание.

— Что же это такое! — взвизгнул Зяблик. — Бей его!

Зяблик бросился на Навалихина, но его удержал за ворот Кренев, большой, благодушный и неизменно справедливый парень. Те немногие, кто не уважал Кренева, боялись его.

— Спокойно, — сказал Кренев, — не прыгай, Зяблик. И не лезь больше к нему.

Зяблик тихо сел на место, но как только Кренев отпустил его, снова бросился к Навалихину. На этот раз в руке у него был нож. Они покатались по земле. Никто не успел вмешаться. Зяблик размахнулся, ударил в грудь, но Навалихин молниеносно среагировал — рука с ножом попала между рёбрами и рукой Навалихина. Тут же Зяблик вскрикнул, нож выпал из едва не сломанной руки. Навалихин молча поднялся и швырнул нож далеко в жёлтый сосняк.

— И вот я здесь, в строительно-монтажном поезде. Приехал весной. «Как меня встретят? Подаст ли кто-нибудь руку?» — думал я. Уже несколько лет я увлекаюсь рисованием. Меня рекомендовали как художника. Прихожу в отдел кадров. Встречает меня-парторг Журавлёв. «Художник нам нужен, но еще больше нужны нам сейчас плотники».

Пришёл в бригаду. Поработал день, другой и понял, что мне верят. Понимаете, мне верят! Сейчас у меня здесь много друзей. Настоящих, искренних. Они знают обо мне всё. Я переполнен благодарностью. Мне хочется сказать знакомым и незнакомым, всем, кто живёт и работает в наше чудесное время: «Я виноват перед вами, люди. Ваше доверие, ваше великодушие бесценны. Хотя бы часть их я оправдаю честным трудом».

Весёлая Танька

В бригаде монтажников Кузьмы Хищенко она всеобщая любимица и самый весёлый человек. Оттого весь день на стройплощадке слышно:

— Танька.

— Танька-а...

— Танька!

У Таньки большие зелёные, какие-то постоянно счастливые, вызывающе счастливые глаза. Такие глаза говорят о том, как нелепы старость, болезни, ложь. «Да и бывает ли всё это», — говорят Танькины глаза. Ходит Танька легко и гордо, как и должен ходить по земле человек. Как-то работавший рядом с ней штукатур, пожилой, хмурый, всё о чем-то вздыхающий дядя, сказал:

— Весёлая твоя, девка, звезда...

Где горит эта звезда, счастливая ли она и существует ли вообще — сама Танька этого не знала. Сама Танька сильно сомневалась в её существовании. Но почему-то все Танькины новые знакомые были уверены, что такая звезда есть, и горит она так же весело и ярко, как живёт на белом свете сама Танька...

Как все шестиклассницы, она мечтала стать артисткой. И как девяносто девять из ста шестиклассниц артисткой она не стала. Танька не кончила даже средней школы. Мать и два брата не возражали против того, чтобы она училась. Просто братья были маленькие, а мать была больна. Танька получила паспорт и сразу же стала штукатуром.

Раз, вернувшись с работы, она застала дома незнакомого парня. Он и Танькин брат Володя сидели за столом и выпивали. Прямо с работы, оба немые. Парень всё смешил брата, смеялся сам, зубы сверкали на чумазом лице. Весельчак. Танька узнала, что парень этот — приятель брата, слесарь. Но внимания на этот раз не обратила на него никакого.

Потом он ушёл служить, писал брату письма, а через год вдруг вернулся. В первый же день надел костюм, выпил и — к Поздняковым, к дружку. Перед дверьми столкнулся с Танькой. В коридорных сумерках выделялись руки, лицо и ноги в домашних туфлях.

— А... Это ты? — задумчиво сказал он, глядя на повзрослевшую Таньку. — Так...

На этот раз она посмотрела на него внимательно, но промолчала.

Он стал приходить каждый вечер, сначала будто бы к брату, потом к ней. Таньке он понравился: простой, весёлый и, кажется, влюблённый в неё, в Таньку.

Апрель в Усолье — еще не весна, а только весенний воздух, а только почерневший под заборами снег и серые скользкие тротуары. Под окнами по старым усольским улицам свистят на ветру голые акации. Танька бежит домой. В лицо запахи дыма, бензиновой гари и запах подтаявшей на дорогах земли. Неизвестно отчего Таньке весело. Вот ещё за угол — и дома. Возбуждённая быстрой ходьбой, весенним ветром, весёлая, радостная, Танька шибко распахнула дверь.

За столом сидели Сухоруковы. Отец и мать. Отец высокий, седой, степенный. Мать большая, толстая, с пристальным острым взглядом. Рядом Танькина мать и брат Володя. Выпивали. На Таньку уставились все разом. Сухоруков даже повернул к порогу стул.

Танька побледнела. Сватать пришли! Ещё утром приходил Владимир. Нарядный, в новой каракулевой шапке, белое кашне, блестящие новенькие полуботин-

ки, думала, отчего такой нарядный... Шептал что-то матери. Вот прислал теперь... сватать.

Танька растерянно, широко открытыми глазами смотрела на седую голову Сухорукова. А видела только светлое пятно, да и оно расплывалось. Танькина мать улыбалась и плакала. Брат Володя заиграл на гармонике. Танька хотела бежать, ноги будто отнялись. Её привели к столу, усадили.

— Это, — показывая на родителей Владимира, сказала Танькина мать, — теперь отец тебе, а это... теперь твоя мама...

Сказала и закрыла лицо платком...

Усолёе есть новое, и есть Усолёе старое. Новое из кварталов с домами-громадами, а между ними старое — деревянные домики с резными и крашеными наличниками, с черёмухой и акациями под окнами, с лохматыми псами по дворам. Танька жила в новом квартале, а вышла замуж — ушла к Сухоруковым на старую улочку.

Была и свадьба. Родня сидела на свадьбе по разным сторонам стола. Поздняковы — по одну, Сухоруковы — по другую. Танька весь вечер видела хмурый, колючий взгляд матери Владимира.

А потом Танька поняла, что свекровь её невзлюбила. Стала свекровь придирается по пустякам, выговаривать за невымытые кастрюли, пошла, как водится, по соседям рассказывать, какая непутёвая у неё невестка. Сам Сухоруков оказался добрый, заступался за Таньку. А Владимир молчал, словно не его это дело.

— Володя, за что она так? — спросила раз Танька Владимира. И услышала в ответ:

— Значит, так надо...

Прошла после свадьбы только неделя, а Владимира будто подменили. Стал попивать, грубый стал...

Танька вернулась с работы и сразу же засобиравшись к своим. Мать увезли в больницу, ребятишки остались одни, постирать надо было, помыть.

— Куда ты торопишься? — спросила свекровь.

— В больницу, к маме.

— К маме, говоришь. А ты посуду вымой да мужа дождись. Может, он тебя не пустит...

Танька не стала больше разговаривать и хлопнула дверью.

Вернулась она поздно, в одиннадцать часов. Владимир как раз умывался, на Таньку даже не обернулся. А она зачерпнула в ковш чуть-чуть воды и, смеясь, плеснула ему на спину.

— Нагулялась? — мрачно спросил он.

Улыбка замёрзла на Танькином лице, она тихо села на лавку.

— Домой ходишь... Врёшь! К мальчикам из своей бригады ты бегаешь.

Свекровь только этого и ждала...

И так часто.

Раньше Танька ходила в клуб, в хореографический кружок. Запретили. Танька любила свою мать, своих братьев. Были этим недовольны.

Сухоруковы не любили художественной самодеятельности, не любили общественных поручений, комсомольской работы. Они любили себя, свой домишко, Владимир любил ещё выпить.

И душным июльским вечером Танька ушла от Сухоруковых. Было чего-то стыдно, было обидно, месяц Танька не находила себе места. Но назад не верну-

лась. Владимир приходил к Поздняковым, выпивший, с бутылкой водки в кармане. Приходил мириться. Брат Володя выставил его за дверь.

Танька кончила учкомбинат и стала сварщицей. Пошла в хореографический кружок. Но Сухоруковы не забывались. О Владимире она часто думала и робела при мысли о встрече с ним.

Как-то у клуба встретился Таньке Владимир. Она возвращалась с занятий хореографического кружка. Владимир старался подойти вплотную.

— Вернись! Говорю тебе, вернись!

В его голосе не было ничего, кроме злобы.

И Танька, не говоря ни слова, быстро пошла дальше, мимо пьяного, чужого, не нужного ей человека.

Танька шла новым кварталом, мимо светлых окон, за которыми жили, наверное, счастливые люди. Они должны быть счастливыми, раз живут в таких красивых новых домах. Так думала Танька...

Владимир, говорят, недавно женился. Он, говорят, взял девчонку со своей улицы.

Сугробы

Ни куста, ни пригорка, даже телеграфных столбов нет рядом. Только море снега, заунывно ровное, мёртвое море. Узкая синяя дорога оцепенела, и кажется, что она никуда не приведёт. Дорогу освещает маленькая тусклая луна. Озябшая, жалкая, она, кажется, ждёт не дожждётся конца своего дежурства. А там, где сливаются небо и снег, — мрак. Попадите в такое место, пройдитесь по этой дороге ночью, и вы поймёте, что такое одиночество. Резкий, неестественно громкий скрип собственных шагов будто подгоняет Верочку Фролову, учительницу, идёт она быстро, почти бежит. Время от времени она оглядывается, дорога вязнет во мгле, и Верочке кажется жутким предположение вернуться, оказаться там, где она только что прошла. Но и мороз, и волки, и три километра впереди — всё это чепуха...

У Веры Андреевны горе. Её обманули. Она долго не верила, что её обманывали, но сегодня на станции, куда она приходила его встречать, она поняла всё. В каждом письме он обещал приехать к Новому году. Правда, писем не было уже давно, но кто мог запретить Верочке надеяться. Теперь всё кончено. «Дурочка, дурочка, — ругала она себя, — давно надо было понять. Таких, как ты, — много, и они там, рядом... Зачем ему куда-то ездить»... Особенно обидно ей становилось, когда она вспоминала, как он полгода назад провожал ее сюда, в Степановку. Ссора, нежности, уговоры — всё, что было тогда на перроне, всё это, оказывается, обман. Нежных чувств хватило только на три письма...

Где-то в стороне послышался собачий лай и треск движка колхозной электростанции, дорога свернула туда, и через полчаса Верочка шла уже мимо первых домов Степановки.

Никто в деревне не спит, везде горит свет, но на улице пусто. Из большого дома с тополем-призраком над крышей кто-то вышел. В дверь вырвались нестройные голоса, над которыми взвился один пронзительно-радостный, женский: «...Парней так много халастых...» — и снова тихо. Верочка вспомнила, что в этом доме живет её ученик Коля Лохов, смешной большеголовый мальчик, у которого вторую четверть двойка по арифметике.

От крыльца клуба, украшенного еловыми ветками, ярко освещённого, отделилась фигура. Громко скрипя бурками, фигура приблизилась, и Верочка узнала счетовода Федю. Разглядев, что Верочка проходит мимо, Федя загородил ей дорогу.

— Вот, пожалуйста, только вышел, стою, курю — и вы... Это, можно сказать, судьба. Зайдите, Вера Андреевна.

Что характерно, танцы начались, музыка, общество культурное. Федя — модник. Недавно он ездил в город и купил там чёрную папаху. Во всём колхозе существует только две пары бурок, у председателя и у Феде. Федя это сознаёт и носит их с достоинством, только по праздникам и выходным дням.

— Зайдёте, честное слово, — пристаёт Федя.

— Нет-нет, Федя, иди веселись. Я домой.

— Дружки мои уже все напились, а я вот... весь вечер искал вас. Если не секрет, где вы были, Вера Андреевна?

— Ходила на свидание. Прощай, Федя.

Через дом от клуба — небольшая деревянная школа. Светится только одно окно. Это не спит Михаил Зарипович, школьный сторож, грустно-старый, давно одинокий. Верочка живёт тут же, в школьной пристройке. В своей комнатке, не раздеваясь, она садится у тёплой голландки и долго смотрит в серебряные окна. На столе бутылка вина, две лучистые рюмки. Двенадцатый час. «Наверное, он сейчас в белой сорочке, в красивом галстуке, кого-то слушает, кому-то улыбается. Где он сейчас? Мало ли где... Город большой... а я маленькая... Позвать кого-нибудь... Зарипыча позвать?»

Верочка сбегала и пригласила сторожа.

— Вы один, и я одна, — сказала она, — встретим Новый год вместе.

— Кому новый, а кому, может, последний, — сказал старик, но, конечно, согласился. Через пять минут он явился, чинно разделся, пригладил бороду и сел прямо к столу.

— Чего же ты одна? — спросил старик, наблюдая за Верочкой ласковым внимательным взглядом. — В клуб тебе надо. Фёдор тут цельный вечер крутился. Всё интересовался.

— При чём тут Фёдор? Обманули меня, Михаил Зарипович. Обещали приехать сегодня и обманули.

— Как же так?

— Да так...

Зарипыч сочувственно насупился, Верочка не выдержала, прерываясь и всхлипывая, она рассказала старику о своём несчастье. Тот слушал, переспрашивал, выпил рюмку, налил другую.

— Так ведь нельзя, можно было приехать, — сказал он.

— Я не верю, что нельзя было. Не утешайте меня, я и вам не верю.

Верочка отвернулась от стола, положила руку на спинку стула, уронила на руки голову и затихла. Зарипычу стало её жалко. Как успокоить человека, он знал хорошо, потому что сам нуждался в утешении.

— Чего убиваться? — начал он строго. — Со всяким бывает. Бывает и проходит. И у тебя пройдёт. Ещё, гляди... свидитесь... А куды вы денетесь? Звёзды, к примеру, взять, над нами одни и те же... Куды денетесь. — Старик увлёкся и стал рассказывать про свою жизнь. Когда он взглянул на часы, было уже без двух минут двенадцать. Верочка молчала. Зарипыч забеспокоился.

— Андреевна! — позвал он. Она не ответила. Зарипыч поднялся и заглянул ей в лицо.

— Вот тебе раз! Спит девка-то... Господи, чокнуться будет не с кем!

Она в самом деле спала. Светлая прядь шевелилась на щеке от ровного дыхания. Неизвестно, что снилось Верочке, — она улыбалась. Старик хотел разбудить её, но раздумал.

— Ишь ты какая... — пробормотал он, — намаялась... Пушай спит, что уж...

Старик долго смотрел Верочке в лицо, потом, будто спохватившись, выпил рюмку, покосился на часы, оделся и тихо вышел.

Мгла рассеялась, луна, в матовом венчике, пронзительно яркая, висела почти над головой, появились звёзды. У калитки маячил уже подвыпивший Федя.

— А, лунатик! Всё крутишь тут... Ну-ну. Ишь, вырядился... А не мёрзнешь ты в этом колпаке, а? Не холодно тебе?..

— Вы, Михаил Зарипович, старый человек, а то бы я из вас за такие слова что-нибудь сделал такое... Ни один инженер по чертежам не собрал бы. Но я относительно не этого... Вера Андреевна в настоящий момент чем занимается?

— Дурак ты, Федька. Спит она.

— Как это спит? Девушка грустит, а вам всё «спит». Никаких вы тонкостей не понимаете.

— Спит, говорю... Спит, и только.

Старик вздохнул, запахнулся в полушубок и пошёл прочь.

Кое-что для известности

Хорошо хамить по телефону. Наговорил что угодно, сколько угодно и как угодно, наговорил — и остался неузнанным. Инкогнито. Чёрной маской. Таинственным хамом.

Ну, а если увлёкся и вспылil до такой степени, что не можешь скрыть своего имени, — тогда хуже. Тогда неприятности. Тогда из хама анонимного мгновенно превращаешься в хама явного, вспылчивого и воинствующего.

Никто, правда, уже не сможет упрекнуть такого человека в трусости. Но это не утешает. Всё равно. Хорошего здесь мало. Ещё неизвестно, кто лучше из двух — тот, кто побаивается хамить, или тот, кто хамит бесстрашно, убеждённо, до конца.

Но к чему этот неприятный разговор? А вот к чему. Недавно зимним вечером фельдшер Владимир Николаевич К., дежуривший в усольской «Скорой помощи», был потревожен телефонным звонком. Мать просила врача к заболевшему ребёнку. Сначала всё шло по правилам.

— Сколько лет? — спросил Владимир Николаевич.

— Шесть, — ответили ему.

— Что с ним?

— Температура, головная боль... Приезжайте, я боюсь ночи!

— На температуру, — ответил Владимир Николаевич, — не выезжаем. — И бросил трубку.

Оказывается, высшим в государстве медицинским начальством невыезд «Скорой помощи» на температуру разрешается. Что ж, раз высшим, значит, так положено. Из правила, впрочем, есть исключение, и та же усольская «Скорая помощь» вечерами часто, особенно к детям, выезжает и на температуру.

Словом, фельдшер К. имел право в помощи отказать, и в тот зимний вечер фельдшер этим правом воспользовался. Он бросил трубочку.

Но на этом дело не кончилось и кончиться не могло. Мать, естественно, подняла трубку во второй раз и снова стала просить о помощи.

Матери больных детей раздражительны. Фельдшеру об этом следовало бы знать. Ему, раз уж он так решил, надо бы спокойно отказывать в помощи и не нервничать. Но разговор шёл на равных. Собеседники всё более взвинчивались, и, естественно, Владимир Николаевич стал брать верх. Мужчина всё-таки.

— Как ваша фамилия? — крикнула возмущённо мать.

— Фамилия?.. — переспросил Владимир Николаевич ядовито.

— Да! Фамилия!

— Александр Сергеевич Пушкин! — выпалил Владимир Николаевич.

Это было брошено с дьявольской иронией. Это было — как бич, как пощечина, как хлопок дверью. Это было торжеством над противником. Этим, как он считал, было сказано всё. И он бросил трубочку.

Но и на этом дело не кончилось. На ту беду соседом женщины оказался секретарь Усольского горкома комсомола. Олег Свирин. Секретарь явился, поднял трубку и позвонил в «Скорую помощь». Женский голос ответил ему, что фельдшер К. вышел. Секретарь настаивал, и К. вынужден был взять трубку. Фельдшер остыл, привёл свои нервы в порядок, разговаривал вежливо и был приглашён в горком для беседы.

В горком он не явился ни в среду, как договаривались, ни в четверг. В пятницу секретарь позвонил сослуживцам К. и просил передать фельдшеру, что по-прежнему и терпеливо его ждет. Фельдшер не появлялся.

В субботу в коридоре управления «Востоктяжстрой» появился очередной выпуск «Комсомольского прожектора». Под портретом К., выполненным цветными карандашами, было написано четверостишие, в котором Владимиру Николаевичу напоминали, что он не Пушкин и что было бы лучше, если бы у него прибавилось совести. Всё справедливо.

И как, вы думаете, Владимир Николаевич прореагировал на комсомольскую критику? А вот как. То, что он не Пушкин, он ещё допускал. С этим он ещё мог согласиться. Но в остальном он считал своё поведение безупречным. Джентльменским. Рыцарским. Владимир Николаевич был возмущён до крайности. До предела. Его, оказывается, просто-напросто оклеветали. Поэтому на следующей неделе, в среду, рядом с листком «Комсомольского прожектора» появился листок Владимира Николаевича К. Он был его автором, его редактором, в своём же лице он учредил и орган этого издания. В нём он поместил свои стихи — ответ на комсомольскую критику.

Стихи эти нравятся Владимиру Николаевичу до сих пор. А стихи неважные. И наглые. Прямо сказать, нахальные стишата. В последнем четверостишии К. рифмует слово «сатира» со словом, которое позволительно употреблять лишь в художественной литературе. Это о комсомольском-то сатирическом листке! Смело, ничего не скажешь. Это произведение, этот вопль грубияна, которому наступили на хвост, следовало бы отдать в милицию. На рецензию.

В интервью с вашим корреспондентом, которое состоялось лишь через несколько дней после происшедшего, Владимир Николаевич прочёл свои шкодливые стишки без всякого стеснения, с большим творческим подъёмом. Свое авторство он подтвердил не без гордости и не без удовольствия. Он ничего не понял. До сих пор он считает себя правым, обиженным, угнетённым. Встреча с героем происходила в редакции усоль-

ской городской газеты. Владимир Николаевич защищал себя с большой горячностью. Вот это интервью.

— Вы накричали на женщину, — напомнили ему.

— У этой женщины, — возразил К., — вот такой (он развёл руками) рот! У неё вот такой (он выбросил вперёд одну руку, а другой отметил первую у самого плеча) язык!

— Вы не пришли в горком. Вас там ждали, и вы обещали прийти.

— Почему, — закричал он в ответ, — я должен к ним ходить? Почему — не они ко мне?

— Рядом с «Комсомольским прожектором» вы приклеили стихи собственного сочинения. Они написаны не простительно грубо. Вы считаете себя правым?

— Конечно! Написал и еще напишу! Судиться могу!

В заключение Владимир Николаевич заявил, что газетных статей он не боится, что, если на то пошло, он — крестьянин и терять ему нечего. Мы очень надеемся на то, что коллектив и главный врач «Скорой помощи» Козьминых Н.Д. убедят-таки К. в том, что и у него, как бы он ни нажимал на своё пролетарское положение, есть-таки что терять. Например, человеческое достоинство, уважение общества и много других бесполезных вещей.

Разговаривать с ним было трудно, и через пятнадцать минут этот «крестьянин» сел в служебную «Победу» и укатил по делам.

Таков Владимир Николаевич. Такова его логика. Такова психология. Главному врачу хамить нельзя, потому что его могут понизить в должности. «Фельдшеру-крестьянину» хамить можно, потому что его некуда понизить. Правда, его можно перевести в нянечки, но этого делать, видимо, не следует. Представьте, что он тогда натворит, какие стихи при случае напишет.

Что греха таить, Владимир Николаевич не одинок. Есть они. Попадают. Есть уличные, трамвайные, должностные, высоко- и низкооплачиваемые хамы. Есть, а надо, чтобы их не было. Значит, относиться к ним следует со вниманием. Надо так, чтобы безнаказанно им не сходило с рук ни одно оскорбление, ни один окрик, ни одна брошенная телефонная трубка. Надо так, чтобы ими занимались коллектив, трамвай, улица. Надо их воспитывать, показывать, судить. Делать это необходимо каждый час. А если махнуть на них рукой, они зайдут далеко, и потом уже никто и никогда не убедит их в том, что они виноваты. Они будут правы — так им будет казаться.

Что касается К., неугомонного фельдшера из города Усолья-Сибирского, он твёрдо стоит на своём. Чего он только добивается? Может быть, популярности? Славы? Ну что ж. Мы сделали для этого всё, что было в наших возможностях. Всё или почти всё.

Зиминский анекдот

Внезапно нагрянула жена. А с ней младенец сын и тёща Мария Филимоновна. И они остановились в дверях. Муж Коля сидел за столом: А на столе были консервы, виноград и водка. А у окна стояла девица Маша. Коля смутился. От неожиданности. А Маша — ничего. Поздоровалась даже с Марией Филимоновной. Очень непринуждённо.

Потом Коля и Маша ушли.

«Ну и что же? — скажет читатель. — Муж разлюбил жену. Бывает ведь такое. Полюбил другую. Страдал, боролся с собой. Сказал последнее «прости» и ушёл. Бывает, что поделаешь. Любят, страдают, борются, уходят. Бывает, возвращаются».

Бывают комедии и драмы. Случаются трагедии.

Жанр, в котором выступил недавно рабочий Буринского леспромхоза Николай Бойко,— ни драма и ни комедия. Это — анекдот. Грубый, невесёлый анекдот.

Итак, Маша и Коля вышли погулять. Пусть погуляют. А мы тем временем начнём эту историю сначала.

То было раннею весной. Впрочем, Колина мамаша говорит, что уже были посажены огороды. Коля привёл в дом (Зима, Партизанская, 134) Тамару. Девятнадцатилетнюю. Скромную. Наивную. Она жила в селе Подгорном, там они познакомились. Коля наскоро поклялся в любви и увёз девушку в Зиму.

Коля женился, но жениться ему было не впервой, и мы, может быть, придаём этому слишком большое значение. Потому перейдём прямо к семейной хронике. Но прежде познакомимся с Феодосией Бойко, Колиной мамашей. Знакомство не из приятных, но ведь не все наши знакомства приятные. Существуют знакомства необходимые. Феодосию Бойко знать необходимо. Для того, чтобы никогда с ней не встречаться. Чёрное сутяжничество, хамство, стяжательство слились в её характере, как сливаются воедино трубы канализационной системы. Оскорбить сына, отmaterить ребёнка, оболгать прохожего — всё может эта гражданка. Прибавьте сюда ещё скупость, ворожбу, «врачевание» недугов и представьте эту женщину в роли свекрови. Для невестки — это Сцилла и Харибда, два эпических чудовища, вдруг объединившиеся в одно и заговорившие на русском языке.

Скандалы пошли, как грибы. Свекровь была дьявольски изобретательна. Когда в доме затихали оскорбления и оплеухи и наступали голубые часы бесконфликтности, свекровь нервничала.

Чернее тучи она металась по комнатам и вдруг объявляла, что из буфета украдено три банки брусники. Кто украл? Не невестка ли? Нет? Посмотрим! Свекровь бежала к своей подруге, которая разгадывала сны, предсказывала насморк и конец мира. Подружки раскидывали картишки, и всё становилось, как божий день, ясным.

Дома свекровь, хвативши кулаком по столу, торжественно кричала:

— Бруснику стащила бубновая дама и червонный король. Вместе с банками! Что! Отвертелись?

Так они и жили. В непрерывных скандалах Тамара ожесточилась, в доме стало темно от матерщины и зуботычин.

Молодые ушли от Феодосии Бойко на частную квартиру, но от скандалов они не ушли. Потому что Феодосия исправно их навещала. Потому что Коля и сам по себе тоже был хорош. К тому же он пил и от водки не делался лучше.

Когда у них родился сын, свекровь тут же усомнилась: Колин ли это ребёнок? И заскучала, когда поняла, что ребёнок Колин: не было повода для скандала. Прядышущую Колину жену она оклеветала самым грязным образом. Оклеветала и выжила из дома. Потом они получили квартиру, ту самую, в которой Коля пировал с девицей Машей.

Как-то Тамара прочитала в газете о курсах продавцов. Решила учиться (до этого она работала уборщицей). Коля согласился. Ребёнка решили увезти к Тамариной матери.

Так и сделали. Тамара уехала в Залари. Вову увезла в Подгорное. И Коля остался один, совсем один.

В первое же воскресенье Тамара (она заехала за сыном и матерью) приехала навестить мужа. Мы уже знаем, что она выбрала для этого неподходящее время. Так вот, Коля и Маша погуляли и вернулись. В первом часу ночи. Сначала в дверь постучала Феодосия Бойко.

— Где мой Коля? — спросила она.

Потом появился Коля. И Маша. Можно было подумать, что они пришли сказать последнее «прости». Но Коля ничего не сказал. Он ударил Тамару по голове. И ещё раз. И ещё. И не сказал ни единого слова. Потом он переключился на тещу Марию Филимоновну.

Феодосия Бойко упивалась зрелищем. В эту минуту она была счастлива. Девушка Маша стояла тут же. Кажется, ей было скучно. Тамара и Мария Филимоновна бежали к соседям. Феодосия ушла домой. Оставшись одни, Коля и Маша не стали терять времени, они принялись носить вещи на Партизанскую, 134.

И так далее.

Через две недели состоялся новый скандал. Коля ночевал в милиции. Но утром уже разгуливал по Зиме, куражился:

— Ничего мне не будет. Посадить меня невозможно.

У него, видите ли, дядя в Ангарске милиционер. И леспромхозовское начальство о нём хорошего мнения. Совсем парень неуязвимый. Всё можно. Мамаша тоже отчаянная. Закуражившись, она сказала как-то Тамаре:

— Что ты думаешь, на тебе свет стоит? Женили и женить будем. Сороковую возьмём. Да не такую, как ты!

Сороковую, гражданка Бойко, не возьмёте. Столько не полагается.

Но это ещё цветочки. Бойко пошли дальше пошлостей и оскорблений. Хамство анекдотическое переросло в хамство разнузданное и воинствующее.

— Не от Бога пол моешь! — кричала свекровь невестке. Тамара была комсомолкой, откуда ей было знать, что пол в этом доме моют от угла, где образа. За сим последовало приглашение в церковь. Тамара отказалась.

Как-то она заговорила о том, что ей надо заплатить комсомольские взносы.

— Какие ещё взносы? Выбрось это дело из головы.

А Коля? А Коля оставался достойным сыном своей родительницы.

— Я не комсомолец, и тебе ни к чему, — сказал он, выхватил у Тамары из рук комсомольский билет, порвал его и сжёг. Сжёг в печке. Вот как поступил Коля, достойный сын своей родительницы.

— Попробуй заикнись кому-нибудь о билете, — сказал он после. — Удавлю!

Коля любит энергичное это словцо. «Расскажешь — удавлю», «Не будешь со мной жить — удавлю».

Остановить надо хама. Займитесь этим, товарищи зиминцы. Займитесь, пока он не женился ещё раз.

Бойтесь хамства! Хамы не перевелись. Хамы притаились. Они поняли, как опасно хамить в обществе, и расползлись по собачьим своим конурам. Они стали застенчивыми производственниками. Простыми скромными тружениками.

И остались хамами. Оглядевшись по сторонам — нет ли свидетелей, они наговорают вам мерзостей, забрызгают своей ядовитой слюной. Закрывшись на ключ, они избьют детей, жену, оскорбят собственную мать. От нечего делать они настрочат на вас грязное анонимное письмо. Потому что они хоть и лихие люди, но предпочитают хамить безнаказанно.

Хамы расползаются по своим собачьим конурам. Но бойтесь их и там. Они издеваются над вашими знакомыми. Выявляйте хамов, тащите их на свет божий, не спускайте с них строгих ваших глаз.

Судите хамов! Не спускайте им ни одного мата, ни одного разбитого стекла.

И берегите от них детей. Ваши дети должны быть прекрасными людьми.

Сумочка к ребру

Рабочий день литературного консультанта Владимира Павловича Смирнова начинается с чтения рукописей. Разбор некоторых из них требует изрядных криминалистических навыков. В других — отклонение от грамматики мешает додуматься до смысла написанного. Иногда написанное вообще не имеет никакого смысла. Владимир Павлович хмурится и слегка нервничает. Часов с десяти начинают появляться авторы. По утрам любит приходить начинающий поэт Рассветов. Он раздевается и садится напротив Владимира Павловича. Рассветов страшно интеллигентен, но ходит всегда неприлично лохматым. Скептик ужасный. Даже собственные стихи он читает с пренебрежением. Пишет о полях и о деревьях, но больше о чувствах. Пишет плохо. Сначала Рассветов посылал стихи почтой и был неприятен Владимиру Павловичу как автор, но вот он стал приносить стихи сам и стал неприятен ещё и как человек.

— Мелкотемье, товарищ Рассветов, и форма у вас не блестящая, — сдержанно говорит Владимир Павлович, пытаюсь возвратить Рассветову стихотворение.

— Мелких тем нет. Есть мелкие авторы, — надменно говорит Рассветов.

Владимиру Павловичу хочется сказать Рассветову, что он и есть автор самый мелкий, что ему надо бросить писать и заняться поднятием тяжестей, но этого сделать нельзя, и Владимир Павлович подробно разбирает стихотворение, советует, спорит, читает лекцию по литературоведению и очень вежливо даёт понять, что стихотворение не может быть напечатано. Рассветов надувается и уходит создавать художественные ценности.

Следующий — молодцеватый стриженный парень, недавно демобилизовавшийся солдат, автор романа «Три года в строю». Автор требует напечатать «хотя бы главы». Роман лежит у Владимира Павловича в самом дальнем углу стола вместе со склянкой настойки из ландыша.

— Прочитали? — звонко спрашивает стриженный парень.

— Читаю, — хмуро говорит Владимир Павлович. — Зайдите дня через два.

— Сколько можно ходить! — нахально говорит парень. — Я не потерплю бюрократического подхода к моему творчеству!

Владимир Павлович тупо смотрит на посетителя, на его богатырскую грудь, украшенную четырьмя автоматическими ручками, и ему страшно хочется достать из стола роман, рвать его на глазах у автора и выкрикивать при этом оскорбительные отзывы, но Владимир Павлович спорит, убеждает, советует читать Тургенева и грамматику.

Приходит мастер короткого газетного жанра Коля Гонорарьев. Этот долго не задерживается, но всё-таки оставляет неприятное впечатление.

Потом идут другие — молодые, старые, вежливые, заносчивые, сердитые и обидчивые. Попадают нервные. Как-то после работы Владимир Павлович до-

стал из стола два новых письма и хотел уже сунуть их в папку для того, чтобы прочитать дома, но машинально разорвал один конверт и вынул оттуда на редкость маленькую бумажку.

В этот день Владимир Павлович анализировал поэму Рассветова о боярышнике и был порядком утомлён. Кроме того, демобилизованный романист назвал его Бенкендорфом. К концу дня его нервы находились, кажется, вне всякой системы.

Владимир Павлович развернул бумажку. Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так:

*Из подворотни выбрел пёс лохматый
И вдруг завоил, словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру.*

«Что это? — подумал Владимир Павлович, чувствуя, что ему становится не по себе. — Какую сумочку?! К какому ребру?»

Владимир Павлович прочёл это ещё раз, попробовал хихикнуть, но смех вышел таким, что он сам его испугался.

Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещённых мест. Странное четверостишие не давало покоя. Тёмный коридор он прошёл быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жёстким и тяжёлым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь.

Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович заговорил шёпотом:

— Маша, у нас никого нет?

— Никого. А что?

— Вот! — Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно, словно эта была бутылка с негашёной известью, передал его жене. — Прочти. Только... Ребёнок спит? Спит? Тогда прочти... Нет-нет, не надо вслух.

— Ничего особенного, — сказала хладнокровная жена, прочитав. — «Сумрак бородатый» — хорошо, а вообще несколько туманно...

— Несколько? — перебил Владимир Павлович, нервозно вздрагивая. — Это чёрт знает что: «Завоил!» — какое адское слово. Всё встречалось: поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого... Нет-нет! Это что-то жуткое... Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я всё-таки человек рядовой, с ограниченным воображением, у меня ребёнок, ещё могут быть дети... Нет, я не могу! Я уйду с этой работы. Завтра же. Сегодня же! Займусь чем-нибудь другим... Буду менять собственную тень на шагреновую кожу — спокойнее...

Жена бросила вышивание и внимательно посмотрела на мужа. Только сейчас она заметила, что Владимир Павлович бледен и необычно суетлив.

— Послушай, Маша, — сказал Владимир Павлович вкрадчиво, — тебе никогда не казалось, что на тени ты похожа на Бенкендорфа? Да-да. Я всё время думал на кого, и вот сейчас...

Перепуганная жена увела Владимира Павловича в спальню и уложила в постель. Потом она вернулась в комнату, подошла к телефону и набрала нужный номер...

Через неделю начинающий поэт Рассветов, прогуливаясь по улице с девушкой, встретил Владимира Павловича, который против обыкновения не свернул в сторону и не отвёл глаз, а пошёл прямо навстречу Рассветову так, что тот должен был остановиться.

— Вот что, молодой человек, — сказал Владимир Павлович не поздоровавшись. — Не ходите вы ради бога по редакциям и не пишите стихов. Чтобы нравиться девушкам, не обязательно писать стихи. Я вам это давно хотел сказать, но не мог. А теперь могу. У вас не то что талант, у вас здравый смысл отсутствует.

— Рехнулся! — сказал посрамлённый поэт, глядя вслед уходящему Владимиру Павловичу. Он был не прав. Владимир Павлович перешёл на другую работу и был совершенно здоров.

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



«Одинокая бродит гармонь...»

ОЧЕРК

*Памяти славного иркутского гармониста
Юрия Григорьевича Згнётова*

Аполина-арий... Серафи-имыч...

Сочно синело рукотворное осеннее море, цветастыми зарницами полыхали рябины и черёмухи, пряча в чаще старые двухэтажки-деревяшки, где я блуждал, отыскивая дом гармониста Ухова. В глухом дворике, устланном палой листвой, словно домоткаными кругами и дорожками, где плескались на ветру высохшие простыни, наволочки и пододеяльники, выглядел старушек... тихо судачили меж собой божии одуванчики... спросил о гармонисте, и древние указали на отпахнутое окошко второго этажа: «Да вон... играет на гармошке. Выпил, поди... гармонист молодой...» И верно, из окошка вначале плыли «амурские волны», тая в багровой черёмуховой листве, потом светло, безгорестно заплакала «одинокая гармонь», и душа моя запела:

*Снова замерло всё до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно — на улице где-то
Одинокая бродит гармонь.*

.....

*Вет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает густой...
Ты признайся, кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой...*

Напевая, нырнул в тёмный подъезд, полез по лестнице, узенькой, крутой, певучей, старчески скрипучей, пахнувшей котами и кошурками; а вот и дверь, странно, что деревянная... горожане по лихим временам давно уже, словно в тюрьмах, обитают за решётками и железными дверями... да мало, что деревянная, ромашками раскрашена, и апельсиновое солнышко светит на ромашковый луг. «Детский сад...» — весело подумал я и пуще повеселел, когда увидел хозяина, похожего на расписную дверь.

В узеньких сенях красовался приземистый, ершистый мужичок: щекастое, румяное лицо, задорно вздёрнутый нос, полыхающие васильковые глаза, сивый чуб, нависающий над бровью, долгополое светло-серое русское рубище, перепоясанное цветастым кушаком; по вороту, рукавам и подолу — рябиновые обережные кресты. Поджидал, видно, нарядился...

И узрелось дальше, деревенское, гаснущее в сумерках... Коль семейство наше, щедрое чадами, жило хмельно и бедно, то мне, отроку, чтобы не ходить босым и не сверкать заплатами, приходилось зашибать копейку: мёрзнуть и мокнуть на зоревых рыбалках, потеть на лесопосадках, на комбайне «Сталинец» глотать пыль, сластящую и першащую горло. Гранит науки бы грызть, но жизнь... Все сельские заделья, кои в охотку и азартно исполнял, теперь не упомнишь, но, глядя на гармониста, петушинно наряженного, вдруг выглядел из отрочества, как со сверстным цыганёнком калымил в магазинах и складах «Райпотребсоюза»: запрягши матёрого, но тихого мерина в телегу-одноколку с коробом, возил мусор на степную свалку. Шуко...по-русски красивый... птичьи лёгкий и вертлявый, парнишонка из оседлой цыганской семьи бойко играл на гармонии, пел и плясал, даже на брюхе, и, случалось, красовался на клубной сцене в атласной алой рубаше с кушаком, в синих шароварах с напуском на сморщенные яловые сапожки рыжего цвета. И в сем концертном наряде цыганёнок и явился на калым... Загрузив на телегу с кузовом битые банки, бутылки, мятые коробки, ломаные ящики, упаковочную стружку, гнилую хозяйственную бумагу, укрыв хлам брезентом, уселись сверху и тихо колесили по трактовой улице, что выгнулась вдоль озера на восемь вёрст. Я ивовым прутотом погонял сонного мерина, а Шуко горланил во всю лужёную глотку, хлеща по пузу, словно по гитарным струнам:

*Замурдынэ дрэ болыбэн о чергэня,
Амари яг брышынд баро зачингирдя.
Со ж гилы тыри мэ на шунава?
Кай, кай, мэ тут дужакирава, кай, кай гилы тыри?..¹*

И вдруг из поперечной улицы на тракт вывернул завклубом, дебелый мужик в светлом пиджаке, с портфелем и при галстукe; взгляделся завклубом в мусорную повозку и, когда та уже миновала, вдруг узрел, что цыганёнок сидит на мусоре в клубном костюме... Мужик схватился за голову и понёс Шуко по кочкам, а потом... и откуда прыть взялась... бодро порысил за повозкой. Я с перепугу ожёг мерина прутотом, и конь лениво затрусил по тракту, но завклубом уже догонял; и тогда цыганёнок, соскочив с телеги, поскакал впереди мерина, которого и завклубом обогнал. Так они бежали по деревне, пока мужик не запыхался; но долго ещё грозил цыганскому отродью кулаком. Рубаху, шаровары, рыжие сапожонки у Шуко отобрал и выдавал лишь на концерты.

¹Забилсь в небе звезды, /Наш костёр потушил большой дождь. / Что же песню твою я не слышу? / Где, где, я тебя жду, где, где песня твоя?..

— Ухов... Аполинарий Серафимыч, — гармонист подал руку... корявая, ржавая лопата... и работяга так нарочито и железно тиснул, что я поморщился: си-лишша!.. эдакого пенсионера лишь в соху запрягать да пахать.

— Как Вас?.. не понял...

— Аполинарий Серафимыч, — улыбнувшись, Ухов сверкнул позолотой вставных зубов. — А Вас?

— А нас проще: Анатолий... Байбородин.

— Слыхал, слыхал... Кажись, читал... — прищуристо взгляделся в меня. — А-а-а, вспомнил: мужик прилетел на метле... ну, кривой, как турецкая сабля. — Ухов щелкнул пальцем по глотке. — А баба хлесть его сковородкой по лбу...

— ...и у мужика в голове сворохнулось: бросил пить, курить, поёт в церковном хоре...

— Во, во, во!.. в церковном хоре.

— Нет, это не я писал, Апо...

— Аполинарий Серафимыч... — весело подсказал гармонист, а я невольно ухмыльнулся: кругленький, махонький, эдакий колобок с голубыми глазками и пуговкой вместо носа, а имя высокое и величавое: Аполина-арий... Серафи-имыч... хотя с фамилией не подфартило, короткая — Ухов, но, опять же, по росту. — Дед учудил... кержак², по святцам вычитал... а батя против деда хвост не задирает, подчинялся... Короче, вышел я Аполинарий Серафимыч. Вот и кличут по-бабы: кто Полиной, кто Линой... Да по мне, Анатолий, хоть горшком обзови, да в печь не сажай...

Я тут же нашарил в кармане записную книжку, ручку и записал имя и отчество.

— Аполинарий: с одним «л»?

— В паспорте с одним... А Вас как по отчеству?

— Григорич...

— Ну, Григорич, милости просим... Баушка убежала... как вы с ей разминувшись?.. стол сгоношила и в церковь уметелила — божественная бабка...

— А Вы?

— Не-е, — вздохнул гармонист, — хожу в церковь по великим праздникам... Я и крестился под старость. Но в Бога верю. А как же, без Бога ни до порога. Да...

«Снится мне гармонь...»

Из прихожей свернули в горницу, красную углами и пирогами, где... искушение чревоугодников... поджидал гостя щедро накрытый овальный стол; вокруг пузатенького графина — хоровод закусок: исходящая паром рассыпчатая картошка, омуль сухого посола, квашеная капуста с клюквой, солёные огурчики и, неожиданно-негаданно, подслащённая талая брусника. К столу жмутся гнутые венские стулья, светятся бурым лаком, на сиденьях круги, сплетённые из цветастых лент.

— Ну, Григорич, присаживайся, и не взыщи, чем богаты, тем и рады, — Аполинарий Серафимович, чинно поклонившись, широким жестом указал на закуски.

Помолившись, перекрестившись... в красном углу я узрел иконы... уселись за стол; крикнули, пригубив рябиновки... шибко забориста... и гармонист оценивающе взгляделся в меня.

²Кержак (керженец) — старообрядец, принадлежащий поповскому согласию, центр которого находится в Нижегородской губернии на реке Керженец. Керженцы, или «кержаки», были против существующей государственной власти и считали Петра Первого воплощением антихриста.

— Из газеты, Григорич?

— Из журнала.

— А-а-а... — гармонист почтительно покачал головой, услужливо плеснул в рюмку. — Про меня писали, и в телевизоре казали. Да... Помню, первый раз сняли, спрашиваю журналиста: а можете передачу на диск записать? «Легко, — говорит, завтра приходите на студию, оставлю диск на Ваше имя... Внизу, у охранника спросите...» Прихожу, взял диск, вечером пошли с баушкой к сватам — у них можно диски глядеть. Родня подвалила, стол накрыли, сели, как путние, врубили диск... Я гляжу, ёкарный бабай, ничо не понимаю: где я-то?... кажут девок полуголых, а меня нету... Галя, баушка моя, психанула: «Вот ты где снимаешься со своей голяшкой!..» и убежала... От, Григорич, опозорился. Этот журналист, холера его побери, диски перепутал... Но потом меня и в Иркутске, и в Москве казали... рядом с Заволокиным, с Геннадием. Их же двое, Геннадий и Александр... на бала-лайке-то играет... Видел «Играй, гармонь!»?..

— Кого видел?! Участвовал, на заборе с дочкой сидел, когда в «Тальцах» «Играй, гармонь!» писали... Были в «Тальцах»?.. музей под открытым небом... Ну, как едешь на Байкал...

— Да я, Григорич, в «Тальцах» на Масленицах играл...

— Да?.. И вот, значит... а я о ту пору дворничал в музее... и значит, прикатили Заволокины «Играй, гармонь!» писать... Лето, поляны в цветах, а я познакомился с Александром — брат Геннадия; и вот сидим мы в березнячке и, грешным делом, выпиваем, а тут Геннадий прибежал, такой шум поднял... он уж весь избегался, искричался, Александра искал... ну и, короче, разогнал нашу бражку...

Аполинарий Серафимович с почтением оглядел меня и сочувственно спросил:

— А допить-то дал?

— Ага, дал, догнал, да ещё поддал... Так что могу воспоминания писать. А что?! Помню, на Шукшинских чтениях... на Алтае было дело... мужик вышел на сцену и говорит: «Я с Василием Макарычем встречался с глазу на глаз...» «Ой, расскажите...» — всполошились люди. «Я, — говорит, — сижу в приёмной у второго секретаря Алтайского крайкома партии, и вдруг Шукшин выходит — в кожанке, в кирзачах и кепке, сердитый такой. Ну, я к нему: «Здравствуйте, Василий Макарыч...» А Шукшин мне: «Да пошёл-ка ты...» С тех пор, — мужик-то говорит, — не одобряю я творчество Шукшина...»

— Ладно, Григорич, соловья баснями не кормят, давай-ка ещё по рюмочке. Своя, натуральная, на рябине выстоял...

Я поднял здравицу за русскую гармонь, и Аполинарий Серафимыч от умиления прослезился, — не завыл, но в отуманенных глазах блеснули слёзы.

— Веришь, Григорич, ничо не снится — ни водка, ни курево, — одна гармонь. Снится мне гармонь и снится... И такие во сне переборы выдаю, сам диву даюсь, откуда чо берётся! И что интересно, вспоминаю днём и начинаю играть, как во сне играл... Так капитально вжариваю!.. Счас покажу...

Аполинарий Серафимович взял с комода гармонь, петушинно расписанную... листочки, цветочки, лепесточки и певчие птицы... присел, и-и-и!.. горница вздрогнула, пошаталась, пошла в пляс, где цветочным венком сплелись «Подгорная» с «Камаринской» и «Цыганочкой». А гармонист играет, припевает:

*Мине милка изменила —
Хохотал так хохотал:
Я такую-то медведицу*

*В малиннике, в осиннике,
В березнике видал!*

*Самовары закипели,
Девки замуж захотели,
А ребята не берут —
Девки рёвушком ревут!*

*Избу милкину закрою,
Баню запечатаю.
Никого не допущу —
Сам её засватаю!*

Пока Аполинарий Серафимович «вжаривал» на гармошке, я вспоминал; помянулся мне именитый, мастеровитый живописец, праздно и тоскливо доживающий век, смоля трескучую «Приму», попивая горькую... в одиночестве либо с приятелями, коих случайным ветром заносило в мастерскую. «Анатолий, беру краски, кисти, а писать не могу, — плакался живописец. — Хоча есть, а мочи нету... А во сне пишу, как молодой... И такие пленэрные пейзажи, такие натюрморты рождаются!.. Просыпаюсь — пусто, не могу писать...»

Аполинарию Серафимовичу повезло: просыпается, играет, как во сне.

«Увяданья золотом охваченный...»

Я оглядываю опрятную, старомодную горницу: над кожаным диваном, облачённые в резные рамы, подмалёванные карточки гармониста и жены: Аполинарий Серафимович — снежная сорочка, чёрный пиджак и удавка на мужике, что седелка на корове; подле лунолика супруга — в берете и чёрном платье, с белым кружевным воротничком, похожим на изморозь; а над комодом картина, вышитая крестиком: Иван-царевич, обняв деву-красу, летит на Сером Волке, а за окном зорево и смущённо рдеют гроздья рябины.

Аполинарий Серафимыч запыхался, выворачивая из гармонии затейливые переборы, и, склонив голову, томно укрыв глаза, стал тихо играть мелодию за мелодией, а потом... гармошка навзрыд, и — песнь:

*Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым...*

Похоже, Аполинарий Серафимович вдруг томительно ощутил увядание... седьмой десяток потёк... и в изнеможении сронил на меха сивый чуб, потом рукавом рубахи смахнул слезу.

— Ну, давай, Григорич, помянем Сергея. Наш брат, гармонист, любил по деревне хаживать с тальянкой...

Выпил рябиновки, тряхнул плечами, отпугивая кручину, и опять заиграл, сперва тихо, потом лихо, и горница набухла игривыми переборами. Потом ещё и, закатывая глаза к потолку, пошёл частушить:

*Гармонист у нас чудак,
Залез с гармошкой на чердак.
Гармониста-чудака
Тащили девки с чердака...*

Аполинарий Серафимович вначале сидя притопывал под частушечные переборы, потом вскочил, заиграл «Яблочко» и, выделявая ногами замысловатые коленца, закружил кочетом по горнице.

*Эх, яблочко,
Куда ты котишься?
К басурманам попадёшь,
Не воротись...*

Наяривая «Яблочко», Аполинарий Серафимыч подплясал к распахнутому окну, где после шальных переборов резко осадил гармонь.

— Григорич, иди посмотри...

Мы высунулись в окошко, посмеялись: на лавочке посиживали уже не две — четыре старушки, и два старичка подпирали дородный тополь.

— Ну, чо, старичьё, билеты взяли?.. — крикнул гармонист божиим одуванчикам. — А то привыкли на халяву... — И уже мне пояснил: — Старушонки мне то пирогов, то шанег напекут, а моя ругается: «Кого ты куски собираешь?! Побирушка...» Огрызаюсь: «Они же от души, раз любят гармошку...»

— А «Камаринского» можешь? — спросил дед со двора.

— Кого, кого? — гармонист выпучил глаза.

— «Камаринского мужика», вот кого.

— А плясать будешь, Пётр Фомич? С выходом из-за печки...

— Можно и с выходом... из-за печки.

— А на запчасти не посыплешься, Пётр Фомич? Потом собирай тебя...

— А ты не переживай, не переживай, ты играй... играй.

— И сыграю. Ну, держись, худая жись...

Аполинарий Серафимыч рванул меха, гармошка рывкнула, потом чуть стихла и пошла выкидывать коленца, а гармонист куражливо зачастил:

*Ой, комар ты, наш камаринский мужик,
Собрался в лес, по дорожке бежит.
Он бежит, бежит, пощучивает,
Свои усики покручивает...*

Похоже, слегка выпивший Пётр Фомич, «увяданья золотом охваченный», под умилённые старушечьи взгляды стал приплясывать, одной рукой покручивая, другой опираясь на тополь, чтоб не пасть лицом в грязь.

«Дайте в руки мне гармонь...»

Увижу опечаленным взором родное село, пылающее в багровом пыльном закате, и слышу гармонь — плачет, родимая, плачет сиротливо на ветхом, заросшем лебедой да крапивой, зеленовато-мшистом подворье, а то вдруг взъерится и, как в бражном застолье, захлебнётся лихим перебором; вижу, вижу отчую избу, слышу свадебное застолье, запечатлённое в сказе про позднего сына...

...В избе уже пошёл стукаток каблуков, крики «и-и-их!», где сразу же по клочкам растерялась начатая было «Рябинушка», зато теперь чаще слышалась гармошка, набравшая удали, как-то незаметно заигравшая «Цыганочку».

*Я в Америке бывал.
Кое-что я там видал —
Там и русский, и бурят,
Все по-русски говорят!..*

— чуть не рёвом проревел Хитрый Митрий, развалив меха своей по-индюшьи раскрашенной переводными картинками, старенькой, но ещё ладной хромки. Когда приспели баяны и даже гитары, редко вынимал Митрий на Божий свет свою распотеху, задвинув её в тёмный, обросший седыми тенётами угол кладовки, но коль уж собралось немало людей пожилых, — и гармошка пришлась в пору.

*Я с Мотаньей был на бане,
Журавли летели,
Мне Мотанья подмигнула —
Башмаки слетели!..*

Тут уж гармошка — это вам не тренди-бренди-балалайка — закатилась от смеха; захлебнулась, родимая, сплошным и радостным перебором, из которого, казалось, ей сроду не выбраться, но вот Хитрый Митрий, жарко светясь красным, похожим на переспелый помидор, круглым лицом, отрывисто, с подскоком вывел хлёсткую частушку, похоже, своеручно переделанную из старой, поменяв Подгорную на улицу Озёрную, где застольники и обитали:

*Ты Озёрна, ты Озёрна,
Широкая улица,
По тебе никто не ходит,
Ни петух, ни курица!
Девки юбками взметнут —
Парни все с ума сойдут.*

Про юбки и сдуревших парней Хитрый Митрий пропел не шибко внятно, да ещё и приглушил слова лихими переборами, но все учуяли соромщину, кто хохотнул, кто кисло сморщился; кто шутливо погрозил вилкой, но короткие, землистые пальцы Хитрого Митрия уже бросились вдоль пуговок, гармошка по-медвежьи рывкнула, рванула, словно забила в родимчике, и гулко застучали каблуки:

*Эй, товарка, дробь бей,
Под ногами воробей!..*

Ох, сколь под гармошечьи страдания девьих слёз лито: «Если забудет, если разлюбит, если другую мил приглубит, я отомстить ему поклянуся, в речке глубокой я утоплюся...» а сколь парни набедовались от любви безответной, сколь гармошек изорвали: «Зиму лютую не спал, по Мотанечке страдал. Я бы замуж её взял, говорит, что ростом мал...» А сколь про голосистую гармонь, отраду и отраву песен свито, сколь виршей сплетено!

Вообразилось, словно явилось из вешего сна, как восходит луна из ночного речного омута, увиделось в желтоватом и синеватом покойничьем свете, будто сельское моё семейство слетелось в гнездовище, на отчее пепелище и уселось в горнице за круглым столом. По случаю гостей мать смела пыль с розового абажура, подвешенного на потолочную матицу, вишнёвой скатертью с кистями утаила

столешню, залитую чернилами, истерзанную, изрезанную. Но недолго горница красовалась вишнёвой скатертью; мать одумалась, смахнула скатерть и, несмотря на уговоры дочерей, спрятала в комод. На столешню привычно легла линиялая клеёнка, где ромашки спрятались, завяли лютики; впрочем, некогда цветастая, ныне угасшая клеёнка вскоре спряталась под закусками и напитками: окунёвая жарёха, сало, холодец, капуста и картошка, а на сельскую снедь нетерпеливо, свысока косились белоголовые бутылки. За круглый стол лишь мужики вошли — отец, довоенные братья Гриша, Ваня, Коля, Саша, зять Коля и я, в лето семейного свидания ввинтивший в лацкан пиджака «поплавок», говорящий, что я окончил университет. За наращённый узенький столик уселись мать, сёстры Валя, Анна, Вика и две молодухи.

Когда мужики, степенно чокнувшись пожелтевшими от старости гранёными рюмками, выпили, а женщины пригубили, смочили губы в красном вине, братья, посмеиваясь, наперебой стали вспоминать, как облапошились на рыбалке. Особо зубоскалил зять, родовой фартовый рыбак. А вышла потеха так... Поутру на двух легковушках, кинув в багажник бродничок³ и сети, упылили на Красную Горку — дальний берег озера Большая Еравна, что скатилось с таёжного хребта в степь и калтусы голубым диковинным яйцом, улеглось, вёрст на пятнадцать укрыв забайкальскую степь. Затаборились мужики, развели костерок и, пока варился, прел чай, кинули сети, пару раз завели бродник, но заудили на скудную варю пару окуней, пару чебаков да мелкую щучку-травянку. Вся надежда на сети, а поставили конца три, которые отец плёл и насаживал долгими выюжными вечерами. И вот посидели возле шающего костерка, выпили и уж собрались было проверять сети, как из-за каменного быка вынырнула моторная лодка, осадилась подле сетей, и рыбнадзор, веслом задрав сеть, крикнул:

— Эй, земляки!.. ваши сети?..

Братья замешкались, и отец, ведая, какой тяжкий штраф и позор их ожидает, скрепя сердце, со слезами в голосе отозвался:

— Нет, не наши...

Рыбнадзор с пособником стал выуживать сети прямо в лодку, а братья и отец тихо матюгались, зарились, глядя, как плещутся краснопёрые окуни с лопату, как могуче бьют плёсом по воде матёрые щуки, как взблёскивают на солнце серебрястые чебаки...

И вот сейчас за семейным столом мужики с горя выпили, брат Коля, утешая отца, посулился привезти сети из города, а Иван — ветфельдшер, или, как он себя величал, конский врач по женским болезням, — заиграл на отцовской гармошке. Застолье умолкло, и отец, с высокой колокольни плюнув на горемычные сети, на пустопорожнюю рыбалку, отмахнув сивые крылья с засиневших глаз, раздвинул плечи, горделиво встопорщил петушиную грудь, повёл сипловатым, прокуреным, остаревшим голосом:

*Дайте в руки мне гармонь,
Золотые планки,
Парень девушку домой,
Провожал с гулянки...*

Мать и сёстры подтянули, а потом — братья, и отцово пение утонуло в молодых сыновних голосах, и слышался наособицу сильный и верный голос брата

³Бродник — небольшой невод, который заводят два рыбака, бродя по мелководью и вытягивая бродник на сухо.

Коли, первого песельника на селе. Помню, раньше меня и сестру Вику за стол не сажали — малы, и мы полёживали на печи, жевали калачи... мать, бывало, исподтишка сунет... и, раздвинув васильковую занавеску, дивились певучему застолью; а когда брат Коля заводил «Враги сожгли родную хату...», чудилось нам, малым, радио поёт — чёрная воронка, висящая над комодом. Обычно застолье, слушая солдатский плач, стихало, словно в минуты горестного молчания, и когда брат печально молвил: «Не осуждай меня, Прасковья, что я пришёл к тебе такой: хотел я выпить за здоровье, а пить пришлось за упокой...», после обречённых слов, мать беззвучно плакала, из глаз Аннушки слёзы текли на столешню, и лишь сестра Валя, степенная воспитательница детского сада, удерживала плач.

Нынче горестных песен не пели... Стеснительно и умилённо вслушиваясь в русские песни... сам я даже не подтягивал: медведь ухо оттоптал... вспоминая слова, я подивился: уйма же песен про гармонь!.. Вот слышу: Исаковский, грустный, но беспечальный, возлюбленный селом:

*За рекой гармонь играет —
То зальётся, то замрёт...
Лучше нету того цвету,
Когда яблоня цветёт...*

А вот Фатьянов, молодой, озорной:

*На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь...*

И опять Фатьянов, нежный и закатный

*Если б гармошка умела
Всё говорить не тая,
Русая девушка в кофточке белой,
Где ж ты, ромашка моя?*

А вот Есенин, плачущий по древлесельскому отрочеству:

*Дальний плач тальянки, голос одинокий, —
И такой родимый, и такой далёкий...*

«Под кроватью прятался с гармошкой...»

...Гармонь, тальянка, воспетая, оплаканная русской душой, пока не смокла, не вывелись на Руси гармонисты, вроде Ухова, мужика сибирского. Потешил, подивил земля Россия-матушку лихой игрой, хотя музыке сроду не учился... самородок, слухач, самоучка ... всю трудовую жизнь трезво и мастеровито отпахал монтажником и сварщиком. Года три варил за границей; и хотя курица — не птица, Монголия — не заграница, но и в пустыню Гоби балбеса не пошлют. И в Монголии мужик гармонию спасался, чтоб не остыла душа посреди выюжной степи, не спеклась на палящем солнце, да и легче под гармошку укрощать тоску по родине.

Я гошу в покойной горнице, напоминающей родную деревенскую, и закатное солнце, сочась сквозь листву, задумчиво плавает по вышивкам, где царевич с девой скачет на Сером Волке, по старым карточкам, где, подкрашенные, красуются

гармонист с женой. Аполинарий Серафимович назойливо потчует рябиновкой и хвастливо живописует свою судьбу сварщика и гармониста, а я привычно чиркаю в записную книжку.

— ...А родился я, Григорич, на Алтае... Слышал, Солоновка?.. Кержаки там... Но я на белый свет народился — месяц стукнул, семья наша уковывала в Мишелёвку. Слышал, поди?.. под Иркутском... А потом отец завербовался в Якутию, на Лену-реку. Отец был простой работяга — печник, каменщик. Ещё при царе окончил четыре класса церковно-приходской, и его, как грамотного, серьёзного мужика, выбрали десятником, а потом — мастером на кирпичный завод. Все его в посёлке уважали — работяга был добрый, справедливый, и такой здоровый, за пятарь чертомелил. Силища была... Помню, бык разбушевался, народ гонял; одну девку на рога поймал и в речку кинул. И веришь, Григорич, батя мой дал быку в лоб, тот на колени упал и больше не бушевал. О как... А сколь, Григорич, у бати наград было — море; одних медалей — уйма, пиджака не хватало. У меня тоже грамот полкомоды, можно стены заклеить вместо обоев. Да...

И вот началась война, батя трижды сушил сухари, на фронт собирался, и трижды его, как незаменимого мастера, оставляли на брони — мастер незаменимый, дескать, мы без тебя, Серафим, как без рук. А завод же работал для фронта... Вот так отец всю войну на заводе и пахал.

Ну, кончилась клятая война, стали мужики с войны возвращаться. Кто целый, а кто раненый, контуженый, кривой, слепой... Приходят, в каждом доме светлый праздничек: поют и плачут... Гуля-ает народ. Но гуляли не по-нынешни... Ныне же как?! Напьются, аж из ушей хлещет, и пошли куролесить... А раньше за столами сидели чинно, выпивали, конечно, но не до упаду же. А уж напоятся, напляшутся от души... И приносили мужики с войны трофейные аккордеоны, немецкие баяны, а иные и гармошки... русские. И вот, значит, гуляют на встречах, играют кто на чём горазд, а потом, ясно дело, подопьют и спать. А мне тогда уже девять лет было... И вот как мужики стихнут, возьму я гармошку и пробую играть. Пошто-то именно гармошку полюбил. Вот не баян же, не аккордеон. И так мне понравилось играть, что, бывало, гармошку не могли отобрать. Веришь, Григорич... Плачу, дескать, не отдам, мол. Под кроватью прятался с гармошкой, веришь. Ключик выгребали. Вот до чего меня гармошка завлекла!

Ну, стал брать у мужиков гармошку, песни разучивать. Мама моя — певня, бывало, посуду моет и поёт, а я следом играю. Вроде, подыгрываю. В школе всё больше пионерские песни разучивали, а я велел маме петь взаправдашние — русские, народные. Она поёт, я за ней мелодию на слух подбираю. Я же слухач...

Потом отца послали в Красноярск, повышался на прораба. А мать без него пошла проверять облигации и посулила: «Ну, если ты, сыночек, счастливый и я выиграю двести рублей — купим тебе гармонь. Будешь играть...» И выиграла... Видно, судьба моя такая... смалу с гармошкой жить. А потом это... У меня были брюки коричневые, суконные — отцовский подарок. Дак мы купили у цыган гармошку и отдали за гармошку двести рублей и брюки в придачу. Гармошка старая была, деревянная вообще, не играла, а ворчала. Но что делать, на цыганской стал играть. А скоро и отец приехал с повышения; ну, я как врзал, отец аж глаза вытарашил: уезжал ещё ничем ничо, а тут махом, моментально стал играть. Он цыганскую гармошку убирает и покупает мне другую, получше. А тот цыган, который нам гармошку продал, тоже был гармонист, и вот послушал-послушал меня и говорит маме: «Тётя Валя, у вас сын капитально будет играть...»

И как в воду глядел... И что интересно, никто же не учил — у нас в родне никто сроду не играл, а у меня с ходу пошло, как будто, так и надо. Стали меня, парнишку, на вечера, на танцы приглашать, чтоб на гармошке играл... А тогда строго было. Учителя давай ругаться: дескать, сам пионер и отец коммунист, а ты на танцах играешь. Пришлось убавить прыть.

Правда, я не всё же на танцах играл, и в постановках... «Алеко» Пушкина знаешь? Про цыган?.. Я в «Алеко» с гармонью выходил. Да... И на концертах играл... Помню, одна девушка меня шибко любила, я ей в клубе играл, она пела... Эх, «прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя...» Девушку Тоня звали...

«Играл я для эков, матросов и солдат...»

— Когда мы кочевали из Якутии, друзья плакали, со слезами провожали, жалко было терять такого гармониста. А я уж большенький был, пятнадцатый год шёл. Ну-у, и я им, Григорич, такую отвальную, такую прощальную сыграл, что и мужики слёзы утирали. Да-а... Сперва на берегу Лены, потом в лодке. Пароход далеко от берега заякорился — пристани не было, а ближе к берегу мелководье; и вот плывём мы с семьёй на лодке, и я играю. Кругом белая ночь — светлынь, красота... Потом уж на палубе как врзал!.. «саратовские переборы», все попадали. А дружки на берегу из ружей палят, прощаются со мной. А у меня там осталась первая любовь, такая, Григорич, сильнейшая девчонка. На берегу стоит, плачет... У меня у самого слёзы бегут. Но играю для девчонки, терзаю гармонь. Тут вышел капитан и говорит: «Прекратите играть на гармошке, люди отдыхают...» Всё, отец мой завязал гармошку в узел, и пошли мы в корму ночлег искать. А там — крыша, чтоб дождь не капал, а стенок нету; река кругом — холодно, сыро, ветер. Но плывём...

А на пароходе эки возвращались с отсидки, целая банда, Григорич. А ихний главарь... пахан, вроде... ночью-то слышал, как я на палубе «саратовские переборы» выдавал, а он сам из Саратова. И утром давай искать: «Кто же играл так здорово?» Все его бояться, никто на меня не кажет, мало ли что у того на уме, варнак же. Но один мужик продал, указал на меня: «Вот этот пацан играл». И этот главарь так, Григорич, культурненько обошёлся с папой, с мамой — нашёл нам в общей каюте двухъярусное место, хоть и третий класс, а всё не палуба. А потом маме — шоколадку, бате — бутылку. «Вот за вашего сына. И я его заберу на время. А вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, ни один волос у парнишки с головы не упадёт. Он будет мне играть на пароходе. Будет ходить со мной. Всё будет в порядке. И вас никто не тронет. А сына я у вас забираю... на время». Они поверили, мать и отец... Ну что, беру я гармонь и пошёл. И веришь, Григорич, восемь суток плыли мы с Якутии до Усть-Кута, восемь суток я играл для эков. Чётко!.. И стал я с этими бывшими эками ходить в ресторан, а ресторан, Григорич, сильнейший. А в ресторане — пианино, а я его сроду в глаза не видел, а тут даже маленько пробовал играть. Да-а... И вот сидят они, ухари, у их выпивки, закусь — всё, как у путних людей. И мне дают поесть, а выпить не давали — парнишка же. Я поем и ка-ак!.. врежу!.. Они аж слезами умываются... тоже люди, хоть и накуролесили... и поют: и блатные, и народные песни, и деньги мне суют... Случай был: один эк шибко приревновал, что главарь меня уважает и привечает, и так нахально себя повёл, что я пожаловался главарю. Не слышал, что он сказал наглому, но после тот мне кушанья подавал. О как...

Ладно, плывём... А мою музыку любили слушать и матросы. И что интересно, так они полюбили музыку, что на какой-то пристани три матроса купили себе гармошки. Григорич, хошь верь, хошь не верь, крест тебе даю, купили гармошки. И давай пиликать. Они же думали, у их сразу и пойдёт. Я уж учил их кнопки нажимать, а что толку?! Клопа дают. Если тям нет, хошь лопни, ничо не сыграешь, кроме «собачьего вальса» ...

А в трюме ехали ещё и солдаты. Самый низкий класс — трюм. Когда солдаты узнали, что я играю, позвали меня в трюм: «Парень, иди и нам поиграй, для солдат». Поиграл я, и, веришь, Григорич, красненькие мне суют. Я им: «Не, не надо. У меня же мама есть, папа, и денег у меня море...» Мне же зэки-то насовали. «Солдат даёт, — один там сказал, — бери. Никогда не отказывайся. Дай и нам отблагодарить тебя...» Так их моя музыка разобрала... Вот моя гармошка и семью выручила, после войны жили голодно, а тут столь денег привалило... И всю дорогу, пока плыли по Лене, играл я для зёков, матросов и солдат...

«Гармониста впервые вижу...»

В пятьдесят четвёртом приехали мы с семьёй на строительство Иркутской гидростанции. Отцу — он работяга сильнейший, к тому же мастер, — ему сразу же квартиру дали. Где я поныне и живу... Я тогда учился в «вечёрке», работал на стройке монтажником. Высоко над Ангарой монтировали, даже страшновато бывало. А всё свободное время на гармошке играл. Таскали меня по гулянкам, по концертам... Франц Таурин... знаешь, Григорич, такого писателя?... в Иркутске жил... книгу написал, как строили гидростанцию, и меня прописал, как я играю на гармонии. Да...

Пришло время, забрали меня в солдаты и послали аж в самую Москву, в противовоздушную оборону. Вон аж куда меня закинуло... А пошёл я по своей специальности — сварным. Ладно, служу... А тут в части ищут музыкантов, но чтоб грамотные, чтоб ноты знали, а я же — слухач. Но как-то взял гармошку, да ка-ак врзал: меня и засекли — капитан подле оказался. Послушал, послушал и удивился: «Как так, — говорит, — баянистов у нас море разливанное, гитаристов пруд пруди, а гармониста впервые вижу...» Капитан меня и засёк, говорит: «Поедешь на конкурс музыкантов в Балашиху...» Это под Москвой, там у нас был штаб армии. Ладно, поехал... Там сплошь баянисты, а я один с гармошкой. Зал такой здоровый-здоровый, красивый, весь лепной, с люстрами. Комиссия на сцене сидит, а мы все в зале. Вызывают меня, иду по ковру, вышел на сцену и ка-ак врзал «саратовские переборы»! — все попадали. Ну, говорят, хватит. Думаю, не глянулось, раз не дали доиграть; спускаюсь по лесенке, а весь зал кричит: «Доигрывай!.. Доигрывай!..» Вышел в коридор, и там меня капитан нашёл. «Отлично!» — говорит. Так я в первый раз стал лауреатом конкурса, как гармонист, и попал в армейский ансамбль. Колесили мы с концертами по частям, по деревням. И служба пошла повеселей, хотя сварным и отслужил.

А с армии-то, Григорич, пришёл, в Иркутске поработал, и меня, как сварщика и классного специалиста, пригласили за границу, в Монголию. А там — клубы для советских специалистов. Один раз захожу, гляжу — мамочки родны! — гармошка... Взял её, родимую, и ка-ак!.. врзал... и опять меня засекли... Где я потом только не играл! Весь Улан-Батор с концертами изъездил, вдоль и поперёк. И у русских играл, и у венгров, и у чехов. Они же любят русскую музыку, иные поют по-русски. Да...

Гармошка и любовь

Вернулся с Монголии, опять сварщиком пошёл пахать... Веришь, Григорич, мне гармонь жениться подсобила. Без гармошки, однако б, не женился, долго бы холостой ходил... Это ещё до армии, глянулась мне одна... Галя, звать, на стройке малярила... а Галя меня не видит, смотрит скрозь. Я к ней с того бока, с другого, толку нету... Оно, конечно, ростом повыше, покрасивше, а я кого?! пень корявый: девка пройдёт, не обернётся, а обернётся, так и плюнет вслед... А к ней инженер клинья бил, на танцах так и вьётся хмелем, так и кружит шмелём, и умные речи говорит, образованный же... А у меня кого?! Три класса да два коридора... А я сохну на корню, хлеб в рот не идёт, и сплю худо; похудел, кожа да кости, штаны падали, веришь, Григорич. И как ещё пахал, не пойму... Вот, Григорич, до чего любовь довела... Не видать бы мне Галю как своих ушей, а тут смотр народной самодеятельности. В театре... Она туда с инженером пришла... Я как на сцену вышел... в русской рубаше, да ка-ак врезал на гармошке — попурри играл... по мотивам русских песен... я люблю играть вариации... и веришь, Григорич, полчас люди хлопали, со сцены не пускали, ещё пришлось играть... В антракте с Галей встретился, она инженера бросила, с меня глаз не сводит. А потом меня на стройке «доской почёта» наградили... я же ударник труда пожизненный... так она и вовсе зауважала. Да... Ждала меня с армии... и вот уж сорок лет живём душа в душу...

Долго я с гармошкой не расставался, а потом дружок меня стыдит и стыдит. «Ты, — говорит, — Аполинарый, давай с голяшкой-то завязывай, бери баян. Бросай голяшку, не позорься. А то как дурак деревенский...» Прикинул я хвост к носу, бросил гармозею, взялся за баян. Обидел гармошку...

«Я и Геннадий Заволокин...»

...Играл я на разных вечерах, но уже на баяне. И вот однажды приезжает ко мне Миша, старинный друг, тоже сварной, и газету под нос суёт: «Вот читай: в Иркутск приезжают братья Заволокины. Будут праздник проводить телевизионный... на всю Россию. Слышал, «Играй, гармонь!»?.. Отбор будет. Давай-ка, Аполинарый, тряхни стариной...» Да у меня же, Миша, и гармони нету... «Найдём...»

И ведь нашёл же мне гармошку, правда, чуть живую, старую... старе поповой собаки. Но попёрли мы на телевидение. Там Геннадий Заволокин гармонистов отбирал. Ладно, приходим, народу — море. И все волнуются — кому первому. А мне чо, взял да и пошёл первым. Ка-ак врезал!.. У Заволокина аж глаза на лоб. Спрашивает: «Ноты знаешь?» Не-а, говорю, я — слухач. «Ну, давай, давай, играй...» И столь я, Григорич, играл!.. аж упарился. А Заволокин велит: «Ты играй, играй... А песни поешь?...» Пою... для себя, ежели выпимши... «А что ещё можешь?...» А могу играть и сразу же плясать... «О-о-о!.. Ну-ка, врежь...»

Ну, я сыграл и сплясал с гармошкой на руках. Все попадали. Хлопали-и... «Здорово даёшь, — похвалил Геннадий. — Будешь «Подгорную» играть на Подгорной улице...» Старинная такая улица в Иркутске, на избах деревянная резьба... «Там, — говорит, — «Играй, гармонь!» запишем, и ты будешь играть и плясать. А потом на корабле пойдём по Ангаре, по Байкалу, и там сыграешь...» Они же кино снимали...

И вот, значит, прихожу я на Подгорную. Сижу в уголочке — я не люблю рисо-

ваться. А он всё же издалека меня усёк. «Иди-ка сюда», — говорит, — вот будешь у меня в центре стоять. И никуда от меня. Будешь играть и плясать».

И всё, Григорич, так красиво вышло в передаче: улица Подгорная, старинные дома, и я с гармошкой, и Заволокин с гармошкой. Как в деревне... Потом по Ангаре плыли и в Байкал вышли. Геннадий — на баяне, я — на гармошке, а девушки поют «По Ангаре...». Красота! Не видел, Григорич? Несколько раз по телевизеру казали, по-нашему, и по Центральному. Там я и Геннадий Заволокин...

Аполинарий Серафимыч не утерпел, взял гармонь, кургузые пальцы рыскнули по ладам и басам, поскакали, и мне послышались дальние голоса, эхом долетевшие из деревенского детства, — голосили сёстры мои, старшеклассницы, когда я катал их на лодочке по закатному озеру:

*...Верят девочки в трудное счастье,
Не спугнёт их ни дождь, ни пурга,
Ведь не зря звёзды под ноги падают,
И любитесь ими тайга!
А река бежит, зовёт куда-то,
Плывут сибирские девчата
Навстречу утренней заре
По Ангаре,
По Ангаре.*

В Иркутске прошла «Играй, гармонь!» — и вроде про меня и забыли. Обидно, я даже с обиды в рюмку стал заглядывать, а Галя ругается... А через год — открыточка: Аполинарий Серафимыч, приходите на конкурс, чтобы потом ехать на Всероссийский в город Иваново. О как! Но пишут: если подфартит... Прибежал я в народный дом, там слушали, а отбор был, Григорич, ой-ё-ё-ё!.. сильнейший — тридцать гармонистов состязались. Я уж думал, мне ничо не светит... Но ка-ак!.. врезал!.. попури на темы русских песен... я люблю играть вариации... да как пошёл плясать с гармошкой — всё, с ходу победил. В первом туре шестерых отобрали, во втором — двоих: мне подфартило да пожилому гармонисту... Коренев, слышал?..

В Иваново, помню, собрались на репетицию; гармонисты разнаряженные, а Заволокин им: «Это что за маскарад?! Вы куда вырядились?! Что это за кисточки на сапогах?! Вы зачем цветочки в кепки навтыкали?! Снимите, будьте простыми, как в жизни, вы же не ансамбль песни и пляски. Выходи, в чём ходишь, хоть в свитере...»

Я покосился на ряженого гармониста: ишь, бранит мужиков на пару с Заволокиным — вырядились, а сам вечно в русской рубахе...

А жили мы шикарно, в гостинице, кормились в ресторане, там можно и выпить. Геннадий... умный мужик... так и говорит: «Что вы все, как замороженные?! Ну, выпейте, как в деревне на Масленице. Может, повеселеете...» Все дрожат, а я пошто-то, Григорич, не такой был, отчаянный, бедовый. Эх, мне бы грамотёшки, я бы не железо варил, я бы на гармошке в Кремле играл... в Кремлёвском зале. А что?! Не боги горшки обжигают...

— Ишь куда занесло... Ты бы играл, а Ельцин плясал... — ёрничал я.

— А что, Ельцин бы вжарил стакан водяры и сплясал... Ну, я в Иваново ка-ак врезал попури на темы сибирских плясок, так, веришь, Григорич, ивановские ткачихи на руках носили...

Пытался я вообразить: дородные ткачихи носят на руках Аполинария Серафимыча, но воображения не хватило, даже писательского.

— Потом и Коренев сыграл... И вот ...Григорич, запиши... стали мы с ним дипломанты Всероссийского конкурса «Играй, гармонь!»... короче, дали мы жару в Иваново, сибиряки же. В телевизоре гляжу: сплошь я и Геннадий Заволокин...

«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело...»

— Люблю играть... и даже для себя. Да... Летом окошки распахну и завожу свою шарманку. Гармошка у меня звонкая, далеко слышать, по заказу сделали в Шуче, а я расписал... Соседи во дворе сидят, просят ещё сыграть. Я смеюсь, дескать, билеты покупайте. А в молодости любил на реке играть. На Лене, бывало, возьмём лодку с другом, он гребет, а я играю; звук голосисто, широко, далеко плывёт по воде. В Иркутске на Ангаре любил играть либо на море. Да...

И вот, Григорич, снится мне гармошка и снится. Замотали меня эти сны. И такие я во сне вариации даю, что и сам потом не пойму: откуда что берётся?! Талант, видно; мне бы в артисты податься, а не железо варить... Раньше я так не играл, как сейчас... Проснусь, хватя за гармонь и, веришь, Григорич, то же играю, что во сне. Помню, Есенина во сне сыграл и спел, а утром, ещё ничем ничо, ещё не чаевал, взял гармонь и...

Аполинарий сгрёб гармонь, печально заиграл, запел осипшим голосом:

*...Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далёкий...
Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.
А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.*

Пропел гармонист «под чужую песню и смеюсь и плачу», и в глазах слёзно засветилась кручина...

— Все играю, что душе угодно, а стильную музыку не люблю — молот в кузне наяривает. Мелодии нету, души нету, дурь одна прёт... А народ-то любит русскую музыку — живая, народная... Вот я бывал на свадьбах, на юбилеях, на проводинах, именинах, и только заиграю — всё, колотовку вырубают, и все, старые и малые, поют и пляшут под гармонь. У меня же музыка живая, и слова чистые, не то что в телевизоре помои... Случай был... Я дочь замуж отдавал. Взял гармошку на свадьбу. А дочь мне: «Там же, папа, молодые. Пусть аппаратура играет. Ты, говорит, папа, гармошку не бери. Вместе с мамой будете возле меня сидеть, как положено...» Но я свою гармозею всё же взял, не задавит... И веришь, Григорич, во время свадьбы аппаратура накалилась... от рёва-то... и замкнула, и задымилась. Всё, хана, без музыки остались... Вот тут моя гармонь-то и сгодилась. Взял, ка-ак врезал, все аж рты раскрыли. Так и отыграл на дочкиной свадьбе, и все напелись, наплясались, и довольны остались...

Слушаю я заносчивую похвальбу... дитя дитём... посмеиваюсь про себя, но пишу в книжку: в Иваново ткачихи до упаду хлопали, губернатор руку жал, хмельной мужик на колени пал перед гармошкой, частушечницы всего исцеловали... Потом гармонист поплакался:

— Играть зовут, а не платят — всё на дармовщинку норовят или за рюмку водки, а у меня пенсия грошовая, мать и жена... Да, Григорич, не будь гармошки — то-

ска, а не жизнь, когда нищета кругом, а барыги наживаются...⁴ Я же, Григорич, по первости был демократ от кудрей до пят, Ельцина защищал, а теперь, ежели того черт приберёт, стакан самогона махну, выйду во двор, буду на гармошке играть и плясать...

— Ну-у... Аполинарий Серафимыч, так тоже нельзя, грех, живая душа...

— Живая не живая... Угробил страну со своими причиндалами, а за Россию сколь народу головы сложили?! Миллионы... Мужики и бабы горбатились в холоде, голоде, строили Россию, а эти... крысы!.. махом страну разворовали... Веришь, Григорич, на всю Россию прославился, трижды в телевизоре казали... «Играй, гармонь!» видал?.. На пару с Заволокиным играл... — глаза гармониста вспыхнули хвастливым голубоватым светом и погасли, словно затянул небо сырой и стылый морок. — А эти... — безнадёжно махнул рукой, и я догадался: в сторону здешнего начальства, — эти не ценят: сколь пороги обивал, рубаху русскую выхаживал, ничо не выходил, зря ноги исшоркал... Калымил... я же сварщик классный... и на калым гармошку взял, рубаху сшил... Не ценят самородков... И на концерты перестали звать...

Позже я смекнул, почему на сборных концертах Ухова бояться как огня: одеяло на себя тянет и власти обличает... Режиссёр театра, старинный приятель, затеял губернский концерт народного творчества, и я слёзно просил, умолял и Ухова на сцену выпустить.

— Эту, тигру?! — вздыбился режиссёр. — Не в жизнь!.. Начнёт чудить, его же со сцены палкой не сгонишь...

— Да не бойся, я же поговорю с ним....

— Ой, боюсь я, как бы чего не утворил... Сам губернатор обещал... Мне же потом башку снесут, если что...

— Да он же самородок, у Заволокина играл. Не бойся...

— Но смотри, Толя, если что, всё на тебя свалю.

— Вали-и, снова живём...

И вот концерт в разгаре; губернатор, словно на троне, чинно восседает на лепном балконе, рядом пышная жена, потом чиновники; а самородки поют и пляшут, лихо бренчат на балалайках. Приспело время Ухова... Выкатился колобом в подпоясанной кушаком долгополой рубахе с красными обережными крестами, в рыжих, фасонисто сморщенных хромовых сапогах, над которыми нависали шаровары. «Как ещё лапти не напялил либо ичиги?! — подумал я с улыбкой. — С Аполинария бы сталось...» Поясно поклонившись, Аполинарий Серафимыч прежде чем развернуть гармонь, похвастался, что что у него за сварку и гармонь полкома грамот, что вместе с Заволокиным играл в Иркутске и в Иваново, где снимались картины «Играй, гармонь!». Потом гармонист посетовал, что губернские и столичные власти не ценят русскую музыку: год просил гармошку и концертную рубаху, не выпросил, на свои кровные купил.

— Это что же в России делается?! — голос Аполинария Серафимыча обличительно зазвенел. — Радио как врубишь, либо телевизор — песенки дешёвые, а то сплошь нерусские... Это что, в России уже русского народа нету?! Да ещё тюремные песенки на всех углах: в автобус сядешь — хрипатые орут, в поезде едешь — орут; на дачу убежишь, думаешь, там тихо, нет, и там хрипатые орут... Воля хрипатым, у которых голоса нету... И куда власти глядят?! Это кого же мы вырастим на блатных куплетах?.. Каторжан?.. При народной власти, помню, хоть изредка,

⁴Встреча наша случилась в середине девяностых годов XX века, в разгар ельцинского правления.

но крутили же в телевизоре русскую музыку — народные хоры, баянисты, гармонисты. А нынче русскую музыку к телевизору даже близко не подпускают. Это кто же в России правит, ежели русскую музыку боятся как черт ладана?!

Слушал я пламенную речь Аполинария Серафимыча, вспоминал, что и я печалился о том же лет десять назад, и даже запечатлел кручину в очерке «Что посеешь, то пожнёшь»⁵: *В связи со сверхмощными, рвущими перепонки ушей, магнитофонными усилителями вся нынешняя бульварная и уголовно-блатная музыка стала воистину казнь Господня, превратилась в орудие наказания отцов чадами, в орудие насилия, истязания, от коего даже на лесной даче не утаишься. Вошёл в трамвай или автобус, там уже врубили «музыку», и хочешь не хочешь, вынужден слушать «лязг и грохот железа» да сладострастные вопли, словно розовые сопли; вынужден мучиться, страдать, лютой ненавистью ненавидеть любителя лязга и кошачьих воплей; слушать и слушать до оупения, до отчаянья мусорный поток звуков, подвывание, повизгивание, скрежет, похожий на скрежет медного таза, когда им елозят по песку, отчего у тебя противно холодеет внизу живота. Потный, измочаленный, оглушённый машинным и «музыкальным» грохотом, отравленный бензиновым угаром, издёрганый и до отказа набитый злобой очередей и давок, ступаешь в своё предместье, в надежде хоть в тени вековых тополей утаиться от воздуха, раскалённого музыкальным рёвом, но тут же на твою больную, и без того гудящую голову каменным градом рушится из окон девятиэтажной вавилонской башни «тяжёлый» или «чугунно-литейный» рок, или, словно «пером урки в кожаной тужурке», буравит сердце куражливо-блатной, с хрипотцой под Высоцкого, нахальный голос, внушающий тебе: «Кто не курит и не пьёт, тот здоровенький умрёт. Водочка, ах, водочка...» или пугающий сценами из уголовной жизни «малины»: «За ненадобностью вам я отрежу уши...» А во дворе пасётся детвора, не ведая, куда себя сунуть. И кого мы вырастим под эдакую музыку?.. Пьяниц?.. наркоманов?.. варнаков и жуликов?.. Злой, как цепной пёс, бежишь в свою конуру, чтобы хоть в норе спрятаться от «музыкального разбоя», но и там тебя настигают вопли, — где-то в квартире ниже или выше, слева или справа обезумевший «меломан» врубает сверхмощную аппаратуру и... хоть заживо в гроб ложись или, как матушка говорила, глаза завяжи да в омут бежи. С горя махнёшь на дачу, и в садоводстве та же песня, дикая, угнетающая душу...*

Жаркая речь Аполинария Серафимыча сморила публику; в зале зашумели, зашаркали ногами, чтоб заглушить краснопевца; и тогда гармонист голосисто зачитал из Есенина:

*Сыть, тальянка, звонко, сыть, тальянка, смело
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несётся песня к милой до порога...*

А уж после стиха гармонист, ка-ак врезал попури по мотивам русских песен, да ка-ак пошёл плясать с гармошкой, пускаясь вприсядку, что и народ завеселел, зашумел... похоже, иные мужики плясали сидя, топоча и шаркая башмаками... и разыгрался, расплясался Аполинарий Серафимыч без уговона и укорота.

Я слышал, как режиссёр скрипел зубами, злобно шептал мне на ухо:

— Что творит, а!.. что творит!.. Без ножа режет... Одеяло же тянет на себя... Ну, Толя, удружи-ил... — режиссёр покосился на лепной балкон и в

⁵Очерк был написан в 1987 году и опубликован в очерковой книге «Яко богиню нареки» (М., 1991).

ужасе узрел: губернатор и свита на ногах, вроде, отчалить собрались, утомлённые гармонистом.

Мне бы, словно козе пакостливой, покаянно опустить глаза долу, а я разлыбил-ся, как сайка на прилавке: мне дед привиделся, Царствие ему Небесное...

Лазарь Ананьевич Андриевский, дед по материнскому крылу, прожил сто шесть лет — и я, народившись в половине прошлого века, до шести лет вертелся подле деда Лазаря, когда мать с оказией посылала меня в село Погромна на откорм; там древний старик обитал у материной сестры Валентины Лазаревны. В былые лета я поведал о том, что я запомнил деда сказочным ощущением, словно подслушал дремучую бывальщину, осевшую на донышке памяти; и в ощущения вплелись поминания родичей, и ныне, продираясь сквозь туманную наволочь века, с тоской и любовью вижу, как дед Лазарь, облысевший и обмелевший, словно речка Погромка в сушь, сутулится возле самовара, спиной к окну, и усталое солнце озаряет старика тихим сиянием, и дедово лицо, опущенное реденькой, изжелта-белой сухой бородой купается в задумчивом предзакатном свете, тает, и лишь оттопыренные уши по-младенчески нежно розовеют. Лет до ста дед Лазарь подсоблял вдовым молодухам, вдовым дочерям — возил дрова из леса, но ближе к ста шести годам впал в детство, и мы стали годками, что старый, то и малый; бранились за столом до слёз, не поделив картоху, варённую в мундире, которую тётя Валя высыпала из парящей чугушки на некрашеную, но дожелта выскобленную столешницу. «Один задериха, другой неспустиха», — умилённо посмеиваясь, качала головой тётя Валя.

Братья-большаки поминали: на Троицу родня гуляла в ограде, озеленённой троицкими кумушками-берёзками, и когда в застолье оживала гармошка, хохотала и рыдала над «камаринским мужиком», дед Лазарь пускался в пляс: постукивал ичижонками⁶ в задеревенелую землю, помахивал сухими крылами. А гармонист дразнил, задорил деда:

*Деревенский старичок
Помирал во вторничок,
Ему стали гроб тесать,
Он вскочил, давай плясать...*

И вот, бывало, мужики и бабы запыхаются, опадут на лавки, гармонист истомится по рюмке, а дед пляшет и пляшет, словно заведённый до скончания века, да ручонками помахивает, припевает:

*Ох, топну ногой
Да притопну другой.
Сколько я ни топочу,
Всё равно плясать хочу!*

Чуя неладное... старик бы вусмерть не заплясался... мужики, бывало, ухватят деда под крылья и несут в избу, а старик, повисший на мужичьих руках, весело дрыгает ногами, пляшет на весу...

Вот и Аполинарный Серафимыч, вроде деда Лазаря, играл на гармошке и плясал, хотя уже явился ведущий с микрофоном — холёный малый в чёрном костюме с бабочкой, а за добрым молодцем уже и девицы в светлых сарафанах поплыли, словно лебедушки на пруду. Холёный с микрофоном, сладко улыбаясь, досадливо покосился на гармониста, исподтишка сладил ему страшное лицо, бранно проши-

⁶Ичиги — мягкие сапоги из сыромятной кожи.

пел, и Аполинарий Серафимыч с горем пополам уговорился. А режиссёр облегчённо вздохнул, углядев, что губернатор, а за ним и свита поднялись, но, похоже, не от возмущения, от восхищения... так лихо губернатор хлопал в ладони... и когда Аполинария Серафимыча согнали со сцены, вельможи вновь уселись в кресла. А спустя месяц гармониста осчастливили Губернаторской премией, и народ судачил, что губернатор, слободской парень, и сам в отрочестве терзал гармошку, что самолично хлебом-солью встречал Геннадия Заволокина и его конкурс «Играй, гармонь!», где, может, и высмотрел диво-гармониста.

«Золотых огней гидростанции...»

Ликовали колокола Харлампиевского храма, сзывая крещёных к воскресной заутрене, и молитвенной душе слышалось в колокольном звоне: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...» А в храме, ещё малолюдном, по-зимнему сумеречном, клирошане читали молитвы и богомольцы возжигали свечи возле аналая, поясню кланялись и, осенив душу троекратным крестным знамением, целовали на престольную икону. Затем, падая ниц, приникали губами к изножью Христова Распятъя, к образам архангела Михаила, святых угодников и страстотерпцев. Пожилая мирянка, облачённая в чёрное, скорбное, почудилась мне знакомой; в лице её, ныне иконном, зарницами плавали отцветы былой смуглой красы; и вглядевшись, признал я в мирянке жену гармониста Ухова, с которым давным-давно не виделся. Галина шептала зауспокойную молитву, а коль я молился рядом с благочестивой богомольцей, то и услышал в зауспокойной мольбе имя раба Божия Аполинария... После службы, поцеловав крест, выискал Галину, и мы присели на лавочку возле серебристой крещальной купели, и вдова поведала:

— ...Преображение было... Яблочный спас... Под вечер с Мишей... старинный друг, они напарники были, когда строили ГЭС... и вот, значит, Аполинарий с Мишей спустились к морю возле ГЭС, ну, сразу за плотиной... Аполинарий, Царствие ему Небесное, любил возле моря на гармошке поиграть, народ повеселить... И браво так сидели: Аполинарий на гармошке играл, Миша пел... Миша голосистый, на сцене пел, когда гидростанцию строили... Сидели, никому не мешали; нет, блатные подошли — за кустами гуляли, и один велит: ты, говорит, дед, заглохни со своей голяшкой... Аполинарию бы стихнуть, не лезть на рожон, не искушать, а он пуще разыгрался, а Миша запел... про гидростанцию — строили же... Ну и... напели на свою шею... — вдова заплакала, потом спохватилась, перекрестилась. — Миша-то помоложе, поздоровей, моего и привёл. Я глянула... страсть Господня, краше в гроб кладут... С месяц помаялся... — вдова тяжело поднялась, побожилась на иконостас Харлампиевского придела. — Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Аполинария, и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное... Слава Богу, батюшка исповедал, причастил Святых Даров, потом соборовал... Аполинарий всё скорбел: не грех, поди, что на гармошке-то играл? Поди, не грех... а чтоб народ не унывал: унынье же — грех...

Вдова поведала лихо и тихо ушла из храма, а я вообразил, как Аполинарий Серафимыч без надрыва, нежно и плавно играет, а голосистый Миша поёт; и стелется песнь предсумеречным туманом над родной Ангарой, обращённой в рукотворное море: «...Ты навеки нам стала близкою, величавая Ангара... В золотых

огнях гидростанции... вера юности горяча...» Помянулась первая встреча с гармонистом: в игривом, певучем застолье, поплакавшись на лихую судьбинушку... на концерты не зовут, на гулянках не платят... Аполинарий Серафимыч опять заиграл; и я слушал гармонь, подобно душе русской, то вечернюю нежную, то буйную, разухабистую, то куражливо перебористую; слушал — и душа купалась в усладе, словно приехал в родовое село, и под розовым абажуром, за круглым столом, укрытым вишнёвой скатертью с кистями, вся моя родова; сели чаевать, выпить винца с хлебцем, поразмыслить: выживем ли нынче, или заживо в домовины падать?... И, вроде, мама жива, и отец играет на гармонии — шевелюра крыльями, глаза светятся, что две победные медали на груди, и четыре брата, и две сестры в силе и здравии... И, вроде, не уходит в землю наша стемневшая, изрытая морщинами, подслеповатая изба, и вечер синий тихо кутает село...

2015 год



О стратегии спасения Союза писателей

Несмотря на очевидную важность ближайших организационных задач, стоящих перед Союзом писателей, первоочередным вопросом (и вопросом существования Союза в принципе) была и остаётся *долгосрочная стратегия действий*. Мы все понимаем культурно-историческую и общественную значимость Союза писателей — и понимаем её не только мы. Иначе бы не был столь унижен, оболган и облит презрением писательский труд, не держалась бы постоянно наготове распиаренная команда идеологически верных либералам литераторов, не объявляли бы периодически историю Союза писателей постыдной историей периода советского тоталитаризма, не стремились бы подменить стратегические вопросы вопросами власти, собственности и писательских дач.

Мир стремительно меняется. Это не новость. Смутные очертания будущего страшны и примитивны (чтобы не сказать — чудовищны): глобализм в его самом уродливом социал-дарвинистском изводе — всё для немногочисленной элиты и остальное для презренной черни, количество которой должно быть радикально сокращено в соответствии с количеством ресурсов, ей отпущенных. Об образовании, здравоохранении и прочих сентиментах лучше забыть, чтобы зря не расстраиваться. Про духовность не стоит вообще — слово стало синонимом полного отрыва от реальности. Уже очевидно, что передел собственности и борьба за власть — дымовая завеса глобального переформатирования человека, общества, цивилизации.

Но нельзя забывать, что это только проект. Проект, над которым десятилетиями, если не больше, *работают конкретные организации*, фонды и движения, прикрываясь проблемами экологии, прав человека (более узко — женщин или детей) и прочими вроде бы актуальными темами. Тот же Фонд Сороса, к примеру, «зашёл» в Россию 1990-х с полным боекомплект — начиная от «демократических» идей и заканчивая комплектами вузовских учебников, в которых открыто говорилось: русская культура не имеет своего ценностно-смыслового ядра, и замимствовать его надо на Западе. Филиалы и грантополучатели этих организаций в

России множились, как грибы, и почитались продвинутыми, и только в последнее время их деятельность законодательно ограничивается.

Всем понятно, что любые организации создаются под реальные задачи — задачи эпохи, социокультурной системы и так далее. И формулирует их стратегическую цель внятный, конкретный ответ на вопрос «зачем?». Этот вопрос должны задать себе и мы: зачем нужен Союз писателей сегодня, когда любая группа пишущих может организовать своё сообщество и наладить — даже очень неплохо — издание и пропаганду своих книг? Зачем Союзу писателей России так отстаивать свою культурную легитимность, государственную значимость, правопреемственность по отношению к Союзу писателей СССР? Чем больше конкретики в вопросах, тем отчётливее проступят ответы, которые должны быть не просто точными — они должны быть действенными.

Союз писателей СССР создавался в труднейшие для страны годы, перед страшной войной — создавался как *инструмент долгосрочного культурного регулирования* общественной жизни. Государством в экстремальной ситуации — чтобы страна выжила — был задействован весь набор регуляторов: от жёстких (репрессивных) до мягких (культурных). Жёсткие регуляторы осуществляют быстрое, но краткосрочное насильственное воздействие, ко всему прочему чреватое столь же жёстким общественным реваншем, в чём мы воочию убедились в 1990-е. Культурные регуляторы работают медленнее, но ненасильственно закладывают устойчивый порядок на десятилетия. Они обеспечивают общественное взаимопонимание (в том числе и межнациональное), передачу традиции из поколения в поколение и возможности личностной самореализации.

Эффективность Союза писателей как инструмента, воздействующего на социум в долгосрочной проекции «память — зеркало — моделирование будущего» была огромна. И не рассказывайте нам ужасов про писательский бюрократизм, секретарскую литературу и преследование несогласных — исторический результат работы Союза настолько велик, что и по сей час держит духовные связи на политически уже 26 лет как распавшемся пространстве.

Смешно думать, что Союз создавался как форма удовлетворения личных писательских амбиций или для социальной поддержки представителей этой редкой профессии — всё гораздо прагматичней и жёстче: стране при помощи этого инструментария надо было выжить, победить, восстать из руин и нацелиться в космос. Что она и сделала. Сделала потому, что во всех этих задачах на первом месте был человек — творческая личность, яркая индивидуальность, исполненная оптимизма (то есть фактически веры в свой успех). *А такая личность формируется только долгосрочными культурными регуляторами. И слово — ключевое звено в последовательности её формирования, мощный инструмент пробуждения и поддержания пассионарности.*

Да, советская реальность, как и любая другая, была сложной и многозначной. Мы не её сейчас оцениваем — мы говорим об инструментах достижения жизненно важных целей. Советскую эпоху не вернуть, и смысла в этом возвращении нет, но не использовать её уникальный опыт в критических исторических условиях — преступно. Не случайно же с началом «перестройки» все *долгосрочные культурные регуляторы, инструменты ненасильственного упорядочивания социума были демонтированы*: раскол идеологический, раздербан имуществва, изоляция регионов, разжигание национальной розни... Только не надо говорить, что писатели (и кинематографисты, и театралы, и др.) раскололись и переругались сами: творческая среда очень слож-

но устроена, и достаточно умело запустить процесс распада, слегка подтолкнуть его, чтобы посеять смуту, направить её в нужное разрушителям русло и обогатить всех.

Почему произошёл демонтаж культурных регуляторов? Изменились цели. *Стала не нужна творческая личность. А вслед за этим закономерно и запросто оказался практически не нужен и человек.* И началось расчеловечивание. И это вовсе не российская специфика — это глобальный процесс, в который мы как страна оказались включены, имея советский запас прочности и частично — волей государственно мыслящих людей — сохранив советский инструментарий долгосрочного развития. Сегодня эти инструменты и опыт их использования — наш шанс выжить, сохраниться в истории, передать будущее детям и внукам. Более того, сегодня это шанс человечеству выжить вообще, ибо, *утратив человеческое, человек станет не нужен Природе — и она его уничтожит.*

И общество, и государство, хотя и не в полной мере, уже почувствовали опасную близость исторического небытия. Да, государство ещё не сформировало жизнеспасающую идеологию, а общество ещё очаровано призраком относительного комфорта и не осознаёт в полной мере реальную и очень близкую возможность гибели, но, несомненно, воспряла *метафизическая воля самого народа к жизни.* Воля эта сегодня ощутима во многих проявлениях, в особом осмыслении истории, дня сегодняшнего, в жгучей потребности внятного проекта будущего. И да — она всё настойчивее требует выстроенной, идеологически осмысленной, целенаправленной долгосрочной нравственной деятельности, в которой константами становятся совесть и справедливость.

Союз писателей снова востребован сегодня как активный рабочий инструмент. Будущее не предопределено, мало того — да, существуют объективные экономические и политические процессы, которые вроде бы и довлеют над всеми остальными, но в конечном итоге именно культурные регуляторы «переключают» направления этих процессов, причём зачастую в самый неожиданный момент. Кроме того, культурные регуляторы, в отличие от экономических и политических, максимально экономичны: они рассчитаны преимущественно на пробуждение сущностных сил человека, а не на привлечение широкомасштабных внешних инвестиций. И в мобилизационном режиме они оказываются наиболее выгодными экономически.

Какой должна быть стратегия выживания и победы (а сегодня это явные контекстуальные синонимы)? Первое: она должна быть *культурной* (а не экономической, политической, идеологической и др.). Культура — совокупный нравственный опыт выживания народа в конкретных географических и исторических условиях, опыт, оплаченный жизнями наших предков, охватывающий все сферы жизни, в том числе экономику и политику. Литература — аккумулятор этого нравственного опыта.

В этом смысле культура русской (в одной из ипостасей — советской) цивилизации может оказаться спасительной для всех — о её силе можно судить хотя бы по потокам грязи, всё ещё щедро выливаемым на русских и русское. Национальная культура формирует национальную экономику, политику, идеологию и пр. Она шире всего, к чему литераторы в отчаянии пытаются сегодня прислониться, ища финансовой поддержки или политической опеки. Прислониться не получится — нужно *искать союзников* среди тех, в ком столь же сильна воля к жизни. Такие союзники сегодня есть во всех сферах общества, у людей всех национальностей.

Попадая под финансовую или политическую опеку какого-либо определённого направления, литература рискует утратить самостояние и культурную все-

охватность, союзничество же предполагает объединение равных для достижения общей цели. Смысл имеет только государственная опека, поскольку государство объединяет все общественные направления и обеспечивает жизнеспособность всей страны как единого целого.

Сегодня государство начинает стратегически выстраивать культурную политику, системно поддерживать искусство профессиональное и самодеятельное, но сам процесс идёт очень трудно, поскольку четверть века «коротких» мыслей и «коротких» решений (и в центре, и на местах) приучили управляющий аппарат к ситуативным, тактическим решениям, и стратегическое видение нужно воспитывать заново. А писатели, четверть века выполнявшие государственную задачу сохранения культуры лично и поодиночке, вопреки обстоятельствам, — тоже очень трудно находят общий язык с руководством разных уровней. Не видя постепенно открывающихся возможностей, они зачастую предпочитают не идти навстречу администрации, а критиковать её — проблем-то хватает.

Второй момент: стратегия должна быть *глобальной*. В том смысле, в каком уже стала глобальной проблема человека — проблема не горизонтальная (территориальная) а вертикальная (сущностная). И в неё комплексом входит всё, чем занимается литература, чем она стремится заниматься и далее: это нравственная оценка происходящего в реальности (поверка временного вечным), духовное воспитание на основе традиции (помним: именно традиция обеспечивает выживание в данном географическом и историческом пространстве!), сохранение и возвращение в человеке совестливости, сострадания, милосердия — словом, всех тех качеств, которые и делают нас людьми и определяют смысл нашего бытия в Природе. Этим занимается в обществе не только литература — но только она формирует и передаёт культурную память в слове и образе, и потому является основой, источником смысла для всех остальных.

Профсоюзный вариант существования писательской организации явно невозможен — до тех пор, пока деятельность Союза писателей не станет частью государственной культурной политики. Поэтому сегодня по-прежнему мало быть писателем — нужно становиться пропагандистом литературы (не только собственных книг!), организатором литературного движения, творцом, искателем и носителем смысла жизни в настойчиво обесмысливаемом пространстве. В определённом смысле это должна быть философская стратегия.

Третье: стратегия должна быть *долгосрочной*. Тройная функция литературы — «память — зеркало — проект» максимально долгосрочна в своей сущности, в протяжённой во времени триаде, и отстаивая только одно из этих звеньев, например память, мы рискуем потерпеть поражение, ибо память сама по себе ничто, наименьший сантимент в условиях хищного рынка. Но она становится всем, когда начинает работать как опора для настоящего и будущего.

Четвёртое: стратегия должна быть *открытой для постоянных и ситуативных союзников*. Программе самоуничтожения, запущенной глобалистами, сегодня реально противостоит воля к жизни огромного количества самых разных людей, отдельных и объединённых в сообщества, организации, партии и др. Они понимают или чувствуют, что, утрачивая человеческое, обрекают себя и своих детей на неизбежную гибель. Это потенциальные союзники, и самые надёжные среди них — семья, педагогическое и библиотечное сообщества, церковь, здоровые патриотические движения... Сегодня по сравнению, например, с теми же пресловутыми 1990-ми, литературный мир развивается очень активно: совещания молодых, фестивали,

литературные праздники и конференции... Из этого разнообразия необходимо брать и продвигать те формы работы, которые находятся в русле духовной традиции, развивают, а не «самовыражают» личность, несут в себе нравственный смысл. И это работа для профессионалов.

Наконец, пятое: стратегия должна *использовать и сама организовывать коридор возможностей*. Этот коридор может сужаться или расширяться (сейчас он очень узкий), но даже в очень узком коридоре возможностей можно, не теряя времени, постоянно двигаться в нужном направлении, если есть стратегическая цель. «Коридорная» стратегия сегодня — наиболее продуктивная из всех, на начальном этапе для неё важна только воля, в нашем случае — воля быть. Что мы реально можем сегодня?

- объединить под руководством сильного руководящего центра все здоровые, патриотические писательские силы;

- активизировать и поддержать самостоятельное литературное движение;

- определить критерии профессионализма и строго их придерживаться в повседневной литературной работе и приёме в профессиональное сообщество;

- передавать опыт растущей литературной смене;

- формировать и пополнять корпус качественной, нравственно выверенной современной художественной литературы;

- развивать систему связей с национальными литературами народов России и переводческую деятельность, особо — привлекать к этой деятельности молодых;

- расширять круг союзников и стратегически решать ситуативные вопросы;

- постепенно выстраивать взаимодействие с властью — от ситуативного к стратегическому — на всех уровнях;

- не допускать раскола писательского движения и тщательно разбирать сложные конфликтные ситуации не только по букве, но и согласно духу Устава. Сильный центр нужен для того, чтобы сдерживать центробежные процессы, но нельзя педалировать и неизбежные центростремительные тенденции — равновесие здесь держать сложно, но жизненно важно. Должна нас чему-то научить и горькая история с Оренбургом, где дух и буква Устава сошлись в непримиримом яростном конфликте, принеся столько вреда реальной литературе.

В итоге мы видим, что «коридор» не так уж и узок. Но даже если в нём останется одна «полоса возможностей», он будет работать и постепенно расширяться. Важно двигаться по нему. Все остальные вопросы, столь болезненные сегодня для Союза писателей, естественно решаются в русле стратегической цели:

- кто может возглавить движение к этой цели;

- какая рабочая структура нужна для этой работы;

- какая материальная база является необходимой и достаточной при условии жёстко экономного режима работы;

- кто может эту работу вести в регионах;

- каким образом привлекать и готовить кадры для целенаправленной стратегической культурной деятельности.

Естественно, первое возражение, с которым мы сталкиваемся: писатель — это индивидуальность, труд его индивидуален, нельзя всех строить и стройными рядами направлять к цели. Да, индивидуальность. Да, индивидуален. Да, нельзя.

Но когда речь идёт о том, быть или не быть этой самой индивидуальности в принципе, возможно, всё-таки стоит мобилизоваться и отстаивать своё право на жизнь и творческий труд перед грозным вызовом реальности, общим для всех. Давайте ещё раз вспомним, в какое время и с какой целью был создан Союз писателей.

По сути, это элемент (инструмент) мобилизационного режима работы государства в ситуации, когда необходимо жертвовать личным ради общего, чтобы выжить всем.

Предвижу второй вопрос — по «коридорной» стратегии: «Где деньги, Зин?» В смысле, кто будет платить за это зарплату. Да, надо прямо сказать и об этом. Наше поколение не застало «тучных» для литературного сообщества лет позднего социализма. Придя в литературу в 1990-е, мы сразу, с порога, поняли несколько довольно страшных для писателя вещей:

— ты никому не нужен в принципе, твой талант — это твоя личная проблема, и больше ничья;

— если тебе так уж нужно, сам создавай для себя пространство, вдыхай в него воздух и постоянно поддерживай в нём жизнь — тебе уставать нельзя;

— ты не можешь рассчитывать на материальное возмещение своих трудозатрат, но волен вкладывать в дело зарплату, которую получаешь за другую работу. Ну или иди проси — авось, кто смилостивится после того, как посмеётся над попрошайкой;

— ты делаешь дело государственной важности лично, в одиночку, в ситуации отверженности и крайней униженности твоей профессии;

— когда ты растишь молодых, ты понимаешь, что они столкнутся с теми же проблемами, что и ты, и далеко не все выдержат, и, может быть, ты даже не имеешь морального права вести их в профессию с такой высокой степенью риска;

— в таких условиях в одиночку просто не выживают (кстати, по негласной статистике из родившихся в 1960-е в России в 1990-е выжил каждый пятый. Думаю, для писателей нашего поколения цифра ещё страшнее), поэтому тебе нужен Союз писателей, Союз коллег и единомышленников. И ты понимаешь всё и готов жертвовать личным ради общего.

И когда в борьбе за власть в Союзе писателей и за остатки его собственности начинают обличать одних, соблазнять невозможными сегодня преференциями других, отпихивать локтями третьих, ты видишь, как далеко это от реальности, как катастрофически несоотносимо с общими целями, как — в конечном итоге — гибельно для всех.

АНДРЕЙ АНТИПИН



Две реки. Две судьбы

ОЧЕРК

— Он у меня человек военный: он слушается! — такими словами встретила меня Варвара Петровна Корзенникова, или по-деревенски просто бабка Варя, командовав старому лохматому псу отправляться в будку.

И пёс, волоча цепь по тротуару, послушно спрятался.

Но лаять не перестал. И пока я запирал ворота на щеколду, а потом шёл по двору с кустом сирени у крыльца, бабка Варя стояла возле будки, заслонив собой выход.

* * *

Из подымахинских старух бабка Варя оказалась самой крепкой и сохранный, словно дошедшей из какого-то другого века, в котором и люди были совсем не те, что стали потом. И хотя все они, бабка Варя и её деревенские подруги, пришли примерно из одного времени, из трудных послереволюционных лет, всё-таки бабка Варя и среди сверстниц выдалась на отличку, и когда другие старухи попри- тихли и больше сидели на лавочках, чем гоношились по хозяйству, она всё ещё длилась, всё ещё действовала, всё ещё была по маковку погружена в жизнь. На

АНТИПИН Андрей Александрович родился 19 августа 1984 г. в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. В 2008 г. заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публиковался в журналах «Молоко», «Москва», «Наш современник», «Сибирь», «Юность». В 2012 г. в Иркутске вышла первая книга — *«Капли марта»* («Издатель Сапронов»). Вторая книга — *«Житейная история»* («Сибирская книга», 2012). Лауреат премии Леонида Леонова журнала «Наш современник», премии журнала «Наш современник» за лучшую публикацию 2013 года, премии им. А. Гончарова и премии «Золотой Дельвиг». Член Союза писателей России. Живёт в родном селе.

моей памяти бабка Варя (а ей уже было далеко за восемьдесят) наравне с молодыми копала картошку, так долго стоя внаклонку с небольшой копарулей¹ в руках и разгибаясь лишь затем, чтобы поправить платок или выудить заданную² мошку из глаза, что не я один, а все кругом восхищались этой её способностью к тяжёлому крестьянскому труду даже в глубокой старости.

Вот и в свои неполные девяносто два бабка Варя ещё подвижна, и хотя ходит, налегая на посох, как на третью ногу, без которой никуда, в каждом её слове, в выражении глаз и во всём облике угадываются прежние проворство и двужильность. Вместе с тем не перестают удивлять необычайно свежая память бабки Вари и неутраченная ею живость воспоминаний, так густо и плотно населённых лицами, именами, предметами, названиями, оборотами речи и другими мелкими подробностями, что приходится жалеть об этом изрядно оскудевшем со временем даре русских людей — рассказывать.

Судьба первая. Русский тунгус

Живёт бабка Варя по Школьной. А всего улиц в Подымахино две — в два ряда: Партизанская в переднем, с видом на реку, и Школьная через дорогу, ближе к огородам. Когда-то избы тянулись по-над Леной в один ряд. Но после страшного наводнения 1915 года (после «потопы», как тут до сих пор иногда говорят, по-женски смягчая это слово) сделали отступ от реки, спятив избы подальше, в поле, и лишь со временем снова стали строиться по угору. Так и образовались две улицы.

Изба бабки Вари, как раньше сказали бы, — у медпункта³. Небольшая. В лапу рубленая. Три окошка в проулок, три — во двор. Нехитрые наличники. Двускатная, как у зимовья, тесовая крыша. Во всём — крепкое, сибирское. Северное. Не пёстрое, не узористое, но сотворённое с упором, необходимым для жизни на этой суровой земле — ни больше ни меньше. То есть — вполне себе аскетическое, что вообще присуще сибирякам, для кого высвобожденное от всего «второстепенного» время — не столько повод для передышки, сколько разгон для десятков других больших и малых дел. А их всегда неуправляемый в таёжном уголке, где — лесистые сопки окрест, а простор только один — вот это небо да коридор большой северной реки, верхом уходящей едва ли не впритык к Байкалу, а низом — в ослеплённую вечной мерзлотой Якутию и дальше, к Северно-Ледовитому океану.

И хотя, как известно, руки в деревне — вес, а слова — пустота, иногда и Слово здесь начинает звучать полновесней, не так, кажется, как в других краях огромной России. И вдруг оно, это Слово, выворачивается доселе неведомой изнанкой с некой бытийной первопричиной во главе, лежащей в основании, как медяк в углу нижнего венца старинных русских изб. Вероятно, это случается тогда, когда Слово воспринимается как единственно доступный и удобный в обращении материал, замены которому нет в природе⁴. В такие мгновения жизни если идут с каким-то разговором, то и разговор, и повод к нему именно что «важны», «первопричинны» сами по себе; иначе говоря — такие, ради которых и самому не со-

¹Крестьянское орудие для копки картошки в виде небольших трезубых (реже зуба — четыре) вил, изогнутых под прямым углом и посаженных на короткий черенок.

²Та, которая «давит», летает густо, атакует со всех сторон.

³Медпункта как такового давно нет, в его «здании» — обшитой досками избе — жилой дом.

⁴Иначе коренной сибиряк непременно произвёл бы такую замену, так глубоко усунувшись в молчание, что назад его и клещами не вызволишь.

вестно средь бела дня загреметь кулаком в ворота, да и хозяина стронуть, занять, оторвать от работы не зазорно.

1

...Я пришёл к бабке Варе, чтобы поговорить о её покойном муже, участнике Великой Отечественной войны, известном в округе рыбаке и охотнике, которого в Подымахино помнят не иначе как «русского тунгуса». Призванный на фронт 20 августа 1941 года, ровно два года спустя, день в день, рядовой 563-го стрелкового полка Дмитрий Константинович Корзенников решением врачебной комиссии был уволен в запас. Первый бой принял под Старой Руссой. На фронте был снайпером. Сражался под Сталинградом и в Крыму, форсировал Сиваш и Днепр. При форсировании Днепра и получил то самое тяжёлое ранение, после которого его сначала госпитализировали, а затем комиссовали. Награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени...

Но не столько об этом наш разговор с бабушкой Варей в один из жарких летних дней 2015 года, когда трещат в траве кузнечики, пахнет землёй и листьями черёмухи, а в речной яме, где пристаёт путейский катер, с визгом купаются деревенские ребятишки, сигая в Лену с врытой в берег широкой доски-нырялки.

— Дмитрий же, дед-то у меня? Да я шас всё перепутала, забыла, с кем и жила! — прислонив посох у двери, смеётся бабушка Варя и легко, едва входим в прохладную после улицы избу и садимся, начинает свой рассказ. — Родился Дмитрий 25 октября 1922 года в Мёрковой⁵. У отца Дмитрия первая жена умерла. А потом он женился, ёлки, вторично, взял каку-то бабу. А она моложе была. Митрий у них родился. Два годика исполнилось — она бросила его и уехала на пароходе в Бодайбо! Эта Зоя. А Истифий Тимофеевич, он с Мёрковой же. Он в школе директором был. В школе-то начальники. Вот он мне и рассказывал это всё, как оне там жили, чё делалось; а так-то бы я откуда знала? Он, говорит, ходил там, Митрий-то, а гуси... Гусей держали. То гуси на него налетают, то чё! Вот это Истифий Тимофеевич рассказывал, директор. Я-то никогда не связывалась с имя! Приезжал потом брат этой Зои, с головой у него не в порядке. Я говорю: «Вы почему его не растили? А сейчас родню находите?!» Ну, он собрался и уехал. Вот такі дела...

— А как дядя Митя в Подымахино оказался?

— Дак вот, подожди. Тунгусы выезжали с Бёлой⁶ — семьдесят километров надо ехать. Там у них постройки были, домá. Там, в общем, Боблóкин жил и Варивóн⁷, два брата. Потом сестра жила. Потом... как же того-то звали? Дед с бабушкой, тоже родня. У них там четыре дома было. Тунгусы, в общем. Продукты вывозили, продавали. Оне его, Дмитрия-то, увезли на Бёлую. Отец отдал. Дед, отец-то Дмитрия, — оне с братом пили так здорово! А у него от первой жены Катя была, дочка. Но Катя говорит: «Мне работать надо!» И вот этот Варивóн, Боблóкина-то брат, у них с Аграфеной детей не было, — и оне его, Дмитрия, забрали. Но оне его хорошо вырастили! Он не обижался! На Тóкму⁸ возили его учиться...

⁵Село в Усть-Кутском районе Иркутской области. Далее упоминаются другие населённые пункты этого же района. Прочие будут обозначены особо.

⁶Речка в Усть-Кутском районе.

⁷Возможно, искажённое «Ларион». Здесь же: у братьев были разные фамилии, что, со слов Варвары Петровны, стало следствием некоей ошибки (вероятно, допущенной при заполнении свидетельства о рождении). Фамилию «Варивона» Варвара Петровна не вспомнила.

⁸Село в Катангском районе Иркутской области.

— А сколько классов он закончил?

— А вот это я не знаю. Ну, может, класса три. Я не спрашивала никогда. Учился да учился...

— Как дядя Митя рос среди тунгусов?

— Занимался рыбалкой, охотой. По Кúте⁹ плавали. Там много зимовий стояло. А вот всё когда на охоту ходили, Варивон его учил. Вот уйдёт, спрячется, а Дмитрий его на дороге¹⁰ — бегат, орёт. Кричит его. Один раз, говорит, на дороге. Бегал-бегал, кричал-кричал, сел и давай плакать! А вот с Боблокиным ходили — тот всегда расскажет, покажет. Нравилось с Боблокиным ходить по лесу.

...Я когда за ём пошла, всю Кúту переплыла. Ну, рыбу, мясо добудут — солят, а потом выплавляют в Усть-Кут¹¹. Там райсо... (как его?) был. Вот туда сдавали. Сохатых набыют. Медведёй... Или вывозят на лошади, в турсуках¹². Лошадь одна была. Оленей много было, маленькие такие ростиком. И вот оне сюда, где сейчас Азёвский, выезжали на них. Там домов-то не было тогда. Ну, привяжут оленей, а так их отпусти — оне убегут. А в Казарки приезжали — тут Никихоровна с Иван Лавреновичем, первый дом стоял. У них Варя была, дочка; но это за вторым (мужем. — А.А.). Это не его была дочка, Варя-то! А потом у него Катя и Аня, две. Две дочки. И вот тунгусы приезжали к ним в гости. Жили, потом уезжали. Митрий-то когда пришёл из армии — тут-то, у Никихоровны, мы и познакомились с нём...¹³

— А где он в армии служил?

— Да Бог его знает! Щас помню, думаешь? В армии был, он же раненый.

— Это на войне?

— Да. Вот война, вот тогда призвали. Там его ранило: оне в окопах сидели... Потом он полз. Там рожь была посеяна, вот он по туда. По пашне. Выполз на дорогу. А как раз ехали, забирали раненых. Пара лошадей, бричка или как там. Телега. Большая такая. Оне его сгребли. Глаз у него раненый был. И вот в спину, ёвот, и сюда вот (в шею. — А.А.) пуля вышла! Если бы не выполз, дак он бы погиб там, потому что взади уже ехали военные. Немцы. И вот его увезли, в госпиталь положили. И он лечился там. Он же контуженный был, у него осколки в ногах были. Он хотел операцию сделать, к врачу здесь пошёл, в Усть-Кутё-то. Врач ему сказал: «Но чё оне тебе, не мешают?» — «Дак так-то, — говорит, — это...» — «Ну и ходи с ними!» — говорит. Так и не стали вырезать. Так он и умер с ними...

— Они давали о себе знать, осколки?

— Но конечно! Оне же кололи. А он ещё по тайге ходил. Да как ещё ходил — бегал! Он же привык там. По тайге идёт — где чё поставил, никогда не потеряет. Придёт на то же место! Тунгусы научили...

— И вот его комиссовали...

— Он в Казарки, в Старую деревню-то¹⁴, стал приезжать. Ну, тунгусы же, оне вместе ходили. Оне меня знали. И пришли, и он пришёл! «Пришёл, — говорят, —

⁹Левый приток Лены в Усть-Кутском районе.

¹⁰Здесь: охотничья тропа с установленными вдоль ловушками на зверей.

¹¹Город на севере Иркутской области, основанный в месте впадения Кúты в Лену; административный центр Усть-Кутского района. На тот момент, о котором идёт речь в воспоминаниях В.П. Корзенниковой, Усть-Кут — районное село.

¹²Берестяные или кожаные ёмкости под молоко, мясо, рыбу, ягоды и т. д.

¹³Говорит то «с ним», то «с нём», то «с ём». Это касается и местоимения «они», которое произносит по-разному, а также глагола «говорить», употребляемого и в его нормативной форме, и в сибирском — ленском — варианте: с усечением предупредительного звука «о» и заменой ударной «и» на «е» в инфинитиве («говрёть»).

¹⁴Историческая часть деревни Казарки, которая в 1970-е годы стала расстраиваться в одноимённый посёлок. Сегодня на месте Старых Казарок — посёлок Глубокий. Фрагмент Старых Казарок — несколько изб — сохранился между посёлком Казарки и селом Подымахино.

сват — как с куста сломал!..» Я ишо не хотела за него, выгоняла. Целый год ходил. Потом раз — чё-то сделалось, и ушла с ём туда, на Бёлую-то! Жили в доме — вот, как сельсовет-то, дак чуть поменьше. Там лето живёшь, рыбачишь. Потом мужики выплавляют. Зимовья там были. Хлеб пекли. Печка в земле сделана. Вот яр такой. Вот так выкопано. Ну и труба поставлена. Заслонка. Вот посадишь, закроешь — и хлеб хорошо пекётся. Пирожки. Я-то, когда приехала, стала. А эти и говрят: «Ты ишо пёкчи умеешь?!» Я говорю: «Я всё умею! И хлеб, и пирожки...»

Но я там чё? Лето прожила, потом зимой выехала в Казárки, Николай-то родился. Чё там буду делать с ребёнком? Он же маленький был, по тайге-то таскаться с ним. А вот годика два было — я туда, на Бёлую, с нём поехала. А потом нам надо на речку ехать, на Кúту, рыбачить. А на оленях же такие зыбки. Олень как попёрся — и выкинуло (ребёнка. — А.А.), потерялся, пошли его догонять! Потом Боблóкин нас на лошади, куда надо было. Тунгусы же делали берестянки¹⁵. Вот на этой берестянке выплыли в Усть-Кут, с Усть-Кутá домой приехали. Больше я там не была. Потом на работу устроилась. Вот где сейчас магазин-то взломанный, вот тут-то я работала — техничкой...

Бабка Варя, быстро и часто кивая, замолчала, видимо, сбившись с мысли. А в это время на улице затарахтел двигатель, и мимо зальных окошек, со звоном пошатнувшись, проехала красная колёсная «двадцатьпятка»¹⁶ с поднятыми граблями. «Кренёв сено поехал грести! Вчера два больших воза сделал, сёдни опять возить будет!» — со знанием дела сообщила старуха. И так же просто предложила: «Будешь морс пить? Свой, домашний. Валентина ставила. Возьми в кухне...»

— Как тунгусы охотились? — немного погодя, попив из ведра кислого морса из красной смородины, спросил я у бабки Вари.

— Ну, белок добывали, и хорьки раньше были. С собаками; капканы ставили. Там ловили ещё — росомáги. В речке-то. Дак вот оне ставят, оне же выходят...

— Ондатры?

— Ондаторы, да. Вот оне их ловили, ондаторов этих.

— Собак много было?

— У каждого по собаке. У Боблóкина две было. Оне их проверяли. Когда растёт, оне её берут в лес: куда на чего она способна...

А вот там рыба мне нравилась — сýги! У ней брюшки отрезаешь. Вкусные. Жаришь их. Наваришь. Потом хайрюзá. Один раз щуку поймали такую здоровую. Ну, много рыбы...

— Вы упомянули, как тунгусы хлеб пекли... Можете чуть подробнее?

— Они прямо в зóлу выливали (квашню. — А.А.). Испекут, потом зóлу убирают. И вкусный хлеб был. Или вот когда они ездят, оне вот костёр. Костёр когда прогорит, золá горячая, хлеб подходит, туда его — бух! В эту зóлу. И он поспевает. Не сгорает и ничё. Ешь! Вынут, вот так вот обдуют — и едят...

— Вы говорите, что тунгусы жили в избах... А юрт у них не было разве?

— Юрты у них специально делали из бересты. Такий ширóки. Ну, потом они покупали этот материал, закрывать-то. Шкуров-то не было. И двери, вот, так вот сделаны. Там на серёдке костёр. Туда спят, туда спят. Костёр горит. Это, знаешь, когда плаваешь по Кúте. А тут, на Бёлой, у них юрта у йзбов. Избы были, и юрта стояла, тоже большая. Потому что оне привычны. Вот дома, в квартирах живут — идут туда спать. В эту юрту. Мы-то с Дмитрием не ходили, в избе жили. И там у

¹⁵Тунгусские лодки из бересты.

¹⁶Модель универсально-распашного трактора — Т-25.

них печка русская была, хлеб пекли, всё¹⁷. А щас там нету ничё. Уехали. По Кúте дома-то стоят? Турукá. Где-то там оне¹⁸...

— Помните, как охотились с мужем?

— Но конечно! Один раз соболя дóбыл, думал, что он уже пропащий. В карман полóжил. А он выскочил и бегóм! Давай его догонять. Или вот на Тýре¹⁹ были. Там рыбы наловили, дед ушёл по ягоды, а я осталась в избушке. А потом медведь пришёл. Ладно, что нигде не шарилась, в избе сидела, а так, может, он бы и поймал бы! Он ходил кругóм, а потом дед-то пришёл, собаки его угнали. Но он чё-то стрелял его, но не убил; видать — так... «Ну на фиг, — говорю, — я еду в деревню, а то и медведи сожрут!»

2

...Вместе смеемся. А дело идёт к вечеру. Солнце — красное, арбузное — клонится к лесу по эту сторону Лены, ярко отражаясь в стёклах бабки Вариной теплицы. В избу заходят Николай Дмитриевич и Валентина Дмитриевна — дети бабки Вари и дяди Мити, а с ними дядя Володя, зять. Мужики кололи дрова, складывая за баней, «на задах», и уже умылись в огородной бочке. На футболках — сырые подтёки вниз от подбородка; в волосах — блестящие капельки воды. Тётя Валя варила собаке на железной печке, поставленной под навесом, и всё то время, что мы беседовали с бабушкой Варей, дым из короткой трубы с жестяным искрогасителем на конце то тянулся мимо окошек, то, завихряясь от редкого ветра, стелился над двором.

Дядя Володя с тётей Валею живут в Усть-Куте, в Подымахино приезжают на выходные. Но летом почти всё время тут — на огороде, да так по хозяйству.

Дяде Коле без одного года семьдесят. Сбитый, плечистый. Крепкий той крепостью, которая до сих пор встречается в иных стариках и часто становится легендарной, такой, о какой потом долго вспоминают, а имена самих стариков передают из поколения в поколение, как путевую вешку. Так, о дяде Коле, наверное, будут вспоминать, как за ночь вместе с напарником разгружал вагон цемента, поднимая с пола два мешка разом: сын бабки Вари и дяди Мити всю жизнь проработал в речном порту грузчиком. Кроме того, занимался гириями, отстаивал честь порта на районных соревнованиях. Выйдя на пенсию, вернулся в деревню, где и живёт с матерью...

Прошу вошедших рассказать что-нибудь об отце и тесте, тем более что бабка Варя устала и замолчала.

— Ни фрукты, ни овощи не признавал! — из кухни, собирая мужикам паужинок, кричит тётя Валя. — Даже такое воспоминание было: когда форсировали Днепр, пошёл купаться, а в него неспелым абрикосом кинули. С такой обидой рассказывал! Помидоры даёшь, он говорит: «Какая-то кислятина!» Не понимал вкуса. Мясо! Мясо!.. А потом (я уже забыла, сколько ему лет было), видимо, не хватает витаминов в организме, принесёшь — он его, помидор, даже немытый ел.

¹⁷Судя по всему, в костре хлеб пекли те, кто жил в юртах, а также во время охоты и рыбалки, когда снимались с места. В земляных печах, должно быть, пекли в тёплую пору года. А ещё вероятнее разные способы выпечки использовались в зависимости от обстоятельств.

¹⁸Тунгусы снялись со своей стоянки на речке Белой после того, как советская власть в 1960-е годы потребовала от них сдать оленей на мясо по минимальной закупочной цене. Впоследствии тунгусы расселились по Усть-Кутскому району. В частности, кое-кто обосновался в селе Турука, о чём упоминает и бабка Варя (по рассказам Роберта Семёновича Антипина, старожилы п. Казарки).

¹⁹Левый приток Лены в Усть-Кутском районе.

— А он знал по-тунгусски?

— По-русски сразу-то не мог! — оживляется бабка Варя, как будто в ней строилась какая-то не совсем ослабшая пружинка. — Но оне учили! Всё равно он стал потом по-русски говорить.

— Он по-тунгуски шпарил! — за матерью подхватывает дочь, и тоже страгивается, выходит из небольшой плотной кухни, вытирая руки полотенцем. — Он не забыл, просто акцент поменялся. И он такой довольный был, когда приезжали тунгусы! Он с ними разговаривал. Он никогда язык свой тунгусский не забывал! У него и кличка была — Русский Тунгус. И песни знал... Ой, какую-то всё песню пел! На тунгусском. Как же... А! «Кедроня, кедроня, гусэ энгó...» Про кедровку.

— А как узнали, что про кедровку?

— Ну вот «кедроня». Я спрашивала, что значит — «кедроня»? Он говорил, кедровка. А про что там поётся, я не знаю. Он в детстве нас учил словам, которые знал, да я теперь забыла. Помню, что русских «лучей» звали...

— Хлеб «колабаё» у них звали, — подсказывает бабка Варя.

— А русские песни пел? — спрашиваю у тёти Вали.

— Ну вот две, когда подопьёт: «Расцветёт под окошком белоснежная вишня» и «Вставай, страна огромная!»

Дядя Коля с дядей Володей вспоминают дядю Митю со своей, мужской точки зрения. И, конечно, главное в их рассказе — война.

— Как ранило? — подсаживается дядя Володя — лёгкий, сухопарый, с большой залысиной, длящейся к затылку ещё со времён молодости, когда работал в геологической экспедиции, а отпуск проводил с тестем на охоте. С хрустом в суставе закидывает одну ногу на другую и первое время как бы помогает ей «освоиться», сцепив загорелые руки на колене. — Он бежал, наклонившись (так он рассказывал), и пуля в спину попала, а в шее застряла. Её даже пощупать можно было. В медсанбате разрезали и вытащили. Хорошо, по мягким тканям прошла...

Дядя Володя подумал, уставясь в пол, на котором уже лежала вечерняя тень, потому что солнце ушло за избу, а свет — маленькую лампочку на шестьдесят ватт, свешенную с потолка на обычном проводке, — ещё не зажигали.

— Ну вот мы охотились, он иногда рассказывал в избушке, — снова заговорил, вероятно, прокрутив в памяти эти кадры: зимовьё, беличьи шкурки на гвоздках, красный отсвет печки в углу, нары вдоль стен, два уставших человека в тишине. — Вспоминал, как страшно было при авианалётах. Вот после одной такой бомбёжки его и подобрали. У него была контузия. Ранения — в спину, в ногу, в руку...

— Дядя Митя называл места сражений, в которых принимал участие?

— Старая Русса, озеро Сиваш упоминал, — с хриплым шерстяным клубком в голосе перечисляет дядя Коля, который, по словам бабки Вари, минувшей осенью изрядно справил день рождения, а наутро «всё побросал: пить, курить». Он всё так же стоит у входной двери, засунув кулаки — большие, как отлитые, в крупных извитых жилах — в раздувшиеся карманы трико. — Само собой, Сталинград, он ведь участник Сталинградской битвы, Орден Отечественной войны I степени был у него за это дело. Ну, был стрелком на фронте, потом первым номером на пулемёте «Максим». Автоматчиком на броне. Ну вот вроде все его должности. Но он много-то не рассказывал. При случае, да и то отрывками. Фильм военный смотрит, расчувствуется: «Это неправда, такого не было!» Или начинает: «Я вот там, там и там был...»

— А потом сидит и плачет... — тихо вставляет тётя Валя.

— Помню, рассказывал, как попали с напарником под бомбёжку, — продолжает дядя Коля. — Ну, смайнались в воронку от авиабомбы — переждать. А недалёко были немцы! И тут вроде как кто-то толкнул, отца-то: как будто галька сыпется! Он голову поднял: два немца здоровую гранату на деревянной ручке — раз! — и пустили в воронку! Хорошо, что не бросили, а кáтом пустили. Она немножко прокатилась и остановилась. Взорвалась! Повезло, что никого не тронуло. Сделали вид, что «готовые», — и немцы ушли. А потом и эти вылезли, давай к своим...

Происходит заминка, и я отключаю диктофон.

— Когда у тунгусóх жили, он несколько раз падал! — спохватившись, досказывает бабка Варя. Она всё это время внимательно слушала, то согласно кивая, то порываясь внести какое-то уточнение, и вот, наконец, скрала нужный момент. — Упадёт и лежит, как мёртвый, а с нём потом эти тангусы отваживаются. Трут, поят. Он когда первый раз-то упал, надо помогать, а я испугалась, из хаты убежала! Вот тебе и война, пожалуйста...

Что добавить к услышанному? Разве только то, что когда тунгусы стали покидать Белую, дядя Митя переехал на Лену и осел в Подымахино, по-прежнему охотился и рыбачил, а умер в далёком и смутном октябре 1993-го незадолго до семьдесят первого дня рождения. Похоронен в Усть-Куте, где коротал последние дни.

Так закончился земной путь Русского Тунгуса.

Судьба вторая. Бабка Варя

Нынче бабка Варя — последняя из подымахинских старух, если не считать Людмилы Степановны Антипиной и Анны Ивановны Деевой, бабки Вариной закадычной подруги. Обе кукуют у детей в районном центре, а свои избы (само собой, против воли) продали за материнский капитал. Других старух и вовсе прибрало деревенское кладбище. Об этом бабка Варя говорит с предельной простотой: «Недалёко от меня ушли, скоро свидимся!»

В том, что бабка Варя пережила — одних, а других — пересидела, не съезжая с места, есть свой сокровенный смысл русской судьбы, одной из тех, которым уготовано остаться в памяти земляков неким духовным путиком, мерой подлинности и полнокровности, межевым столбом на очередной развилке отечественной истории, когда сдвигаются пласты и сменяются времена и поколения. На этом пограничье неизбежно измываются многие национальные качества. Избываются, отбраковываются, уходят в отсев и снова сливаются с почвой. Но зато и обостряются до непознанной остроты, изглубляются другие. Те, что явлены нам, с одной стороны, как высший свет, а с другой — как засечная черта, за которой не станет ни нас, ни света. Если, конечно, так будет угодно Богу. И кто теперь наверное скажет, что лучше: неукоснительное сбережение некоторых характерных, но давно вызнанных в себе примет народа, которые на шаг вперёд выдвигают его в ряду остальных, едва начинается всемирная переключка, или частичная либо полная утрата этих черт в силу необратимых обстоятельств, но вместе с тем — обретение, поднятие со дна духовных запасников таких свойств, которые ни мир в нас не знал, ни сами мы в себе не подозревали и какие делают нас, может быть, изломанней и трагичней, но зато и приближённой к Богу, поскольку — увидевшими тот самый край, ту самую засечную черту, за которой нам уже *не быть?*..

Впрочем, на зиму и бабка Варя укочёвывает к дочке в город, барствует в тёплой благоустроенной квартире, для которой ни дрова колоть, ни воду носить не надо. И в Подымахино не остаётся ни одной старухи. Но к лету, как та верная птаха, бабка Варя возвращается. Стучит посохом по тротуару да мало-мало вошкается по хозяйству: то сполоснутую склянку возденет на штaketник, то собачью цепь распутает. Но чаще сидит в зале и смотрит в окошко, кто куда прошёл по проулку, кому сено провезли и какое судно плывёт по Лене.

1

На другой день после разговора о дяде Мите я попросил бабушку Варю рассказать о себе.

— Родилась в Казарках 25 декабря 1923 года, — как прежде, охотно откликнулась старуха. — Отец — Пётр Степанович, мать — Лидия Яковлевна Антипины. Мать была за первым мужем. Он Данила был, у них четверо детей было. Его, Данилу, забрали на японскую войну, он там погиб, не вернулся. Она потом с отцом сошлась. У отца были фотографии: он, когда японскую прошёл. Он много рассказывал, как там заражали речки. «Вот, — говорит, — напьюсь этой воды, жара же да всё, пить-то надо, — из глаз слеза текла почему-то!» Им запретили... И вот он, когда приехал с фронта²⁰, у него тут такие ленточки были! Оне сначала в Усть-Куте жили. Там сользавод был, он там работал. А здесь было два брата и сестра. В Казарках. Чё ему захотелось? Там бы жил, никто бы его...

— А что случилось в Казарках после переезда из Усть-Кута?

— А здесь скота развели. Кобыла была, конь, жеребёнок годовалый, потом маленький жеребчик, корова, бык, телёнок, свиньи, бараны, куры... Полный двор. А Егор Палыч был, Димитрия Егорыча отец. Оне клади ложили. Хлеб-то. Снопы. И вот сложили, Егор Палыч пошёл на охоту, а наш остался за него — следить. Огорожено было всё. Ну а осень сырая была. Клади-то эти загорели! Нашему-то вредительство приписали! Егор Палычу-то два года дали, а нашему — три, моёму отцу. Егор Палыч-то в Киренске²¹ отбывал два года, а нашего в Туруханск²² угнали. Оне там плоты плавил и в каку-то воронку попали. Плоты поразбивало. Все погибли, сколько было. Отец мой не вернулся. Отсюда же там сидели люди, оне и сообщили. А так-то бы откуда узнали, куда он девался?..

Отца-то в апреле увезли, а Илья-то родился второго августа — на Ильин день. Его Ильлёй и назвали, брата-то моего...

— А сколько вас всего было у родителей?

— У матери от Данилы четверо было: дочка и трое пацанов. Но какой-то тиф ходил брюшной, и ничё не могли сделать, пацаны-то эти поумирали. А вот Шура-то осталась, сестра-то. С отцом тоже четверо было: я и тоже трое пацанов. С 1921 года Алексей был; потом я с 1923 года; потом Гошка и младший Илья. Мать-то выросла в Якурии и там взамуж вышла. А отец родился в Усть-Куте.

...Когда отца-то повезли... забыла, сколько мне лет было. Он меня на руках

²⁰Вероятно, Варвара Петровна путает Русско-японскую войну 1904-1905 гг. с Первой мировой, во времена которой начали применять химическое оружие. Таким образом, скорее всего отец Варвары Петровны — участник Первой мировой войны. Сражался ли он на Русско-японской и был ли на ней первый муж Лидии Яковлевны — Данила — неизвестно. С другой стороны, в своём рассказе Варвара Петровна упоминает «ленточки», составлявшие часть военной формы Петра Степановича.

²¹Город, административный центр Киренского района Иркутской области.

²²Село, административный центр Туруханского района Красноярского края.

держал. Так плакал! Жалко ему было. Его сослали в апреле, а зимой всего скота, хлеб и всё-всё, до конца, — забрали, увезли! Вот эта Зоя Елисеевна: один-то её отец был. И ещё двое. Их трое мужиков забирало. Вот. А весной мать вызвали в совет, чтобы сеяла. А из чего она посеет? Ничё нету, всё забрали! Ни лошадей, ни...

— Как же вы управлялись с таким большим хозяйством?! Нанимали?

— А кого там управляться? Сами. Отец-то, когда дома был, мы всё делали. А потом с матерью ходили убираться, помогали.

...План мать не приняла. «Что я сделаю? У меня ничего нету!» И всё, восемь лет дали ей! Посадили в лодку; она упала, ревёт. А Илье-то только девять месяцев было! Вот нас бросили как! Я когда вспомню, у меня другой раз слёзы бегут...

Вот её уплавили в Кíренска, а там Телячка, далёко в лесу. Телячка называлась, подсобное хозяйство. В общем, сеяли хлеб, горох; скота держали. Мать моя за коровами ходила.

Ну чё? Нас бросили, мы пошли милостыньку собирать. Кто даст, кто не даст. Вот так жили, на кусочках. А тут дед жил. Нерусский. Чёрный такой. Хакáни или как его. Он придёт, всё чё-нибудь принесёт: «О, Варя, ты уже постирала?!» Вот всё проверял нас.

Люди же не все плохие. Нас научили, как говреть, просить милостыньку: «Так и так надо, Варя!» Баушка тут была, Шведа²³ бабка. Ну, много! Елизар Павловича Агафья, жена. Но она молодец. Придётся, она всегда поделит, чё есть. Плачет, у самой семеро детей. Вот. А тётка Аграфена, отцова сестра-то, — та ни черта! У ней одна дочка была. Придётся за молоком. Чё же у ней? Корова, всё. А дочь, Клава: «Эти опять пришли?!» И больше я ни разу не была. Не ходили. И это родня! Други бы пришли, проверили, а оне даже ни разу. Это ни к чему она! Тут чужих жалко, а она, ёшкина мать! Чужи́ дают, а эти — нет...

Или вот Василий Максимович, председатель был. Его, па́дло, до сих пор помню! Нас учат, старухи-то, что пойдёте — вот так говорите. Ну, я прихожу, ёлки, чё... Пришли потом второй раз, а он: «Вы ещё, — говорит, — живые?!» Вот. Мужик взрослый — и так, детям такое говорить!

Так мы лето прожили (в мае увезли, мать-то). Нас в августе, что ли, в Кíренска увезли... Это дýшка Иван, отца брат! В совет пришёл и говрит: «Вы что над детьми издеваетесь?! Куда-то их нужно определить, оне с голоду поумирают!» А Илье-то, у него уж ручки такие стали. А чё я? Сама ребёнок. Лет восемь, наверное, было. Постирать могла, полы там. Варила. А как мы ели, щас-то этого нету! Тогда стаями птицы летали. Улáры. Оне вот такие были (показывает руками. — А.А.). И мы вот плашечки: дощечки, туда волос конский наколотишь, петельки сделаешь. Оне попадают! Мы их наловим, натеребим...

— А зачем они туда лезли?

— А там насыпишь хлеба или чё-нибудь, подложишь туда, — и оне садятся клевать. Летят — раз! Волоски — раз! — за шею. На землю ставили, по понгóрью²⁴. Наварим их. До сих пор помню: блёстки плавают. Жи-ирные! Вот как было...

— А кто вас научил плашки ставить?

²³Фамилия, произведённая от этнического обозначения жителя Швеции. Получила распространение после русско-шведской войны. По её окончании в России, в том числе в Сибири, оказались пленные шведы, часть которых впоследствии обрусела.

²⁴Скат речного угора. Прав.: подгóрье.

— Дак Алексей-то. Он же старший был. Он знал. Оне и делали с Гошкой, братом-то.

...И вот нас посадили на пароход. Ну, большие-то: «Ленин», «Сталин» ходил! Отправили в Кíренска. У нас одна бутылка молока была; оно скисло. Илья плачет. Мы ему дадим, попо́им его кислым молоком — и всё... На пароход посадили, взрослые люди — ну хотя бы в комнату определили куда-то! А то вот раньше трапы были, а тогда же дровам топили, ничё же не было. И вот тут нас посадили. А эта женщина там ходит — ну, работает которая, печки топят. Вот она говорит: «Девочка какая сидит, ребёнка дёржит, даже не спит!» До сих пор у меня в голове осталось! А тут чё? Повернись, усни — он улетит в Лену, тут рядом всё!..

В Кíренска нас милиция встретила. Увезли в милицию. Там ограда больша-ая! Там в футбол играли. Там коридор такой большой. Там крыльцо, тут крыльцо. Тут выйдем, там... Другие бы хоть покормили! Один раз принесли вот такие кусочки. Чёрны-чёрны! Главно, четыре кусочка на палочках...

— Хлеб? А почему на палочках?

— А вот спроси, зачем оне! И больше не давали. Вторые сутки шли, пока мать оттуда на лошади привезли. На лошадях этих возили молоко, в магазины сдавали. С этой Телячки. И нас забрали. Но там-то кормили, молоко и всё давали! Вот мы там жили. Там барак большой; там — мужчины. Второй — там женщины. Много политических сидело. Они грамотные очень. Они написали в Москву: как оно было, как чё получилось, за чего посадили. И оттуда пришло (тогда же Сталин ещё работал): «Освободить!»

Зимой освободили. Куда деваться? В Кíренске у нас знакомых нет никого. К одному она, мать, выпросилась там. Муж с женой и чья-то баушка была (старенькая; его или её мать — вот этого я не знаю). Так заходишь — веранда большая, сюда — коридор. Плита такая стояла. Там — зало и комната (там баушка или кто ли спал). Ну, нас пустили. Ну а чё? Дети есть дети. Потом чё-то не понравилось. Нас к курицам застáли²⁵. Курятник такой большой — вон как баня у нас стоит, такой же. Ни пола, ничё нету; только лавки вот так. Ну а куда деваться? Вот туда мы и пошли.

Потом Гавриил Павлович Наумов и дед Стручénко... Стручénко дедушка был. Он сосланный был из Украйны, сюда по́слатый. Дед хороший. Вот мы с ём дрова пилили ходили. Потóм. Когда подросла, могла. «На пúтик» называлось. Он накормит, всё. Молока, хлеба даст. Я домой тащу. Я до сих пор этого дедушку Стручénку вспоминаю, я его не забываю! Он как хохол вроде. Украинец. Он и говорил по-украински. А тут женился. С бабкой жил в Казарках.

И вот оне, Гавриил Павлович и этот дед Струченко, на лошадях груз возили из Казарок. И где-то мать их встретила. А так как бы мы оттуда зимой выехали? Не знаю, чё бы стали делать! Ну и оне нас забрали, тулупом закрутили. Привезли в Казарки. Мы тут у дядьки Ивана побыли, потом к своему дому пошли. Пришли: ничё нету! Всё кто-то куда-то стаскал. Осталось же всё там, в доме. Постель, всё. Куда мы дева́м, ребятишки? Не повезёшь же туда! Дверь сломана. В подполье как будто золото искали. Какое золото у нас?! Никакого золота не было. И вот фотографии-то отца, видать, забрали. Мать — она в лодке и осталась, когда увозили. Кого она возьмёт?! Я их видела. Он как военный фотографировался...

²⁵Здесь: закрыли. Бабка Варя употребляет этот сибирский диалектизм с долей экспрессии, хотя обычно эта словоформа не нагружена эмоциональными оттенками. Экспрессию в данном случае образует, с одной стороны, сама тема повествования, а с другой — скрытый контекст, в котором это слово чаще всего употребляется (ср.: застáть корову в стайку, куриц в курятник, собаку в вольер и т. д.).

— А кого-нибудь ещё в тот год забрали?

— Дяшку Кита́-то тоже! Он в лесу всё. Всё туда охотился, на ту сторону (Лены. — А.А.). Там его уго́дья были. Он там сено косил, на Короле́вой. Речка-то! Зимой плашки ставил, па́сти²⁶. Зайцев ловил. Рыбы там наловит, привезёт. Кит Петрович. Отцовый брат. И вот его из леса забрали. И по сих пор: куда увезли? А потом тётку, его жену. У них детей не было. Оне жили богато. Скот, всё. Ведь тоже забрали! А забирал-то этот... Нина Алексеевна-то была? За Венедиктом? Дом-то сгорел?! Вот эти вот. Матери Нины Алексеевны брат. И вот когда приехали её забирать, там лодка стояла. Дак её волоком. Она так ревела! В лодку бросили. И увезли в Усть-Кут. Всё осталось. Эти вот потом забрали. Бичи. И раньше оне были, ходили...

— А этих за что забрали?

— Забрали — и увезли! — просто отвечает бабка Варя. Досказывает после паузы, двумя пальцами — указательным и большим — обведя по контуру пересохшие губы: — И вот мы приехали: у нас ничё нету, поесть нечего! Мать меня в няньки отдала. В Бори́сово Игнатъевна жила. Тамарой дочку-то у неё звали, маленькая была. И Митька маленький, его всё звали «кореец»; он от корейца был. Ну я с этой девочкой водилася. Шестнадцать килограммов муки давали. В месяц. Я пла́чу, никак не хочу идти. А чё делать-то? Но всё равно хоть шестнадцать, всё подде́рка какая-то. А потом мама устроилась работать. Там раньше же Затон был. Она там в пекарне хлеб пекла. Ездила туда. Приедет, нас проверит — уедет...

2

— Вот. В няньках жила. Потом выросла, — вспоминает бабка Варя, по-прежнему сидя на своей маленькой кровати в чистой побеленной прихожей. Кровать застелена покрывалом с диснеевскими мультяшными картинками, но взбитые в головах подушки по-старинному накрыты отмером из тюля. Жёлтый с цветочками платок пупком завязан повыше лба. Глаза обмётаны сизой плёнкой, похожей на ту, что образуется на застывающем студне, а ещё встречается в глазах лошадей, коров и телят (и хочется ущипнуть эту плёночку и снять, как молочную пенку или налипшую целлофановую чешуйку, а в ответ услышать: «О, ёшкина мать! Теперь как хорошо стало...»). Руки, не зная, куда податься без работы, лежат на коленях. Или копошатся, перебирая пуговицы на косом воротнике длинного старушечьего платья с рукавами. Но чаще массируют друг друга («совсем одеревнели!»), и есть в них та лощёная гладкость, которая характерна для старых потускневших косовищ, топорищ, печных прихватов и иных подобных предметов, проживших долгий трудовой век.

— А учиться-то я ни черта не училась! Один класс только кончила. Ну, читать научилась, писать — дак хоть это-то! В Каза́рках школа же большая была. А ребята-то, младшие-то, потом учились. Теперь никого не осталось, все ушли. А мать умерла — девяносто лет было. Вот так и своя жизнь проходит! Страшно мне. А Гавриил Павлович — он жалел. Почему, не знаю. К ним придёшь — всегда накормят...

²⁶Пла́шка — давящая ловушка на пушных зверей, сделанная из двух плоских частей расколотой чурки и устанавливаемая, как правило, под кроной дерева на некотором удалении от земли. Пасть — давящая ловушка на зайцев, косуль, кабаро́г, сложенная прямо на земле из брёвнышек той или иной длины, толщины и веса, в зависимости от характера предполагаемой добычи.

Бабка Варя задумалась. Поглядела в окно на зеленевший огород с зыбившейся на грядках сумрачной тенью облака, выставшегося над крышей. Затем перевела взгляд на руки, а рассматривая их, пошамкала ртом, будто пережёвывая корочку спёкшейся в печи картофелины. И, наконец, устремила глаза в пол, до которого едва доставали ноги, свешенные с кровати. И так, казалось, застыла, лишь время от времени, как маленькая, то сводя, то разводя кончики ног, обутых в мягкие домашние тапочки. Но вот ворохнулась; провела костяшкой указательного пальца по переносице, походя копнув в уголке одного, потом второго глаза. Продолжила тем же сухим голосом, в котором как будто не произошло изменений, словно всё в бабке Варе так заулилось, что и сырость не брала:

— ...И вот пошла на работу. Раньше же хлеб-то (зерно-то) сеяли! Жать пойдём — Гавриил Павлович меня всё: «Ну, Варя, иди в мою бригаду!» Семь лет у меня колхозного-то (стажа. — А.А.). А я и не знала! Пошла в райсобес, дак мне там сказали... А потом в магазине четыре года работала — техничкой. В школе — два. В Подымахино. Школа-то большая стояла на угоре? Там Васса Ивановна, я, потом Шура работала, Татьяны Плётниковой мать. А вот Савва Егорович-то был, он же председателем работал. Он приходит в школу, говорит: «Варя, иди в медпункт, там тебе лучше будет». — «Дак а я ничё не знаю, как там буду?» — «Да тебе всё объяснят, ты поймёшь и будешь работать!» И правда! Я пришла — и смотри: и перевязки делала, уколы делала, чё только не делала! Помогала всё. Кругом. Кучеркин был и Татьяна Николавна. Кучеркин — врач хороший был. Я всё говорю: если бы не он, Сентябринин Вовка бы не выжил! Он, когда приехал в Борисову... А тогда же туда отправляли врачей — на вёсну-то, пока лёд не пройдёт²⁷. Но он там жил. Пошёл обход делать. А раньше как? Зыбка же. Ну и он приходит. Открыл, посмотрел: «Чё с ребёнком-то?» Она, Сентябрина-то: «Не знаю! Врача вызвали, таблетки, всё...» Он посмотрел, таблетки эти все собрал, в печку скидал. Выписал. «Диагноз-то, — говорит, — не такой! У него же кури́на грудка уже!» Сентябрина говорит: «Я подымусь, посмотрю, живой ли он там...» И вот он его выходил! До сих пор он живёт! Вон какой, Вовка этот...

— ...Мы с Шурой-то лес валили, на Маёвке, — подумав и, вероятно, высчитав, что именно упустила в своём рассказе, через какую ступеньку перепрыгнула, оттуда, из своей погружённости в минувшие годы, отзывается бабка Варя, чуть отмотав плёнку назад — до того момента, как трудилась в колхозе, а затем устроилась санитаркой в медпункт. Маёвка в лексиконе местных жителей — местечко в десятке километров от Подымахино, за ручьём Еловым. Там в советские годы собирались на майские гуляния с чествованием передовиков, песнями-плясками и концертной бригадой из районного Дома культуры. — Раньше же пароходы дровам топили. И вот мы готовили швырёк. Там Василия Константиновича Тоська была, вот Шура, потом Саввы Егоровича сестра Надя. Домик стоял, всё. Жили там с одним дедом. Мне уже двадцать лет было. Это мы от «Лензолотофлота» работали. Оттудова, с Усть-Кутá. Бригадир у нас был — Космаков. Дневная норма — пять кубометров. Да ещё надо поколоть и сложить! Вот мы там зиму пилили.

А когда навигация открылась, он с Киренска приехал. Тернёв. К нам пришёл: «Так, девки, на работу!» Ну мы чё? Мы там не оформены были! Мы — раз! — с Шурой собрались и пошли на работу сюда, к баканщикам. А этот, бригадир-то

²⁷Деревня Борисова находилась на правом берегу Лены, а Казарки и Подымахино расположены на левом. Теперь нет ни Борисовой, ни врачей в поселковой амбулатории, один только «медицинский работник общей практики» и его ассистент.

наш, Космаков, — он на нас в суд подал. Но потом нам пришли повестки. Пошли мы с Шурой. Тернёв нам наказал, как и чего говорить. «Смотрите, — говорит, — на вас в суд подадут, не путайтесь. Вот то, то и то...» Ладно. Первый раз сходили. А у меня чирки²⁸ были — кожа да сырая подошва пришита. Пока шла до Усть-Кутá, летом же это было, — в чулках одних осталась! Эти одне передá только остались... Но нас допросили, всё. Мы им объяснили, сказали. Нас отпустили. Потом второй раз вызвали. Сначала её допрашивали, потом меня. Шура-то не знаю, чё она там говорила. Но так же, он же нам объяснил, чтоб никуда! Ладно. Тёрнев-то — он молодец был! А там оне все документы сделали, в Кíренске, чтоб никаких приди-рок. Оне же придут проверять! Ну и теперь меня позвали — к судье или как... К прокурору. Он меня спрашивает. Я ему объясняю: так и так, мы не оформлялись, мы временно работали. Но и потом он мне говорит: «Чё он вас, крюком вытаскивал?!» А я возьми да скажи: «Да хотя бы крюком!» Вот надо же так сказать! Он по столу ка-ак трахнет! Так испугалась, а потом давай хохотать. Ну чё?! Дурак, молоденькая же была. Он, поди, думает: «Она самашедчая, что ли?!» «Всё, — говорит, — идите!» И ничё нам больше не присудили. Освободили...

— ...Потом Николай Фёдорович там работал — продавцом, — посмеявшись, с наслезнёнными глазами возвращается бабка Варя к той поре, когда мыла полы в магазине. Этот неожиданный скачок в повествовании некоторое время зияет образовавшимся зазором. События напластываются, как льдины в реке, и долго не сходятся. Зато, когда слово за слово, деталь за деталью и множеством других вещей и понятий, трещина в бабке Варином рассказе начинает сшиваться, с природной естественной силой срастаясь в единое целое, как стыкуется и собирается шуга, ты вдруг не обнаруживаешь во всём этом ни сучка ни задоринки, как будто эта мозаичная картина была явлена не языком смертного человека, а саму себя выносила и родила как слепок некоей растворённой над нами высшей материи.

— Если бы я така́ была, мне бы кто доверил?! — восклицает бабка Варя, должно быть, раздув в сердце какую-то давнюю тлевшую обиду. — Он же уезжал! Раньше же возили продукты на поле где бригады-то. Вот он, Николай Фёдорович, поехал куда — ключи мне оставит. Я всё там помыла, убрала и замкнула. Приезжат — я всё ему отдаю. О, всё меня оберегал! А потом Николай Прокопьевич, с ём я ишо работала (тот-то, Николай Фёдорович, уехал в Половínку, не стал тут работать...). И вот Николай Прокопьевич стал за него. Один раз подпил. А там бочка такая большая стояла. Там соль. Ну, рассыпную вешали. Он выручку взял в соль запрятал. Вот. Ну и теперь чё? Пришёл утром, а денег-то хватился — нету. Ладно. Пошёл воровать, Мóхова-то Надя была. Она сказала: «Ты ищи где-то там...» Потом кто-то пришёл соль брать, он почерпнул из бочки — эти деньги оттуда! Вытащил. Смеётся...

Или вот ещё другая работала продавцом, с Половínки же. Забыла, как её звали. И как-то вечером он ей сказал, Николай Прокопýич-то: «Ты её проверь, может она деньги воровать или нет». Ладно. Она и набросала. Я их собрала и положила тут. И с другого стола опять деньги набросаны. Ладно! А тогда же ишо свету не было. Лампа горела. А там большая печка стояла. Я же могла замести и в печку выкинуть! Вот. Я ей говрю: «Ты чё сёдни, много наторговала? Чё деньги-то разбросала? Чё кого делаешь-то?!» Я ведь не знала, что она специально! А потом она чё-то с Николай Прокопьевичем разругалась и мне сказала: «Николай Прокопьевич сказал тебя проверить. Вот я и проверяла!» Я говорю: «Пускай себя проверят,

²⁸Кожаная сибирская крестьянская обувь без голенищ.

а меня проверять не надо! Я, — говорю, — сколько с продавцам проработала, ни один не сказал, что я чё-то взяла!» В больнице проработала! Где таблетки могла, всё. Но, однако, я не брала. На фиг, я лучше своё отдам! Чужо брать никогда не буду. У меня такая и Валентина. Мы, вон, голодные ходили. Пойдёшь, выпросишь. А мы не лезли в огороды. У нас такого нету, чтоб пакостить...

А Тамара Глебовна, она техничкой тоже работала. Она плавала на ту сторону (Лены. — А.А.), помогала там с продуктами. У ней кармашек тут. И она где-то свой бумажник потеряла! Но приходит в магазин, стали искать. Я говорю: «Она чё, за прилавком ходила что ли?! Там ходила, а там — народу много! Откуда знашь, кто его взял? Может, — говорю, — она там, где плавала, потеряла?! И теперь меня испытывать начали?!» Ой, на фиг! Я потом ушла оттуда, в школе работала. А потом Савва Егорович меня в медпункт, спасибо ему. И так двадцать шесть лет проработала! Я бы ишо могла. Я заболела астмой бронхиальной, она до сих пор меня мучит. Так пойду когда-нибудь и задóхнусь...

Старуха выдохнула — отдохновенно, длинно.

— А мать-то умерла, мы уже взрослые были. Она в Казáрках жила. Потом заболела, мы её забрали вот в этот дом, она тут и умерла. В Казáрках похоронили, на старом кладбище. Она сказала. Там у ней два сына. Один маленький; ему год не было, он умер чё-то. А Гошка — он в колхозе работал, на лошади. И вот как-то пошёл поить её, коня-то этого. А на угоре стояла кузница, Николай Петрович был кузнецом. А Колька Арсэнтьевский, он там чё-то в кузнице был. Он выскочил — конь-то ка-ак понёсся! А Гоша узду-то сюда вот повешал, конь-то когда дёрнул — она зарочíлась²⁹! Как ему руку не оторвало?! А там под горой были брёвна. И вот Гоша об эти брёвны... И он отшиб почки! Стал болеть, в Иркúтска возили, везде. Ничего не помогло. Он потом кровью мочиться стал. Так и умер, почки отказали. Ему уже... это чё? Семнадцать лет было! А старший, Алексей. Он старше меня на два года. Тот-то ничё. Выросли, всё. А вот на фронт взяли, он там погиб. С Ильлёй тоже неладно получилось... Так я осталась одна. Но я вот всё благодарна, что зять мне хороший попался, дурного слова не скажет. А то у других-то бывает, что дети всяко разнó, а эти — не! Но и нам не надо соваться! А то мы тоже можем: лезешь, куда не надо! — Смеётся. — Молчи, глухá, меньше греха! И пошла, и не связываюсь ни с кем... — Смеётся.

* * *

...Большой и полноводной была жизнь Варвары Петровны Корзенниковой, всего не передать. То с шуткой, то перекатывая в себе камень, рассказывала старуха о своей доле: как побирались, как пошла работать, как горели колхозные амбары, как неводили в Лене, чтобы прокормиться в войну...

А я сидел и думал, что эти две жизни, дяди Мити и бабки Вари, две эти судьбы не должны уйти бесследно, ни за грош, иссякнув, как речки в засуху. И верю: теперь не уйдут, и вовсе не потому, что сын русского тунгуса весь обличкой в отца, а в огороде ходит с лейкой в руках не кто иная, как молодая бабка Варя. Во всяком случае, хочу верить, что не сегодня, так завтра настанет это «теперь», в котором дяде Мите и бабке Варе будет даровано если не бессмертие, то долгое существование уже после жизни, после смерти, после всего, что с ними, с русским народом, с Россией случилось в одном из самых страшных веков нашей истории.

²⁹Зацепилась.

Память об этом — тот высший свет, что посветит нам и во тьме, а беспамятство — та засечная черта, какую лучше не переступать, потому что там нет ни мрака, ни света — одна пустота, немота, змеение праха, налипание космических песчинок и приход миров, в которых нам уже не быть.

Пришла пора прощаться, тем более что стало вечереть, и харламовские ребята прогнали по угору десяток коров и телят — вот и всё подымахинское стадо. Но по всему было видно, что старухе не хочется отпускать. И когда я уже выкатил велосипед за ворота, бабка Варя вышла проводить и, словно боясь, что забудет и потом не вспомнит, чуть слышным сокровенным голосом закончила:

— Государство забрало всё! А нам говрели в суд подать, когда приехали оттуда. Чтоб вернули чё-нибудь. А мать махнула рукой: «Да чёрт с ним!» И не подала. А так чё-то, может, и заплатили бы. А то, может, и обратно сослали бы! — Оба смеёмся. — Вот такі дела, парень. Ещё помню чё-то! А то всё забываю. Этот год чё-то стало. Голова трясётся, ёшкина мать! Давление большое. А тут чё-то вобще. Лето-то протяну? Не знаю...

Смеётся грустно, тихо. И на этом расстаёмся. Я сажусь на велосипед и отъезжаю, а бабка Варя, поворотившись уходить, вдруг оглядывается и начинает говорить вдогонку, но, сообразив, что её никто не слушает, затворяет ворота.



Алтарник

ОЧЕРК

Наденька

...Прихожане. Они разные. Есть постоянные, давние. Есть пришедшие только несколько раз. Но ведь и они тоже — наши прихожане. И они оставили здесь часть души и унесли в своём сердце дорогие воспоминания именно об этом храме. Вот из них и Наденька, Надежда Зинченко, журналистка из Усть-Илимска, подруга и коллега, только несколько раз успевшая побывать в нашей Михаило-Архангельской церкви и, возможно, запомнившаяся читателям газеты «Верую!» пронзительной по глубине и боли публикацией «Алтарник» (№ 4–6 за апрель-май 2011 года).

В дождливо плачущий день Успенского поста на холодной дачной веранде получила «эсэмэску»: «Надежда умерла сегодня...» Сразу подумалось — это какая-то ошибка. Но потом, на всякий случай перебрав в уме всех знакомых Надежд, поняла, кто это может быть, и сердце отчаянно, больно заилось: Наденька! Как же так, Наденька?! Отмучилась...

Стылый ритуальный зал железнодорожной больницы. Стою на отпевании. Розы и бархатцы в вазах. У гроба незнакомые мне люди. Почти неузнаваемый истончённый лик усопшей. Где ты, подруга моя? Мы почти ровесницы. И ты ушла. Первая. Как же так? Мы должны были ещё встретиться, там, в аллеях, возле златоглавой церковки Веры, Надежды, Любви, Софии...

Так знакомы уже печальные молитвы отпевания, уводящие в иной, лучший мир... Но слёзы застилают взгляд. Прощай, прости... Вот даже ожидаешь близкого расставания, и встречаешь кого-то знакомого в душевных от горя коридорах онкологического диспансера, но смерть всё равно неожиданна и всегда поражает холодной таинственностью, до времени разделяющей усопших и живых.

Мы прощаемся. Прикасаются к ногам, к савану, почти никто не целует в покрытый венчиком лоб. Распорядительница похорон суха, деловита, привычно

фальшива. Всё это горько. Но я слышала надгробную официальную речь, и получалось, тоже не знала, что Наденька умерла на рассвете (был ли кто рядом?), что родилась она в Украине; не знала, что столько людей любили и уважали её. И как-то забылось, что именно она подвигла меня «бороться за справедливость», когда в 93-м закрыли нашу депутатскую «Народную газету» и выкинули нас на улицу. Мне тогда с грудным ребёнком на руках «добиться справедливости» не удалось... И всё это там, где-то, в толщах памяти. Но я знала, что Надежда из семьи верующих, и много лет старалась писать на церковные темы в светскую газету Усть-Илимска; знала, как безжалостно потом её, больную, «ушили» с работы. Знала, как она ждала (и дождалась) рождения внука. Как любила маленького Игорёшу и сына Романа. Как переживала и молилась за родную Украину и посылала туда деньги. Знала, что она любит альманах «Иркутский Кремль», и последний его номер, приготовленный для неё, так и остался на моём столе.

Мы не раз ходили с нею по тихим прикладбищенским аллеям возле лисихинского храма. Говорили о вере, творчестве, любви. Она поразительно умела слушать — утешая. Порой Надя сокровенно делилась, то с болью, то с юмором рассказывая, что приходилось ей претерпевать в тяжёлой онкологической болезни. И в душе моей всё звучит её звенящий молодой голос, и почему-то вспоминаются стихи Марины Цветаевой

Застынет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

Но всей душой противясь этой безысходности, помня, что известная поэтесса сама свела счёты с жизнью, всё думаю о том, что вера в бессмертие души укрепляла Наденьку, покорно-стоически переносившую боль, соглашавшуюся даже на новейшие, но малопробованные методы лечения. Она героически боролась, ведь перед нею были такие примеры терпения и мужества верующих родных — дед, проживший 117 лет, мать — 90. Боролась, молилась и до последних дней старалась помогать — близким, друзьям, нуждающимся в сострадании здесь, бедствующим в Украине. Пишу вот всё это — о покойных либо хорошо, либо никак — и думается: да что там наши жалкие «знал-не знал», только Бог обладает всей полнотой знания обо всех нас. Наше же дело — любить, простить, помнить. На Суде всё откроется... У нас ещё есть время.

...Еду мимо лисихинского храма. Пусты, тихи его аллеи. Наденька, ты где? У Господа? Недаром, наверное, сороковины по тебе пришли как раз на день твоего Ангела.

Людмила Листова

В Свято-Софрониевском православном храме шла воскресная литургия. Прихожане, благоговейно скрестив руки на груди, подходили к причастной Чаше и, вкусив святых Христовых Таин, с просветлёнными лицами шли к столику, покрытому белоснежной салфеткой, где пожилая женщина с какой-то торжественно-



Свято-Софрониевский храм города Усть-Илимска

стью наливала в маленькие чашечки «теплоту», сладкий фруктовый напиток, и бережно подавала тонко нарезанные кусочки просфоры. В такой момент из врат алтаря вышел человек в церковном облачении. Меня поразил его облик: седые волосы стянуты на затылке резинкой в пучок, длинная седая борода, согбенная спина, а лицо без морщин и свежее, как у юноши. На лице выделялись ярко-синие, по-детски наивно-доб-

рые глаза. Быстрой походкой служитель алтаря проследовал в ту половину храма, где располагались кабинет настоятеля, комната для клирошан, трапезная. На пути его оказалась девочка лет пяти. Он погладил ребёнка по голове и со словами «Благослови тебя, деточка, Господь» — дал просфору

Остаток службы и по дороге из храма я мучилась вопросом: где я виделась с этим человеком.? В какой-то миг в памяти будто окошко открылось. Кажется, это было в теперь уже далёком 1975-м или 76-м году. Молодой город Усть-Илимск был в зените строительства и славы. Сводки погоды на Центральном телевидении начинались с сообщений о температурном режиме на берегах Ангары и трудовых достижениях на трёх Всесоюзных ударных комсомольских стройках СССР: Усть-Илимской ГЭС, самого города юности на Ангаре и Усть-Илимского ЛПК. Последний строился в содружестве с пятью странами — членами СЭВ — Болгарией, Венгрией, ГДР (Восточной Германией), Польшей и Румынией. По проекту он замышлялся как один из самых мощных в мире лесохимических комплексов по безотходной заготовке и переработке древесины. Оборудование для комбината планировалось закупить в США, Канаде, Франции, Швеции, Финляндии, Японии. Специально для отбора и своевременных поставок оборудования для Усть-Илимского гиганта лесохимии в Париже создавалось специальное представительство СССР, куда должны были входить и усть-илимские специалисты.

Мне, тогда совсем молодому журналисту местной усть-илимской газеты, редактор поручил подготовить статью о том, как на тот момент были организованы поставки, сборка и монтаж первых партий этого самого передового в мире импортного оборудования. Интервью на заданную тему давал мне Виктор Степанович Ефимов, один из руководителей строящегося комбината. Высокий, стройный, одет не по-сибирски элегантно, умные, серо-голубые глаза на молодом лице и серебристого цвета волосы. Говорил он чётко, то и дело извлекал из красочных папок характеристики того или иного оборудования на французском и английском языках, без запинки переводя текст на русский. Тема была для меня новой, я в ней, откровенно говоря, мало что понимала. Но Виктор Степанович был доброжелателен и в конце беседы обещал регулярно предоставлять информацию для газеты о поставках импортного оборудования. А также о технических решениях его транспортировки из порта Дудинка по Енисею, а потом через непроходимые до сих пор пороги на участке Ангары.

Вскоре я позвонила в приёмную строящегося комбината, чтобы договориться об очередном интервью в номер. Холодный голос секретаря на другом конце провода ответил, что Ефимов на этой должности больше не работает. Спустя немного времени редактор отправил меня на заседание партийно-хозяйственного актива строящегося комбината (в 70–80-е годы прошлого века на каждом предприятии был такой руководящий орган, куда входили представители директората, компартии, профсоюза и комсомола). На том заседании слушались разные вопросы, в том числе о безопасности на объектах стройки СЭВ. Один из партийных лидеров комбината, обращаясь к аудитории, говорил о том, что советский народ под руководством КПСС и в содружестве с народами стран-членов СЭВ осуществляет небывалый проект: строит самый мощный в мире лесопромышленный комплекс. И надо быть очень бдительными при назначении специалистов на руководящие посты. Так, один из инженеров, замаскировавшийся под безупречно чистого советского гражданина, просочился в дирекцию комбината. Речь шла о Ефимове... В годы Великой Отечественной войны он находился в плену. После войны какое-то время жил за границей. По возвращении в СССР судом признан предателем Родины, отбывал срок в местах заключения. Благодаря бдительности членов КПСС и работников службы безопасности предприятия этот специалист был разоблачён и снят с руководящей должности... Слова партийного лидера прямо резанули меня по сердцу. Мой отец тоже прошёл фашистские и сталинские лагеря. Он рассказывал о тех чудовищных временах беззакония. Но ведь уже 30 лет с небольшим прошло после Победы! Те из фронтовиков, кто по разным причинам попал в годы Второй мировой войны в плен, были уравнены в правах с участниками защитников Отечества. Это одно. А второе — Виктор Степанович был молод и никак не тянул на ветерана войны. Не иначе, в Германию он был угнан ребёнком. И не иначе к нему был применён закон об уголовной ответственности с 10 лет, по которому расстреляли сына одного из видных военачальников СССР — Якира. Хотелось кричать и стучать в неведомые двери, за которыми можно было найти справедливость. Но кто услышит и где эти двери?!

Прошло много лет, и после встречи с алтарником Свято-Софрониевского храма я поняла: алтарник и специалист дирекции строящегося комбината с клеймом «недостойного и замаскировавшегося» — одно лицо.

Позвонила Виктору Степановичу с горячим желанием написать о его жизни. Узнав, что я человек верующий, он согласился. Вот его повествование.

Завтра началась война

— Отец мой, Степан Фёдорович Ефимов, был кадровым офицером. Мама, Мария Григорьевна, — военным фельдшером. В 1935 году 90-й танковый полк, где они служили, перебросили с Урала на Украину, в город Запорожье. В вагоне, на участке железной дороги «Воронеж — Запорожье» я и появился на Божий свет. Вскоре из Запорожья родителей перевели служить в Брест. Помню, мне уже было 6 лет. Июнь 1941-го. Наш детский сад выехал на дачи. Там же отдыхали и мои сестрёнки: 4-летняя Тая и 8-летняя Люда, которая окончила первый класс. Вечер 21 июня был тёплый-претёплый. Мы так много купались в речке, что после ужина тут же крепко уснули. Проснулись от гула самолётов, взрывов, огня и дыма. Наверное, немцы приняли наш детский лагерь за воинское подразделение и не-

щадно бомбили с воздуха. Прятаться и бежать было некуда. Немецкие самолёты на бреющем полёте сбрасывали бомбы, которые взрывались, рассеивая тысячи осколков. Всё вокруг горело. На моих глазах убивало, разрывало на части, присыпало землей детей и взрослых. Руки, ноги, спина, грудь, живот у меня и сестрёнок были изранены мелкими осколками. Из 60 детей и 20 взрослых, которые в ночь на 22 июня были в детском лагере отдыха, в живых осталось 14. Когда бомбежка прекратилась, стало слышно, как где-то кто-то стонет, кто-то плачет, зовёт на помощь... И вдруг в лагерь въехал танк со звёздочкой на башне. Все, кто был на ногах, кинулись к нему. А я оцепенел от ужаса и боли, не мог шага сделать и слова сказать. В танке оказался мой отец. Он быстро загрузил всех живых в танк, куда только можно было загрузить, и вывез в Брест. Перед глазами и сейчас чётко встаёт картина: меня вводят за руку в каземат, на кроватях полно раненых. Мама в белом халате кому-то делает перевязку или укол. Она оглянулась, увидела меня, вскрикнула: «Витя, сынок, ты весь седой» — и упала в обморок.

Дни потянулись за днями. Папа где-то воевал. Мама всё время пропадала в госпитале. День и ночь с неба падали бомбы, гремели взрывы, свистели пули, все горело. В короткие перерывы мы, дети, выглядывали на улицу. Земля вокруг была пропитана кровью, всюду лежали тела убитых и то, что оставалось от человека после попадания авиабомбы или оружейного снаряда.

Пришли немцы. Женщин и детей, способных передвигаться, было совсем немного. Мы вышли на открытую и ровную местность, где поодаль стояли люди в военной форме, мотоциклы с колясками, танки. От страха мы застыли, и казалось, что от напряжения дрожит воздух. Мама держала Таю на руках, а мы с Людой прижались к ней по бокам. Люди в военной форме, говорившие на чужом языке, нас осмотрели, построили в колонну и приказали идти. Мы шли и шли по краю дороги, а рядом шли большие дяденьки в военной форме и в касках, с винтовками и автоматами наперевес. С наступлением вечера по команде мы остановились и от усталости легли прямо на землю. Еды и воды нам не давали и объявили, что в сторону нельзя сделать и шага. Тех, кто его делал, тут же расстреливали. Утром на наших глазах расстреляли тех, кто не мог идти. Мама одной рукой держала маленькую Таю, другой прижимала нас с Людой к себе и пересохшими губами шептала: «Сынок, доченька, родные мои, надо идти. Надо идти». Жители близлежащих сёл выносили варёную картошку, бутылки с водой. Кланяясь до земли, они жестами просили у конвоиров разрешения передать нам еду и питьё. Глаза их были полны боли, по щекам текли слёзы.

Саласпилс, Освенцим

Когда нас пригнали в Латвию, лагерь Саласпилс, кто-то из взрослых сказал, что уже август. Какое-то время нас держали за колючей проволокой, а потом детей оторвали от матерей, увели в какое-то помещение. Там нас осмотрели, распределили по возрасту, цвету глаз и волос, измерили рост, вес. Всех, кто в 6 лет ростом был ниже метра, у кого были карие глаза и тёмные волосы, отставили в сторону. Всех их потом расстреляли или сожгли в печах крематория. Белокурых, голубоглазых и рослых, в число которых попал и я с сестрёнками, увезли на железнодорожную станцию, набили в вагоны и повезли в Германию. Это сейчас я знаю, куда нас повезли, а тогда я понимал одно: плакать, спрашивать: «Где

мама?», просить воды и еды нельзя, разговаривать тоже нельзя. Ничего нельзя, иначе злые дядьки и тётки будут больно бить и могут убить совсем. Поволокут за ноги и бросят вниз головой в ящик в тамбуре, как это они делали с некоторыми другими детьми.

С поезда в крытых машинах нас привезли в лагерь, огороженный высоким забором из колючей проволоки, построили в шеренгу, отобрали самых слабых. Я тоже оказался в их ряду. Но потом один немец-надсмотрщик увидел у меня на шее верёвочку с образком и отвёл в сторону. Эту металлическую иконку я как-то после бомбежки нашёл в развалинах Брестской крепости. Крепко зажал в кулак, потом приделал к ней ушко, вдел верёвочку и повесил на шею, чтоб не потерялась. Я вообще тогда не знал, что есть Бог и святые и что моя находка называется иконой. Но какая-то сила, мысль или голос мне подсказывали, что добрый дедушка с длинной бородой «на картинке», так я называл образок, защитит меня, маму и сестрёнок.

Меня разделили с сестрёнками, и вместе с сотнями других детей перевели в детское отделение Освенцима — Броккартен, в так называемый Биринуаф, блок № 15. Мы жили в деревянных бараках с нарами в три яруса. По ширине на нарах вмещалось три ребёнка, по длине — девять. Спали так: ноги первой тройки к головам второй, ноги второй — к головам третьей. Никаких матрацев и одеял. Халат из мешковины или мешок с отверстиями для головы и рук служили нам одеждой зимой и летом. Нашим «воспитанием» стали занимались надсмотрщицы, их называли «капо», которые нас люто ненавидели и жестоко избивали. Утро начиналось со злого окрика-команды: «Штейн аух!», что значило: «Встать!» Многие дети умирали ночью и оставались лежать. Их тела стаскивали, кидали в бочку с раствором хлорки, а потом сжигали. А мы, живые, обтянутые кожей скелеты, с наголо обритыми головами, провалившимися и полными страха глазами, строились рядами.

Святое крещение

Среди взрослых пленных был православный священник из Белоруссии. Он старался окрестить как можно больше ребятишек, особенно тех, кто был кандидатом в газовые камеры или крематорий. Крестильной чашей служил железный тазик с водой, миром для помазывания — олифа или какая-то жидкость, похожая на масло. Потом кто-то донёс немцам на этого человека. Его страшно пытали, замучили до смерти и сожгли. Взрослым и детям объявили, что так будет с каждым, кто не будет повиноваться вермахту. Много лет спустя уже в Усть-Илимске я спросил отца Александра Белого — настоятеля храма Всех Святых, в земле Российской Просиявших: «Действительно ли мое крещение в детском лагере Освенцим или мне надо креститься вновь?» Священник не взял на себя смелость судить что-либо по этому вопросу, и задал его митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму. Тот при встрече с отцом Александром сказал, что узник-священник из Освенцима — священномученик, хотя и не прославленный на земле. И что ныне живущие священники не вправе что-либо исправлять в его действиях, даже если они выполнялись с отступлениями от установленного чина таинства крещения.

Страшный дядька Йозеф Менгель

В Биренауф действовала лаборатория известного фашистского биолога Йозефа Менделя. Дети служили материалом для его опытов. Детям вживляли в мозг электроды и испытывали рефлексy. У детей выкачивали из вены кровь и вводили какие-то жидкости. Детям прививали инфекционные болезни и вкалывали первые антибиотики. Дети покрывались сыпью, язвами, слепли, глохли, а некоторые умирали. Оставшихся в живых разогревали, потом погружали в ванную с водой и, постепенно охлаждая температуру, замораживали. Потом размораживали и наблюдали, что с детьми происходит: измеряли температуру, пульс, давление, смотрели цвет склер, размер зрачков, состояние языка, мышц, внутренних органов... Самыми страшными и болезненными были опыты на позвоночнике. Огромный шприц вонзали в межпозвонковые диски, что-то вводили, выкачивали мозг... Истощённые и обессиленные, дети трепыхались, бились в конвульсиях. Детей держали или привязывали. Я очень хорошо запомнил доктора Йозефа Менделя: мужчина лет сорока, среднего роста, волосы тёмные, лицо бело-розовое, гладко выбритое, глаза голубые, и такие холодно-испытующие, колючие, пронизывающие этой своей остротой насквозь. Он и сейчас иногда приходит ко мне во сне, удивляется, что я ещё живу на белом свете и что-то хочет сказать, но я в жутком страхе, какой переживал в Освенциме, просыпаюсь.

...Помню, однажды летним днём над Освенцимом прошёл дождь, а вместе с ним на лагерный двор нападало много зелёных лягушек. Мы наклонялись над лужицей, хлопали по ней ладошкой, лягушки выпрыгивали из воды, мы их хватали за задние лапки, раздирали надвое и жадно проглатывали. Малышня от двух до пяти лет, плохо стоящая на худых искривлённых ножках, облепляла нас, хватала за руки, за ноги, просила хоть кусочек «фляйш» (мяса)... Мы готовы были съесть всё, что двигалось или шевелилось. От голода, холода, страха, побоев и опытов мы забыли свои имена, родителей, братьев, сестёр, страну. Мы забыли свой язык и понимали только немецкую речь. Мы были живыми тенями, с инстинктом страха и рефлексом голода, а происходящее воспринимали так, будто всё это — побои, голод, холод, издевательства — и должно быть.

Мама, я забыл имя своё!

Обессиленных после выкачивания крови, спинного мозга или опытов детей отбирали и отправляли в крематорий. Однажды после замораживания и размораживания мне привили тиф. Я лежал на нарах в бараке и умирал. Была ночь, или у меня в глазах было темно. И вдруг крыша барака исчезла, открылась небесная сфера, и надо мной склонилась Женщина, от которой исходило сияние. Она смотрела на меня с невыразимым сочувствием и любовью. И Она так была похожа на мою маму! Да, я вспомнил маму! Перед глазами, как в кино, поплыли кадры: Саласпилс, колючая проволока, очень хочется кушать, мама подсовывает мне и сестрёнкам картофелины. Нас отрывают друг от друга, и мама кричит: «Сынок, помни имя своё. Запомни, тебя зовут Виктор... Витя...». Небесная Мама склонилась надо мной, перекрестила, и видение исчезло. Я проснулся. На нарах рядом со мной во сне стонали и что-то бормотали дети. Утром, как всегда, многие из них оказались мёртвыми. Утром пришёл Йозеф Менгель с окружением. Он очень

удивился, что я жив. А потом удивлялся, что я пошёл на поправку и выздоровел, хотя никаких лекарств мне не давали.

Много лет спустя, уже в 70-е годы, я работал на Байкальском ЦБК. В это время там снимали фильм «У озера». Мне довелось познакомиться с актрисой Людмилой Касаткиной. Она очень подробно выпрашивала у меня о Саласпилсе и Освенциме, о том, как вела себя моя мама, сестренки. В фильме «Помни имя своё», где Касаткина сыграла роль мамы маленького узника фашистского концлагеря, во многом прослеживается моя жизненная линия. Героиня фильма, когда немцы уводят её сына, как и моя мама, кричит: «Помни имя своё!» Как и я, мой прототип после всех мучений оказался в оккупационной зоне Великобритании. Как и меня, его долго лечили в госпитале. Мне уже было 10 лет. За 4 года, проведённые в Освенциме, высохшая кожа так стянула позвоночник, что он искривился, подобно стволу дерева, которому некуда расти. Ноги и руки у меня, как и у всех узников Освенцима, тоже были кривыми, сухими, как ветки.

Освобождение — ещё не свобода

В самом конце войны Йозеф Менгель и его окружение пытались вывезти лабораторию и оставшихся в живых узников из Освенцима в другое место. По дороге мы попали под бомбёжку. Меня ранило и контузило так, что от страха и боли глаза вывернулись белками наружу. Я не видел, не слышал, не ходил, не говорил. Я не помню, как меня и оставшихся в живых детей-узников Освенцима союзные войска Великобритании отправили на лечение в Англию, в специализированный госпиталь. Первое моё впечатление, когда я пришёл в себя и стал немного слышать, видеть, приподнимать голову, это вид из окна: чистая зелёная лужайка, река, на берегу — плакучие ивы. В палате белые стены, белый потолок, на кроватях с белыми простынями лежат ещё трое ребят.

Джек, как и другие молодые африканцы, служил в английском госпитале нянущкой. Он кормил меня с ложечки, выносил на руках на зелёную травку к реке, учил английскому, сопереживал, когда мне делали очень болючие процедуры по выравниванию позвоночника на кровати с функциональным основанием. Потом исправляли грудную клетку. Полгода я ходил в гипсовом корсете. Потом Джек учил меня ходить, напевал что-то весёлое, когда от боли у меня проступали слёзы. Всё, что было до войны, у меня стёрлось из памяти в Освенциме, а после контузии под бомбёжкой — и мой чудесный сон, когда я видел маму и вспомнил свое имя. Я помнил только лагерные порядки. После Освенцима Джек был первым в моей жизни человеком, от которого я узнал любовь, заботу и ласку.

Когда я стал лучше видеть, то в некоторых взрослых, одетых в белые халаты, стал узнавать людей из лаборатории Йозефа Менгеля. Но теперь они ходили под конвоем. У них были виноватые лица. Они говорили тихим голосом и при виде нас, детей из концлагерей, опускали или отводили в сторону глаза. Потом я узнал, что освободившие нас английские офицеры и солдаты были поражены видом детей-узников Освенцима. Военные медики сделали всё, чтобы мы все до одного, кто дышал, остались живы. Но они не имели опыта по лечению последствий, возникших от длительного голода, побоев, страха, опытов по выкачиванию крови, спинного мозга. По перелому и заживлению костей, замораживанию и размораживанию. По испытанию рефлексов головного мозга с помощью электродов....

Представители Великобритании захватили медперсонал Йозефа Менгеля в плен, доставили в Англию и под страхом международного трибунала обязали исправить то, что они натворили. Потом, конечно, их всё равно судили, как совершивших небывалое в истории цивилизаций преступление против человечности.

В госпитале было много детей из Польши, Чехии, Словакии, Югославии. Мы быстро находили общий язык и говорили на смешанном польско-чешском наречии. С медиками общались по-немецки. Никто не мог определить мою национальность. И сам я не мог вспомнить своё имя и страну. В концлагеря немцы обычно отправляли детей евреев, русских, украинцев, белорусов. Но если меня за 4 года не сожгли в крематории, не удушили в газовых камерах, значит, я — не из их числа. Все решили, что я — чех, мальчик из сожжённой фашистами деревни Лидица, и стали называть Вацлавом. А ещё у меня была кличка — Седой.

В Великобритании нас лечили полтора года. Постепенно я стал видеть, слышать, потихоньку ходить. Шёл уже 1947 год, когда Чехословакия затребовала вернуть своих детей, прошедших фашистские концлагеря.

На руках через всю Прагу

Из Англии нас доставили в фильтрационный лагерь, расположенный в очень красивом местечке Чехии — Градец Кралове (в переводе — Королевский Город), близ деревни Тшесовице. Туда приезжали мужчины и женщины из разных областей Чехии, Словакии, Югославии, Польши — люди искали своих детей, родственников, которых потеряли в годы Второй мировой. Некоторые находили. Как и все другие мальчишки и девчонки, я тоже ждал, что меня найдут.

В 1947 году в Праге проходил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, направленный против диктаторских режимов, войн, фашизма и нацизма. Нас, детей из фильтрационного лагеря, кто ещё не нашёл родителей, очень хорошо одели и повезли на праздник. Участники фестиваля встречали нас на вокзале с цветами, конфетами, дарили игрушки, значки, флажки и другую сувенирную мелочь, а потом несли на руках от памятника Яну Гусу, что стоит на площади недалеко от вокзала, через всю Прагу к знаменитому Карлову мосту через реку Влтаву, с его удивительными скульптурами, чугунными перилами сказочнойковки. Мы были главными героями фестиваля. Звучали речи о том, что мы — безвинные жертвы войны и нельзя допустить, чтобы в истории человечества повторилась Лидица, Освенцим, Дахау...

Меня нашёл папа Карл Крайчович!

После фестиваля нас поместили на жительство в детский приют близ курортного местечка Бездеце. Всех очень красиво одели, хорошо кормили. Сюда тоже каждый день приезжали люди разных национальностей с горячим желанием отыскать своих, унесённых войной, детей. А мы с надеждой встречали каждого взрослого: вдруг это за мной?! И вот в какой-то день в приют пришёл мужчина средних лет, с очень добрым лицом и внимательным взглядом карих глаз. Судя по одежде и речи — чех. Он пристально всматривался в лицо каждого из мальчишек. Мы с любопытством и надеждой тоже смотрели на него. Вдруг он обратился ко мне:

«Ты — Виктор?» У меня что-то дрогнуло в груди, что-то до боли родное и забытое всплыло в памяти, и я кивнул: «Да, я Виктор». Он порывисто обнял меня, крепко прижал к груди, потом отстранил, взгляделся в меня и стал тискать, целовать. По его лицу текли слёзы. Я тоже плакал, не зная, кто этот человек.

Потом он протянул мне руку: «Карл Крайчович» — и сразу стал рассказывать, что он здесь по наказу моей мамы. Она находилась в женском концлагере Маттенхаузен, который освободили войска США, и попала в один из фильтрационных лагерей на территории Чехии. А он, Карл Крайчович, искал в фильтрационных лагерях американской зоны свою семью. Так он познакомился с моей мамой. Она в этих фильтрационных лагерях искала меня, Люду и Таю. Карл Крайчович помог ей побывать во всех местах, где могли оказаться малолетние узники фашистских концлагерей. Так она нашла дочерей, а обо мне — ни слуха ни духа. Кончался срок пребывания моей мамы в демаркационной зоне. Надо было или выбирать новую родину — США, Великобританию, Францию или возвращаться в Советский Союз. Мама выбрала Родину и просила Карла Крайчовича, чтобы он, даже когда найдёт всех своих родных, продолжал искать меня. Главная моя примета — синие глаза и седые волосы. Карл Крайчович уверял, что узнал меня сразу, как только увидел, но на всякий случай спросил имя. Мама говорила ему, что я должен помнить своё имя, а если и забыл, то должен вспомнить.

Пока решится моя судьба, пока я попаду в СССР к маме, этот добрый человек предложил пожить в его семье. А это было возможно только при моём усыновлении. Так я стал Вацлавом Карловичем Крайчовичем.

Родные, незабываемые Крайчовичи

У Карла Крайчовича в местечке Горни Подлужи был свой дом, с садом, огородом и разной живностью. Он работал железнодорожником, а его жена занималась домашним хозяйством. В их семье было пятеро детей: Янушка, Зденка, Отто, Карл-младший, Ярек и я — Вацлав, шестой по счёту, по возрасту — средний. Меня определили учиться в «народну» школу, где в классах занималось по десять учеников. Учителями были только мужчины — строго одетые и очень интересно излагающие свои предметы. Преподавали нам те науки, что пригодятся сельскому труженику: географию, ботанику, биологию, математику, литературу и, конечно, Закон Божий. Утром в класс входил фалаш (чешский священник). Мы бесшумно в благоговении вставали. Он осенял себя и нас крестным знамением, приветствовал: «Помогий, Пан, Иезус Христос!» Мы отвечали тем же приветствием, читали хором «Отче наш», и учитель начинал урок.

Все дети Крайчовичей учились в школе, а после занятий принимались за домашние дела. Кому исполнилось 12 лет, уже где-нибудь подрабатывали. Я тоже помогал по хозяйству, а потом отец (Карла Крайчовича я называл отцом, а его детей считал и до сих пор считаю своими братьями и сёстрами) пристроил меня в ресторанчик при отеле «Славия» Там я помогал хозяину, пану Зденеку на кухне и быстро научился готовить национальное блюдо «кнедлики». Я старался угодить людям и делал всё, чтобы Карл Крайчович гордился русским сыном. За год я освоил курс народной школы. В гимназии Дольни Подлужи меня сразу взяли в класс выше, чем полагалось после народной школы.

В воскресенье вся семья Крайчовичей шла в церковь. Я узнал, что на обра-

зочке, который не раз спасал меня в Освенциме от крематория и газовой камеры, изображён ветхозаветный пророк Илия. А в лике Царицы Небесной на большой церковной иконе я признал Ту, Которая посетила меня в Освенциме, умирающего от тифа, привитого прислужниками Йозефа Менгеля. В семье Крайчовичей мне жилось очень хорошо. Но сквозь это «очень хорошо» постоянно пробивалась мысль, что где-то в Советском Союзе меня ждёт мама, сёстры и, может быть, вернулся с войны отец. Я написал в консульство СССР в Праге, а потом с Карлом Крайчовичем мы туда поехали. Вообще папа Карл Крайчович не раз отговаривал меня от мысли возвращения на Родину. Объяснял, что русские люди — хорошие, что весь мир им обязан победой над фашизмом, но что в СССР меня ждет новый концлагерь. Но мне не хотелось верить в это. Я хотел к маме Я уже вспомнил, как меня в Саласпилсе оторвали от неё фашисты и как она кричала: «Сынок, помни имя своё! Ты — Виктор Ефимов! Твоя Родина — СССР!»

На родину под конвоем

Из консульства СССР, куда я приехал с папой Карлом Крайчовичем, меня уже непустили. Учиться в гимназии тоже не разрешили. И вообще запретили покидать территорию консульства. Относились ко мне без вражды, но и без участия. По-русски я не говорил. Не раз меня допрашивали с переводчиком: кто, откуда, как попал в Освенцим? Что делал в Англии? Как оказался в семье Крайчовичей? Спустя полгода меня перевезли под конвоем в фильтрационный лагерь под Веной. Кого там только не было: советские военнопленные, молодые люди, подростками угнанные на работы в Германию и достигшие там совершеннолетия, власовцы. Власовцев после первого допроса сразу отправляли в СССР под суд и в лагеря для уголовников. Остальных, в том числе и меня, всё допрашивали и допрашивали.

С довоенного детства в моей памяти сохранилась одна картина: большая река и огромная плотина. Как я потом узнал, до войны в СССР была всего одна большая ГЭС — Запорожская, на Днепре. По этому факту НКВД установил мою личность и то, что в Запорожье у меня живет тётя по линии матери. В товарном вагоне, под вооружённым конвоем, из Австрии через Венгрию и Румынию меня отправили в СССР. В Будапеште и Белграде стояли по месяцу, где меня опять допрашивали. Только через 8 месяцев после выезда из консульства СССР в Праге, меня доставили на пограничную станцию Чоп, а оттуда — во Львов, где ещё не раз допросили и отобрали личные вещи.

Побег

В Запорожье меня поселили в комнате на вокзале. Конвой сняли, но выходить дальше привокзальной площади запретили. Допрашивали каждый день и по нескольку раз в день. Я очень плохо говорил по-русски, переводчика здесь не было. Впервые на допросах я услышал в свой адрес слова: предатель, шпион иностранной разведки. Как-то я стоял у открытого окна своей «камеры» и увидел на привокзальной площади безногого матроса с колодкой орденов на груди. Он просил милостыню у пассажиров и прохожих. Он тоже меня приметил и заговорил. Мы познакомились. Он учил меня русскому языку и выпрашивал мою историю. Со-

ветовал все обвинения отрицать и не подписывать никакие бумаги. Однажды к моему окну подошла женщина и со словами: «Я прочитала. На, читай ты» — протянула книгу «Кавказский пленник». Книга стала моим первым учебником русского языка.

Однажды НКВДэшники после очередного допроса с рукоприкладством заявили, что меня, как предателя и шпиона, будет судить военный трибунал по статье 58 УК, с литерой «СОЭ» — «социально опасный элемент», и мне грозит 15 лет самых суровых лагерей. Я рассказал безногому другу-матросу обо всём и от обиды заплакал. «Знаешь, что? А ты не жди, когда тебя отправят по этапу на Колыму или на Крайний Север. Беги. Езжай в Одессу. Найдёшь там маршала Жукова Георгия Константиновича. Он, и только он, тебе поможет». Матрос рассказал, кто такой Жуков, назвал его адрес в Одессе, показал под вагонами большие деревянные ящики, в которых железнодорожники прятали лопаты, ломы и другой инструмент. Мол, ты худой, заморенный, поместишься. Если на какой станции откроют ящик, и вывалишься — беги. Ноги, слава Богу, есть! Догонят, не говори, кто ты и что тебе четырнадцатый. С виду тебе десять, сойдёшь за сироту, каких сегодня тысячи по Украине и России бегают. Отпустят.

Мы с матросом изучили расписание поездов, продумали маршрут, и в ту же ночь я бежал. Спустя две недели в своём подвагонном «купе» я услышал объявление: «Поезд прибыл на станцию Одесса».

Одесса-мама

За две недели пути, проведённые под вагоном, я сильно ослабел. Денег на проезд в автобусе у меня не было. И я всё ещё плохо говорил по-русски. Выбирал прохожего с добрым лицом, подходил, показывал клочок бумаги с адресом Жукова, который мне написал безногий матрос, и шёл в указанном направлении. Как я уже говорил, во Львове, при допросах, НКВДэшники отобрали у меня личные вещи. Я остался в одной скаутской форме: защитного цвета брюки, курточка, рубашка и зелёный галстук с голубой окаёмкой. И хотя одесситы в своей массе были одеты бедно и пёстро, моя скаутская форма привлекала всеобщее внимание. Какие-то люди приняли меня за немца и доставили в лагерь военнопленных, которые отстраивали разрушенную Одессу. Я объяснил старшему среди них, кто я и зачем в Одессе. Одно слово «Освенцим» вызвало у пленных немцев горячее сочувствие. Меня стали отговаривать от дальнейших поисков Жукова. Мол, зачем тебе СССР и Сталин с его лагерями? Нас скоро освободят. Уедем в Германию. Один баварец, при условии, что я останусь, а потом уеду с ним в Германию, обещал дать мне там приют, образование, а когда вырасту, отдать мне в жены свою красавицу-дочь. Он с гордостью показывал фотографию белокурой, с большими глазами и бантами девочки. Но мне не нужна была ни Германия, ни красивейшие её девочки. Я хотел жить на Родине и найти свою маму, сестёр. Хотел узнать, где мой отец-танкист. Из лагеря военнопленных немцев меня неожиданно отпустили, мол, иди куда хочешь. И я опять отправился на поиски маршала Жукова.

В гостях у Жукова

Дом Жукова, кажется, это был двухэтажный особняк с садом, оказался под охраной. Я сел поодаль караула на обочине дороги и стал ждать в расчете, что когда к дому подъедет Жуков, я быстро подойду к нему и всё расскажу. Так я просидел не один час. Вдруг из ворот дома маршала выбежала девчонка-подросток: смуглая, черноглазая, две косички с бантиками. Своим видом она напомнила мне птенца-галчонка. Девочка подбежала ко мне и резко, но без враждебности, спросила:

— Что тебе, немчура, надо? Что ты тут сидишь и всё высматриваешь?

— Я — русский. Ищу этого человека, — сказал я сдавленным от волнения голосом, едва выговаривая русские слова, и протянул девочке листок с записью: «Жуков Георгий Константинович».

— Это мой отец. Зачем он тебе?

— Это я только ему скажу, — ответил я со значением. — «Галчонок» постояла, подумала и неожиданно протянула мне руку: — Ладно, пойдём в дом. Что ты тут будешь торчать. Отец, бывает, до ночи работает, а то и совсем не приезжает домой.

Часовой сразу же преградил мне путь, но «галчонок» заявила, что я — её друг, и если меня не пропустят, она пожалуется отцу и тот вообще часового выгонит. Часовой всё равно меня не пускал. И только, когда «галчонок» несколько раз повторила, что будет жаловаться отцу, сердито сказал: «Да делайте вы, что хотите!» — и убрал штык с моего пути.

«Галчонок», кажется, её даже звали Галей, предложила мне вымыть руки, усадила за стол и поставила тарелку с пельменями: «Ешь, ты такой тощий». После двухнедельного голода я со зверским аппетитом набросился на угощение. Но мне так скрутило живот, что пришлось вызывать врача. Тот дал лекарства, велел лежать. Не прошло и часа, как в гостиную вошёл мужчина средних лет, среднего роста, довольно плотный, в гражданском костюме, брюки заправлены в высокие хромовые сапоги. «Что тут у вас происходит?» — спросил он с напускной строгостью, обращаясь к дочери и окинув меня внимательным взглядом. «Папа, это к тебе. Он сам всё расскажет». Я забыл про боль в животе и слабость, быстро вскочил, стал говорить, с трудом подбирая русские слова, пересыпая их немецкими и чешскими. Жуков предложил мне пройти в кабинет и стал задавать вопросы на чисто немецком. «Галчонок» без спроса вошла в кабинет, обняла отца и часто спрашивала: «Папа, а что ты его спросил? А что он тебе ответил? Переведи. Я тоже хочу знать!» В конце нашего разговора Жуков спросил, помню ли я фамилию сотрудника НКВД, который шьёт мне дело. Я назвал. Жуков поднял трубку телефонного аппарата, велел соединить с Запорожьем и строгим тоном сказал: «Капитана Филиппенко». На том конце провода ответили, что уже поздно и капитана Филиппенко на службе нет. Жуков приказал, чтобы Филиппенко тут же был. На другом конце провода спросили: «Кто его спрашивает?»

— Кто, кто? Жуков!

Через две минуты требуемый объект доложил по телефону по всей форме.

— Ты, придурок, немедленно подавай рапорт об увольнении! Что б завтра же тебя в армии не было! — Жуков ещё сказал пару резких фраз в трубку, спокойно повернулся к нам с «галчонком», мол, всё, вопрос решён. Маршал велел отвести меня в ванную, подобрать одежду, выделить отдельную комнату и попросил, чтоб я погостил у него с недельку. С замиранием сердца я согласился. Меня прилично

одеди, обули. Мы много с «галчонком» разговаривали на разные темы. Она всё расспрашивала о том, как там было в Освенциме, как выглядел доктор-палач Йозеф Менгель, как я жил в Чехии... А иногда она надо мной просто потешалась. Например, однажды предложила примерить отцовский китель со всеми орденами. Под его тяжестью я тут же рухнул. А «галчонок» по-доброму, от души закатывалась от смеха.

...На прощанье маршал Жуков подарил мне красивый кожаный чемодан, сказал добрые слова пожеланий, выразил уверенность, что всё у меня в жизни будет хорошо.

Что же ты делаешь с нами, Родина?!

На перроне станции Запорожье, прямо у купейного вагона, меня встречал незнакомый сотрудник НКВД. Услужливо взял чемодан, подаренный маршалом Жуковым, донёс до автомобиля. Это были последние минуты свободы перед арестом и судом. Меня всё-таки признали предателем Родины, но дали не 15 лет, а 3 года, с полным поражением прав на такой же срок после отбытия наказания.

«Беспроволочный телеграф» уголовного лагеря строгого режима под Норильском заранее отстучал, кто прибывает с очередным этапом на зону и за что. Вновь прибывших зэки встречали по-разному. А меня приветствовали возгласами: «Добро пожаловать на лучший курорт СССР по путевке товарища Сталина долечиваться после Освенцима!»

Контингент лагеря составляли уголовники, военнопленные и политические. Последние были людьми образованными, старались соблюдать культуру общения, насколько это понятие можно применить к условиям зоны. Уголовники и военнопленные политических не любили, но меж собой тоже не ладили. У тех и других были пожизненные сроки заключения и жестокий опыт прошлой жизни. Между ними часто вспыхивали драки. В ход шли ножи, бритвы, ломы, свинчатки и острые, как шило, специальные металлические заточки. Дрались заключённые страшно. Действительно, не на жизнь, а на смерть. Но меня никто не задевал: ни словом, ни физически. Наоборот, кому бы ни пришла посылка с харчами, или если кому-то удавалось раздобыть еду нелегально, все делились со мной. В каждом заключённом я видел живого человека с искалеченной судьбой, но держался ближе к политическим.

Работали все очень тяжело: выколачивали из шлака остатки меди, а шлак грузили в вагонетки. Когда вагонетки наполнялись, толкали их вверх впереди себя по рельсам на вершину террикона и там опрокидывали. Кормили нас тюрей — жидкой кашей из разной крупы, иногда давали ржавую селёдку. Некоторые заключённые не выдерживали нечеловеческих условий — бежали. Их догоняли конвоиры и тут же пристреливали. Многие заключённые болели и умирали. Всех нас мучила цинга. Осенью от неё мы пытались спастись ягодами клюквы, зимой — отваром хвои, весной — первыми ростками травы. Всё это мы срывали по пути на работу и с работы, не удаляясь от дозволенного маршрута. По лагерным порядкам шаг зэка в сторону расценивался как побег, и можно было схлопотать пулю в спину.

Невыносимо!

После отбывания срока в зоне под Норильском я не имел права учиться в вечерней школе, техникуме, вузе, жить в областных городах и вообще жить без надзора спецорганов. Меня отправили в Украинку, на станцию Пятихатки, определили на железную дорогу подконвойным разнорабочим.. Работа была тяжёлая физически и морально. Я был страшно худой, слабый и едва волочил ноги. Надо мной откровенно издевались охранники и другие поднадзорные. Особенно глумились вертухаи, служившие «нашим и вашим». В зоне под Норильском было легче. При первом удобном случае я бежал. В Запорожье у тётки меня тут же взяли и вернули в Пятихатки. Но я опять бежал. На этот раз тётка сразу же отвела меня на кладбище в родовой склеп (мои предки до революции 1917 года были людьми знатными), и велела ждать здесь до лучших времён. И я ждал. Ночью тётка приносила мне еду, одежду, книги, газеты. После Освенцима и лагеря под Норильском я несколько не боялся смерти. Тётка уходила, а я ложился в гроб рядом со скелетом прадеда, пожимал костяшки пальцев: «Дорогой дедуля, береги меня от НКВДэшников» и, помолвившись Богу, ложился спать. За всё время моего нелегального проживания на кладбище сотрудники НКВД много раз приходили к тётке с обыском и допросами. Наверняка, сотрудники этого страшного ведомства проследили за её ночными визитами на кладбище, но ни разу не сунулись ко мне в склеп. Они не верили в Бога, творили зло, но боялись смерти. Так я просидел в родовом склепе до лучших времён — амнистии, известной в истории СССР как «холодное лето 53-го», когда были помилованы многие уголовные заключённые. В том числе и я.

Завод, армия, институт

На свободе в самые сложные моменты жизни мне помогали евреи. Вот и в 53-м тётка через знакомого еврея устроила меня работать на завод «Запорожсталь» учеником слесаря новой и очень престижной в то время профессии — ремонт и эксплуатация КИПиА. Днём я работал, вечером занимался в школе рабочей молодёжи, а в воскресенье (тогда это был единственный выходной день) шёл в церковь. На подходе к храму всегда дежурили бригадмилыцы — комсомольцы, оказывающие помощь милиции в борьбе с антиобщественными явлениями, как-вым считалась и вера в Бога. Старушек они не трогали, а меня не только словами пытались убедить, что Бога нет, но и кулаками. На службу в храм я частенько приходил изрядно потрёпанным, с разбитым носом и синяками. Вообще, драться за кусок хлеба, брюквы или горсть шпината меня научил Освенцим. Но в случае с бригадмилыцами силы были не равные: они — здоровые, сытые, а я — с 6 до 10 лет заморенный в фашистском концлагере, а с 14 до 17 — в сталинском ГУЛАГе. Священник о. Александр показал мне вход в церковь через потайной подвал и посоветовал стоять в храме за колоннами. По совету тёти я записался в спортзал на самбо, чтоб хоть немного набрать мышечную массу. Приёмы освоил быстро, и уже воинствующие комсомольцы получали от меня мзду за хулу на Бога. Да так, что меня дважды вызывали в милицию на беседу с предупреждением.

Жизнь понемногу налаживалась. Объявилась в Запорожье и вскоре вышла замуж старшая сестра Люда. Дала знать о себе из Иркутска после выхода из детско-

го дома младшая Тая. Только о маме — ни весточки. Я сдал экстерном экзамены за курс семилетки (это как сейчас 9 классов) и взялся за курс десятилетки, как вдруг получил повестку в армию. На призывной комиссии врач посмотрел мою справку об инвалидности 1-й группы и безапелляционно изрёк: «У нас таких инвалидов — половина СССР. Иди служи!»

Шёл 1956-й год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Хрущёв с трибуны XX съезда КПСС развенчал культ личности своего предшественника и соратника Сталина. Военную часть, в которой я служил, с пограничной зоны под Кутаиси срочно перебросили в Тбилиси. Там весной 56-го творилось такое, как зимой 2009 года устроил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. После наведения порядка в столице Грузии нашу часть расформировали, а нас, солдат, отправили кого куда. Я попал на космодром Байконур. Служил заправщиком топлива ракетных установок. При мне запускали в космос собак по кличке Белка и Стрелка.

После демобилизации сдал экстерном курс десятилетки, поступил на вечернее отделение Запорожского филиала Днепропетровского металлургического института. Из рабочих меня быстро перевели в ИТР, а за одно большое ращпределение — премировали чёрной «Волгой». По тем временам — это всё равно, что сегодня получить «Мерседес». Честно скажу, я не знал, что делать с дорогой машиной. И тут опять меня выручил один еврей. Он предложил, мол, давай меняться: ты мне «Волгу», а я тебе — двухкомнатную квартиру в Запорожье. Оформление документов он полностью взял на себя.

Мама, белая голубушка

Квартира оказалась как нельзя кстати: отыскалась мама! После Освенцима, у папы Карла Крайчовича в Чехии, я вспомнил её какой она была перед войной: синеглазая, светловолосая, в нарядном платье и туфельках на каблучках. А при встрече я увидел седую старуху в эковской телогрейке, стоптанных кирзовых сапогах и старом платке. От прежней мамы остались только глаза: большие — синие-синие и такие добрые. Но столько боли светилось в этой синеве! Моя мама... Она сразу узнала меня по седым волосам и, как в госпитале при Брестской крепости в первую ночь войны, упала в обморок. А потом мы провели вместе много вечеров. То молчали, то не могли наговориться. Плакали. В немецком концлагере её тоже подвергали пыткам-опытам. Вживляли в головной мозг электроды, выводили зимой на улицу, обливали водой, подключали датчики и фиксировали реакцию организма. Она знала, что такие же опыты врачи-фашисты проводят над детьми. Замерзая, мама мысленно закрывала собой нас, своих детей, от уколов, электродов, выкачивания крови, а когда приходила в себя, мысленно лечила нас, молилась Богу и Богородице, просила спасти и сохранить нас. Господь и Его Пречистая Матерь слышали материнскую молитву.

После возвращения из плена в СССР маму тут же осудили по статье за предательство Родины. По советским законам, она — военный фельдшер, не имела права вместе с малолетними детьми сдаваться на милость врагу при сдаче Брестской крепости. Срок отбывала в лагере на Дальнем Востоке. Сразу после развенчания культа личности Сталина выехать в Запорожье не могла, да и опасалась своим возвращением запятнать биографию дочерей, которые побывали в Освенциме. Увидеть меня живым она не надеялась.

Сибирь: Байкал, Ангара

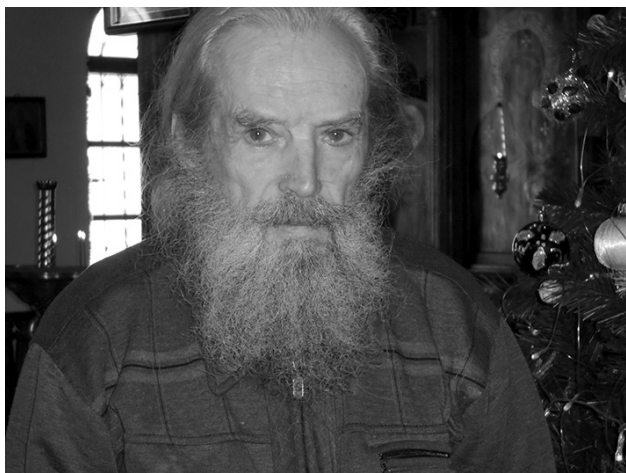
Деканат готовился торжественно вручить мне «красный» диплом. И тут я опять попал в поле зрения НКВД, переименованного к тому времени в КГБ. Из беседы-допроса, устроенного сотрудниками этого ведомства, выходило, что узник Освенцима и реабилитированный зэк, верующий в Бога, не желающий вступать в комсомол, не достоин «красного» диплома и вообще не имеет права на высшее образование. Опять меня выручил еврей — декан факультета Моисей Дионисович Потеня. Он тет-а-тет шепнул: мол, выдам тебе синий диплом, а ты немедленно уезжай из Запорожья куда-нибудь подальше. И я с «синим» дипломом отправился в Иркутск, где жила после выхода из детдома моя младшая сестрёнка Тая. Устроился работать в проектное управление «Оргбумдрев», занимался пуском и наладкой оборудования КИПиА на Байкальском ЦБК. В 68-м проходил военную переподготовку на острове Даманский, где в разгаре был военный конфликт с КНР. Помог военным спецам разобраться в чертежах и запустить ракетную установку «Град».

Потом опять своим чередом потекла мирная жизнь. Длительные командировки на Сахалин, Дальний Восток, Приамурье, Забайкалье и другие места, где работали или пускались целлюлозно-бумажные комбинаты и надо было монтировать приборы КИПиА. Наконец, в 1974 году меня вызвали в Усть-Илимск — монтировать оборудование КИПиА, поступающее на строящийся Усть-Илимский ЛПК. Курировал поставки импортного оборудования. Продвинулся до заместителя главного инженера целлюлозного завода по КИПиА. Моя кандидатура как специалиста, владеющего несколькими иностранными языками, фигурировала среди претендентов на должность постоянного зарубежного представителя в Париже. Но... Помню, начальник так называемого первого отдела дирекции строящихся предприятий комбината, со словами: «Скрытный вы, человек, Виктор Степанович Ефимов» — учинил мне допрос с подробным письменным изложением событий давно минувших дней. Всё, что рассказал вам, поведал тогда и «гэбэшнику». А потом по его требованию ещё и описывал свои «хождения по мукам» всю ночь. Тут же меня отстранили от руководящей должности. Но, слава Богу, не посадили. Да и мои знания, любовь к делу остались со мной. С удовольствием занимался монтажом и испытаниями импортного оборудования непосредственно на производстве. Так, рядовым инженером проработал до 2003 года, последние 5 лет — бригадиром по ремонту КИПиА. Потом вышел на пенсию. Женился я поздно. Боялся, что после Освенцима у меня будет неполноценное потомство. Но, слава Богу, вместе с женой вырастили троих сыновей. Есть внук Степан. Назвали в честь моего отца — командира танкового подразделения, который погиб в жесточайшем сражении с фашистами под деревней Прохоровка на Курской дуге. Я ездил на место битвы, нашёл фамилию отца на мемориале павшим воинам.

Всю жизнь — при советской власти тайно, при новых порядках явно — я верил в Бога. Как только открыли храм в Усть-Илимске, стал ходить на службы, а теперь я — алтарник, стараюсь всё свободное время отдать служению Богу.

* * *

Когда идёт литургия и совершается Таинство Претворения хлеба и вина в Кровь и Тело Христово, священник с особой, установленной церковью молитвой



Алтарник храма В.С. Ефимов

добавил, что человеческие души — бессмертны, как праведников, так и грешников. Последние испытывают такие адские муки, какие на земле и не представить. Для облегчения этих мук и участия после Страшного Суда важно, чтобы сегодня хоть одна живая душа на земле, подражая Господу, страдающему за грехи мира на кресте, тихо обратилась ко Творцу: «Прости им, Отче, яко не ведают, что творят». И, наверное, за этой молитвой является к нему во сне страшный доктор Йозеф Менгель. При этих словах Виктора Степановича внутри меня будто вспыхнул свет, меня осенило: «Время разбрасывать камни» — это же время молиться «за ненавидящих и обидящих нас, творящих нам напасти».

вынимает частицы из просфор и соединяет с вином, а алтарник, тоже с церковной молитвой, читает имена — о здравии живых и упокоении душ усопших. Эта алтарная молитва имеет высшую силу пред Богом. Я спросила Виктора Степановича, молится ли он за своих мучителей и обидчиков. Он кивнул утвердительно: «За всех: и за Йозефа Менгеля, и капитана Филиппенко, за других, причинивших зло людей...» Помолчав, Виктор Степанович

Календарь



*К 200-летию Константина Сергеевича Аксакова,
воздвга русских славянофилов*

АНАТОЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ

Русскость по Аксакову

Аксаков Константин Сергеевич родился 10 апреля (29 марта по старому стилю) 1817 года в селе Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии в семье писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, выходца из старинного дворянского рода. В пятнадцать лет поступил в Московский университет на словесный факультет, где и примкнул к славянофилам. Автор историко-филологических исследований «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности», «Еще несколько слов о русском воззрении», записка царю Александру II «О внутреннем состоянии России». Автор трудов по русской грамматике, статей о произведениях Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Фёдора Достоевского и художественных произведений. Ратовал за православную монархию и патриархально-общинный быт в России без европейского вмешательства. Осуждал крепостное право, коррупцию чиновников и земельную политику государства. Последний год жизни провёл в путешествии по славянским землям вместе с младшим братом Иваном Сергеевичем. 7 декабря 1860 года скончался на острове Занте в Греции.

* * *

Вещие труды Константина Сергеевича Аксакова, проповедника славянофильства, созидали и поныне созидают в духе и разуме русских властителей дум, среди коих и писатели, **русскость** — суть, идею народно-православной культурной самобытности русского народа в противостоянии *западничеству*, забугорному и доморощенному, уничижающему русских, уподобляя их варварам, *раболепным, тупым, хмельным и ленивым*. Если западники, брезгливо косясь на русский народ, в позапрошлом веке на девяносто процентов крестьянский, толковали о книжной образованности западных европейцев, то Аксаков, да и Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, будучи по духу славянофилами, убеждали: грешно болтать *о темноте и дикости* русского крестьянина, создателя сверхгениальной и необозримой обрядовой, прикладной и сказовой культуры, далеко превосходящей народные культуры европейских народов. А божественная древнерусская словесность!.. а иконопись Святой Руси!.. а храмы православные!..

Константин Аксаков в статье «О русском воззрении»¹ доказал, что «тогда только и является произведение литературы, или другое какое, вполне общечеловеческим, когда оно в то же время совершенно народно. «Илиада» Гомера есть достояние всемирное и в то же время есть явление чисто греческое. Шекспир есть поэт, принадлежащий всему человечеству, и в то же время совершенно народный, английский <...> Русский народ имеет прямое право, как народ, на общечеловеческое, а не чрез посредство и не с позволения Западной Европы». Говоря, что общечеловеческим литературное сочинение становится лишь в том случае, когда оно узко национально, *народно*, Аксаков предрёк произведения Шолохова, Есенина, Рубцова, Клюева и всесветно славленных писателей-деревенщиков.

Русофилы — ярые проповедники славянофильства — были издревле, испокон русского века; русофильские идеи воплотились в шедеврах древнерусской и средневековой словесности, а потом и в творчестве Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Тютчева, Лескова, Шмелёва, но лишь Аксаков и его соратники научно обосновали славянофильство, с надеждой, что оно станет русской национальной и государственной идеологией.

Глупая болтовня — любовь к русскому народу без любовного знания народа... Константин Аксаков, а потом и писатели-народоведы, подобные Забылину Сахарову, Максимову, не токмо укрепили в моей душе народно-православные, русофильские воззрения на прошлое, текущее, грядущее России, но и подвинули меня в молодые лета к азартному и пристальному изучению обычаев, обрядов, поверий и примет русского народа, что воплотилось в моих книгах.

* * *

Благодаря и славянофилам истовые русофилы постигали язычество древних славян, древних русичей с пантеоном языческих болванов, с природоодоухотворением и природообоожествлением, с обычаями и обрядами; и слава Те Господи, души не осквернились бесовским идолопоклонством, не кинулись русофилы сломя голову по широкому и гладкому тракту, ведущему в погибель, но, падая и вздымаясь, побрели по тернистой, горной тропе ко Христу Богу.

Помнится, в иркутской пенсионной газете почитал речи, посвящённые славянству, и поскорбел: коли балагуры ведали бы учение славянофилов, то не мололи бы чушь, когда речь зашла о язычестве и христианстве древних славян, и особо русичей. Профессор З. выразил чисто культурологический взгляд на историю славянства, не вдаваясь в религиозно-мистические мотивы, а посему от речи веяло пустотой; учёный П. твердил о космополитизме и безбожии восточных и западных славян, и от речи его исходил зловещий серный дух большевистского богоборчества; а белорусский этнограф Р. порадовал глубинным и любовным знанием языческих обычаев и обрядов белых русов, что, подобно малым или *червонным* русам, в большей степени сохранили *древнерусскость*, нежели великие русы. Но огорчило то, что белорус, воспевая языческую обрядовость, — *бесам жряху*, как

¹Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика / сост., вступ. статья и коммент. А.С. Курилова. М. : Современник, 1981 (Б-ка «Любителям российской словесности»).

встарь говаривали святые отцы, — вольно ли, невольно уничижая православное христианство, а значит, подобно сектантам-неоязычникам, тоже страдал богоборчеством. Ярko и любомудро, с отзвуками былинной краснопевности, толковал о славянстве писатель С., словно вещий боян на киевских горах, возложив персты на гусли, с любовью пел о славянском природолюбии и о Творце природы; но в былинном тумане было не ясно, о каком Творце речь, ибо Иисус Христос не поминался. А коли говорится не о Христе, воплощённом в неразлитной Святой Троице — Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, то, выходит, говорится о князе мира сего, что святотатски поименован *Творцом*. Думаю, истинным было лишь слово Т., где оратор доказал приуготовленность славян, некогда поклонявшихся природе, ко святому крещению и облачению во Христа Бога. Славяноведы, преклоняясь перед язычеством или атеистически отрицая христианско-мистические основы мира, вольно ли, невольно вздымали пядь против Христа Бога, против православного христианства. Господь им судия...

В былые лета постигал я языческие обычаи и обряды древних русов, созвучные восточно-славянским, и писал очерки, касаемые обрядовости старославян, но осмыслял и описывал славянство и природу с точки зрения Святого Писания и Священного Предания, восхищаясь обрядовой, песенной поэзией древних славян, а языческую магию воспринимая как бесовщину. Если Бог ведёт грешные, но покайные души к спасению для Вечного и Блаженного Царства Небесного, то языческие жрецы и нынешние воспеватели мистического язычества, как уже говорилось выше, сами бесам поклоняются и народ искушают бесовской прелестью, ибо языческие жрецы, языческие проповедники, яко слепцы, ведущие слепых в преисподнюю на вечные муки. Духовно воинственное отношение к язычеству выражено в Библии устами ветхозаветных пророков, потом устами Сына Божия и устами апостолов, а в Священном Предании и устами святых: «Господь — царь на веки, навсегда; исчезнут язычники с земли Его» (*Пс. 9:37*); «...Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами» (*1 Кор. 10:20*).

Русскость по-Аксакову — православность, что Константин Сергеевич, возможно, усвоил от святых, в земле Российской просиявших, что потом утверждали и другие славянофилы, а с ними и вдохновенный русофил Фёдор Достоевский.

А что касемо взаимоотношений славянских держав с Царством Русским, то Константин Аксаков и прочие русские любомудры, и даже государевы мужи, и исповедующие славянофильство, ратовали о искреннем, любовном братстве славянских народов. И освободитель славян, русский полководец Михаил Скобелев писал: «Я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого, одно только общее — войска, монета и таможенная система. В остальном — живи, как хочешь и управляйся внутри себя, как можешь...»

Фёдор Достоевский, славянофил-почвенник, уповал лишь на духовное единение славян: «...Славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России — началом, которое может быть даже и не строго политическим. И, наконец <...> славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных

славян, скажет всему миру европейскому, человечеству и цивилизации его свое новое здоровое и еще неслыханное миром слово».

Но и великий генерал, и великий писатель тут же скорбно погребли блажь славянского единения... Михаил Скобелев: «Племена и народы не знают платонической любви... Католичество широко разольется... Оно захватит все и всех, и в первом спорном вопросе славяне южные пойдут против северных, и будет эта братоубийственная война торжеством всякой немецкой челяди...»

А теперь уместно будет привести обширную выдержку из письма Фёдора Достоевского, ибо столь она верна и пророчески дальновидна: «Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян... Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. (Господи Милостивый, как это похоже на послевоенных и нынешних славян, кроме сербов и белорусов! — А.А.) Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на поработлении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. Особенно приятно будет для освобожденных (русскими) славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. *России надо серьёзно приготовиться к тому, что все эти освобождённые славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма, прежде чем постигнуть хоть что-нибудь в своём славянском значении и в своём особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать* (курсив наш. — А.А.). Разумеется, в минуту какой-нибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя её в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа — естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе,

тем сдерживает их целость и единство. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае»².

Юбилей Константина Аксакова, великого русского мыслителя, вождя славянофилов, коего высоко чтит и Достоевский, проходит в России незамеченным; и это говорит лишь о том, что нынешние властители ...или растлители?.. дум, хотя и треплют на языке *патриотизм*, по духу — либерально-космополитические западники, кои страшатся *русскости*, как чёрт ладана, и брезгают *народностью* в культуре и искусстве.

²Достоевский Ф.М. ПСС: в 30 т. Т. XVIII — XXX. Публицистика и письма. Дневник писателя, ноябрь 1877. Т. XXVI, глава II, параграф III. Л.: Наука, 1984.

Вернисаж



К 90-летию иркутского художника Владимира Тетенькина

ИВАН КРАСНОБАЕВ

Сибирский Левитан



Живописец Владимир Владимирович Тетенькин (1927–2009) родился в городе Улан-Удэ. С 1946 по 1950 год учился в Иркутском художественном училище у педагога А.К. Руденко. С 1964 по 1967 год и с 1971 по 1977 год преподавал в Иркутском училище искусств. С 1960 года — член Союза художников СССР. Участвовал в областных, зональных, республиканских выставках, персональных и коллективных. За рубежом экспонировался в Монголии, Японии, Германии.

* * *

Живопись Владимира Тетенькина — реалистична; не грешит демоническим сюрреализмом, чужда мертвотушному «авангардному» абстракционизму, что от изобретательного и лукавого ума, а в духовной сути — от хитромудрости князя тьмы. Живопись талантливого иркутского художника не грешит и натурализмом, что тоже от лукавого формотворчества; в картинах реалиста Тетенькина — любовное осмысление божественной красоты мира и образное, и даже символическое воплощение осмысленного на холсте.

Рождённое на холсте — о человеческой душе, о человеческой судьбе, даже если человека и нет на картине: будь то одинокая сосна над речной кручей или завьюженная степь, или вешняя берёзовая грива, или томное течение матёрой реки, или августовский луг в буйном разноцветье-разнотравье, — живопись не для природы и даже не о природе, но — для человека и о человеке. Вспомним трагически величавую русскую песню о рябине, что не в силах перебраться к дубу: ведь не

о дубе и рябине песнь, но — о трагедии невоплощенной человеческой любви; и даже не песнь — плач, достойный всесветно славленных причитаний северно-русских воплениц. Так и в пейзажной живописи Владимира Тетенькина, где в образе очеловечивается природа, — всё о человеке, а коль в искусстве царствует понятие *типического*, то не просто о человеке, — о *народе*.

Восторженные поклонники живописи Владимира Тетенькина величали художника сибирским Левитаном.... «Тончайший колорист, искренний и эмоциональный живописец <...> обладает удивительным даром говорить просто о самом сложном и серьезном, — толковала о художнике искусствовед Тамара Драница. — В его портретах, пейзажах, натюрмортах нет ничего грубого, застывшего и навязчивого. Они излучают добрую энергию, тепло и свет».

В странном, удивительном ладу уживались в живописи мастера два художественных начала: *народность и эстетская салонность*, но в отличие от произведений откровенно салонных, картины Владимира Тетенькина не страдали *искусственным конструктивизмом, театральным декоративизмом*, ибо светились живым народным чувством: тихая радость на утренней заре и светлая грусть на закате, умиленная и сострадательная любовь к ближнему — образу Божию и восхищенная любовь к природе — Творению Божию.

Живопись Тетенькина — образец художественного вкуса: красиво скроенная и крепко сшитая, изысканно прописанная, празднично опрятная, под стать мастеру, что, не озираясь на художественно расхристанную, художественно неряшливую богему, всегда, даже в братчинном застолье, одет был изысканно, опрятно: строгий костюм, белая сорочка, галстук, словно и не богемный художник хлебосольно встречает вас в мастерской, но губернский чиновник.

Художник обладал искромётным творческим даром: на пленэре увиденное, прочувствованное, осмысленное, на пленэре и воплощалось в живописное полотно. «Моя методика — писать пейзажи с натуры и сразу заканчивать. Выходишь на этюды — и нужно сразу же выразить все свои эмоции на холсте. Ведь как обычно бывает — художник поработает на природе, а заканчивать работу несёт в мастерскую; думает: в спокойной обстановке я всё осмыслю и завершу картину... И мозговая работа вытесняет эмоциональную сторону. Этюд чахнет, делается фотографичным, а искусство исчезает».

Разумеется, с этим заупокойным выводом можно и не согласиться, случалось, талантливые пейзажные картины рождались и в мастерских из предварительных этюдов с натуры, — но такова была творческая метода живописца: завершить пейзаж сразу на пленэре.

В былые времена запал мне в память портрет «Бабуля», потом — картина «Сумерки», а позже — и серия пейзажных произведений... Владимир Тетенькин по творческой природе и был пейзажистом... кои условно, тематически можно было поделить на пять разделов: «Деревня», «Тропа, дорога...», «Байкал», «Зима», «Пейзаж как натюрморт в природе».

Некий любомудр заверил, что даровитый художник может написать незатейливую дверную ручку, — и явится миру живописное произведение (вспомним «*Большиничный коридор*» Вычугжанина), но не о ручке дверной — о судьбе человеческой, ибо и дверная ручка — образ человека, а *безобразная* живопись — *безобразна*.

Владимир Тетенькин вспоминал: «Однажды посетил выставку выпускников иркутского художественного училища, и удивился банальности пейзажей: справа — берёзка, слева — тропинка... Я же всегда представлял некий образ, стремясь выразить свои эмоции. Например, глядя на берёзу и её отражение в весеннее

луже, мне представлялась барышня, красующаяся перед зеркалом. Вначале возник образ, который диктовал и пластику, и колорит работы. Помню однажды решил нарисовать картину с цветущей черёмухой, но никак не мог найти образное решение. А на следующий день неожиданно подул ветерок, очертания черёмухи изменились, и я увидел капризную барышню в кружевном жабо». Вот вам и «дверная ручка»...

Не скажу, что в картине «Сумерки» образно выразилась человеческая судьба, не говоря уж о судьбе народной, — сумеречная комната похожа на опрятный, уютный, но типичный номер провинциальных гостиниц прошлого века, где, в отличие от избы или квартиры, нет примет конкретной личности, но в картине есть некий поэтический образ: лёгкая грусть воспоминаний, словно отзвук любовного романа. «Сумерки» — живописно созвучные «Больничному коридору» Вычугжанина, — обретая образ, обретают и живописность, хотя композиция проста и малопредметна: кровать, укрытая пёстрорядным покрывалом, письменный стол с лампой, окно с полураздёрнутой шторой.

Портрет «Бабуля»... Созвучный и некоторым портретам Вычугжанина, исполненный в русских классических портретных традициях, близкий мировыражению художников-передвижников, образ старухи психологически сложный, воистину образ народный: скорбная судьба русского простолюдья выразилась в лице, измощённом, изборождённом морщинами.

О всяком вершинном произведении живописца можно толковать, но мне вспомнилась серия пейзажей, кою я повеличал *дороги и тропы*. В любом пейзаже Владимира Тетенькина слышу особую музыку, чую особое настроение, но все картины и этюды единит *щемящее чувство дороги*. Пути и перепутья испокон веку волновали человеческое воображение: и манили, и томили, и радовали, и пугали. В пейзажных картинах, пейзажных этюдах Владимира Тетенькина дорога, тропа, парковая аллея — не пугают и не восторгают, но сладостно томят некой счастливой манящей тайной, поджидающей путника там... за таинственным перелеском, в таинственном лесу, или тайна вдруг сама явится человеку по дороге, тропе, аллее... Дорога — воспетая и оплаканная в сказовом и песенном слове, дорога — древний, как мир, сюжет и вековая идея — прошла через всю мировую пейзажную и жанровую живопись, но всякий раз вновь и вновь порождая, если и не шедевры живописи, то, воистину, произведения искусства.

Два пейзажных этюда («Цветёт сирень» и, особо, «Цветы эндемики») — словно дивные натюрморты, не постановочные, но явленные природой, образцы произведений, где красота, отображённая без явной идеи, сама по себе идея — идея природного благолепия, умиляющего человеческую душу.

Если Владимир Тетенькин сумел живописно запечатлеть скучный гостиничный номер, то уж природные и сельские виды сам Бог велел, хотя написаны виды и не в радужных, в сдержанных, серовато сумеречных тонах. «Домик в Раздолье», «Тверская деревня» — эллигически-печальная поэзия угасающего русского села, а картина «Закат» — великая трагедия села, образ брошенного, забытого миром, изветшавшего и остаревшего сельского жителя — его скорбный лик и видится в серых избах. Невольно воскликнешь: до чего ж, хриstopродавцы, вы Россию довели!.. Но художник не оставляет зрителя без надежды: в серии сельских пейзажей есть картина со странным, неожиданным названием «Письмо»... И не добротная, и не ухоженная хоромина изображена, и забор кривой-косой, да и крыша на сених чиненая-перечиненая, но — светло и величаво белеют ставни и карнизы

окон, желтеет свежая поленница дров, а самое отрадное, счастливое — белеет письмо в синеньком почтовом ящике; и верится, что не забыты, не брошены обитатели старенького сельского дома, что в письме добрая весть, что, может, вернутся к родному очагу домочадцы, разлетевшиеся по белу свету.

«...Естественно и органично соединяет художник в своих «простых» портретах, пейзажах, натюрмортах незыблемые принципы живописного реализма, сформулированные в своё время Крамским: «Без идеи нет искусства... Более того, без живописи живой и разительной нет картин, а есть благие намерения и только». Этой русской национальной традиции «выразительной речи», сплавливающей «идею» и «живопись» в одно неделимое целое, и следует Владимир Тетенькин, обогащая ее, и наполняя пульсацией современности». (Т. Драница)

Владимир Тетенькин, ведомо мне, частенько гостил у Валерия Зверева — даровитого живописца, сына известного сибирского писателя Алексея Зверева, на катере которого путешествовал по Байкалу. Художник живописал сибирское море-озеро — и умиротворённое, затаившее богатырскую мощь, и грозное, когда, словно дикие свирепые кони, летят ярые валы и, вздыбившись у скалистых берегов, взмётывают к небесам белые гривы. Но Байкал — и со-трудник рыбаков, и эдакое озеро — запечатлел художник в размашистом полотне *«Баргузин»*, как он выражался, *«на патриотическую тему»*. Любовь к морю-озеру и байкальским рыбакам, любовь, песенно и живописно воплощенная на холсте, одарила художника силой, одолевшей плакатность.

В пейзажной серии и два произведения (*«Безветренный день»*, *«Этюд»*), изображающие тихие покойные озерные заливы или речные старицы, глядя на которые невольно воскликнешь вслед за поклонниками Владимира Тетенькина: воистину, сибирский Левитан!..

Алёна Байбородина в очерке о художнике писала: «Когда я думаю о творчестве Владимира Тетенькина, мне представляется праздничная гладь Ангары, сияющее небо и множество солнечных бликов, которые плещутся в синих водах, словно золотые рыбки. Эта ассоциация не случайна. В каждой его картине, как солнечные блики, плещется радость, с которой художник писал очередную работу, — будь то могущественный Байкал или белоснежные берёзовые рощи, цветущая черёмуха или утопающая в зелени лесная тропинка. Это радостное чувство передаётся зрителю, и в этом, на мой взгляд, одно из главных достоинств художника. Его картины эмоциональны и праздничны. «Живописец, как актёр во время работы, должен быть взволнован, иначе интересной картины не получится», — говорил художник. Да и в дружеском общении Тетенькина часто называли «человек-праздник» — за его радостное отношение к каждому новому собеседнику, душевную трепетность, с которой он относился и к коллегам, и к своим ученикам».

Будучи добрыми приятелями, мы встречались с Владимиром Тетенькиным в его последние земные лета, степенно беседовали в мастерской; и осело в памяти его прощание с живописью: *«Раньше я вкалывал и ни о каком признании не думал. Вот в чём была потребность моей жизни. Я был влюблён в живопись. Работал я очень и очень много. А сейчас иногда пишу картины... во сне. Просыпаюсь, а ничего нет...»* Есть, Владимир Владимирович!.. есть Ваши картины, пробуждающие в зрительской душе любовь к ближнему, любовь к природе — Великому Произведению Божьему, что, Бог даст, и зачтётся в горнем мире во спасение души.

«Сумочка к ребру»



Литературные пародии

*Из подворотни выбрел пёс лохматый
И вдруг завоил, словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру.*

Из рассказа А. Вампилова «Сумочка к ребру»

Дорогие друзья! После долгих и мучительных размышлений принял я поистине судьбоносное решение: основать в нашем серьёзном журнале рубрику, несущую иронию, юмор, лёгкую улыбку, совершенно в стиле Александра Вампилова. Не злопыхательства и злорадства ради, а для пользы отечественной словесности. Итак, читайте и наслаждайтесь. Ибо в служении великой русской литературе все мы каждодневно сдаём экзамен. И кое-кто получает «неуд».

Ведущий раздела Степан Правдорубский

СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

* * *

*Люблю апрель в немытой майке.
Дорог, дерев примёрзший ком.
Когда девчонки звонкой стайкой
И парни с тихим матерком.*

Валерий Кириченко

Люблю апрель в немытой майке,
А май в нестираных носках.
Летят коровы дружной стайкой
И исчезают в облаках.

Почти стихами я стараюсь
Глаголить тихим матерком.
Я, братцы, вряд ли отстираюсь —
Коровы дарят новый ком.

* * *

Я бы стал поэтом, словно песня.

Валерий Кириченко

Я бы стал поэтом, словно песня.
Я напился вдрызг, как водка и вино.
Почтальоном топаю, как вести.
Буду плотником, ну, просто, как бревно.

* * *

*Ко мне вы не стучитесь в дверь,
Иные поэты.
Я не читаю вашу перь,
А древности куплеты.*

Татьяна Ясникова

Я не читаю вашу перь,
Зато грызу морковку.
Закрою окна, погреб, дверь,
Возьму свою винтовку.

Инаких не пущу к себе.
Приглажу кошке ушки.
Под страхом смерти я тебе
Спою свои частушки.

* * *

*В жаркий день безумная старуха
На окно мое глядела долго.
Отворю свою глазницу уха,
Отворю окна гнилую створку.*

Татьяна Ясникова

В жаркий день глядела длинным ухом,
Рот раскрылся зевом небывалым.
Но пришла безумная старуха —
Рот закрыть лоскутным одеялом.

Отворились створки гнилозубо.
Выпала рифмованная фраза.
Я сама себе давно не любя
От того, что уши разноглазы.

* * *

*Я схвачу судьбу за глотку,
Если вдруг она взбесится.
Но не дам с собою в лодке
В дикоморье погрузиться!*

*И напрасно злобный ветер
Станет в грудь мою ломиться.
Дух мой, будто буревестник,
В буре будет шибче биться.*

Юрий Коньков

Я сегодня буревестник —
Шибко громко бьюсь и маюсь.
Я, наверно, песен вестник,
В дикоморье погружаюсь.

По волнам гуляет лодка,
Кто-то в грудь мою ломится.
Я схватил судьбу за глотку —
Мне пора уgomониться.

* * *

*Да разве есть краше
Вас что-нибудь в мире?
Ой, как же чудесно
Вы жизнь озарили!*

*Вас долго не видя,
Мы грезим и плачем.
На темечке стоя,
Решаем задачи.*

Юрий Коньков

На темечке стоя,
Решаю задачу.
Вы жизнь озарили,
А может, иначе?
Вас долго не видя,
В истерике плачу.
А на ноги встал —
И всё стало иначе!

О себе и о грехе

Ольга Ушакова

Пагубность питья

Василий Скробот

Пил ровно месяц.
Протрезвел однажды.
Рассолу жёны поднесли попить.
И вот сижу и думаю: «А как же
Двух жён законных буду я кормить?»

Местный памятник

*Воздвигну из стихов я памятник себе,
Пусть не до небес, пусть масштабов местных...*

Виктор Бронштейн

Я мучаюсь с самим собой в борьбе
И пребываю в думах мне известных:
Хочу воздвигнуть памятник себе,
Чтоб переплюнуть графоманов местных.

Хочу в веках бессмертие продлить,
И на своём кадастровом участке
Себе — родному — памятник отлить...
Такое ведь случается не часто.

О памятнике млею всей душой,
И эта мысль во мне засела крепко.
Пусть памятник будет не большой,
Пусть с полметра или метр с кепкой.

Я бронзовею каждый час и миг,
Хочу быть медным, бронзовым, великим.
Чтоб знали меня: друг степей калмык
И папуас, и финн с тунгусом диким.

Купил асфальта я большой кусок —
Берут завидки даже Гимельштейна...
Но знает он «Восточки» голосок,
Что место здесь забито для Бронштейна.

За сим прощаюсь с вами, надеясь на скорую встречу, отклики и жду новых работ.

Ваш Степан ПРАВДОРУБСКИЙ



Иркутские литературные события

16 февраля — в ИОГУБН им. И.И. Молчанова-Сибирского совместно с Иркутским Домом литераторов был проведен круглый стол «А. Вампилов и кино: роль экранизаций в понимании творчества писателя». В обсуждении кино постановок по произведениям А. Вампилова приняли участие известные иркутские литературоведы: И.И. Плеханова, доктор филологических наук; Г.А. Солуянова, директор Культурного центра им. А. Вампилова; Н.М. Кузнецова, кандидат филологических наук, старший преподаватель Иркутского филиала ВГИК им. С.А. Герасимова; А.Г. Бондарев, кандидат филологических наук, а также иркутские поэты В. Скиф и С. Михеева.

15 марта — в Иркутске прошёл ряд мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина. Среди них:

— панихида в Знаменском женском монастыре г. Иркутска, возложение цветов на могилу В.Г. Распутина;

— торжественное открытие музея В.Г. Распутина.

На церемонии открытия к собравшимся, обратился глава региона Сергей Левченко. С речью, посвящённой памяти великого писателя, выступил специально прибывший на юбилейные мероприятия в Иркутск советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Художник Никас Сафронов вручил портрет Валентина Распутина.

Авторов и создателей музея поблагодарил сын писателя Сергей Распутин;

— открытие мемориальной доски на доме, в котором жил и работал В.Г. Распутин (г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 67).

На открытии присутствовали представители культурной и литературной общественности города. С приветственным словом выступил мэр г. Иркутска Д. Бердников;

— премьера спектакля по повести В. Распутина «Прощание с Матёрой» в Иркутском областном драматическом театре;

— спектакль ТЮЗа им. А. Вампилова «Земля у Байкала», в котором приняли участие поэты, члены Союза писателей России В. Скиф, В. Забелло, Ю. Баранов, С. Шегебаева, прочитавшие свои стихи, посвящённые В. Распутину, Байкалу, родной сибирской земле;

— в фойе театра также работала фотовыставка «Вниз по Ангаре», посвящённая В.Г. Распутину.

12 апреля — в Иркутском Доме литераторов прошла презентация поэтического сборника Г. Кольцова «Спасательный круг», на встрече присутствовал Андрей Тернов, руководитель Каширского лит. объединения «Зодиак», которым ранее руководил Г. Кольцов.

20 апреля — в Иркутском Доме литераторов, совместно с ИОГУБН им. Молчанова-Сибирского, состоялась презентация журнала «Сибирь» №1, 2017. Члены редколлегии выступили с обзором опубликованных материалов. В актёрском исполнении прозвучали стихи и рассказы из журнала.

19–25 мая — в Иркутске состоялся I Международный книжный фестиваль. В нём приняли участие 90 издательств и 50 писателей, поэтов, критиков из России, Германии, Израиля и других стран. В целом мероприятия и площадки фестиваля посетили 15 тысяч иркутян и гостей города. Состоялись лекции, презентации, автограф-сессии и концерты.

26 мая — по решению депутатов городской Думы звание «Почётный гражданин г. Иркутска» получил член Союза писателей России, руководитель иркутского землячества «Байкал» Валерий Хайрюзов.



Сибирские книги

Тулунские встречи Валентина Распутина: Впечатления. Воспоминания. Интервью. — Иркутск : Изд. центр «Сибирь», 2017. — 94 с.

Книга посвящена знаменитому писателю Валентину Распутину. Он неоднократно бывал в Тулуне и Тулунском районе, встречался с читателями своих книг, посещал храм и библиотеку, ездил в тайгу, отдыхал на базе «Казачка Ия». В книгу вошли отзывы читателей, встречавшихся с Валентином Григорьевичем, газетные публикации, а также воспоминания и беседы, подготовленные специально для этого издания.

Распутинское слово и сегодня через годы звучит страстно, неизменно правдиво, искренне и проникновенно.

Рекунова В.М.

Иркутские истории. 1914–1916. — Иркутск : [б.и.], 2017 — (Тип. «Принт Лайн»). — 415 с.: ил.

В новой книге известного иркутского историка, краеведа В.М. Рекуновой, автора беллетристических хроник, повествуется о жизни иркутян в 1914–1916 годах. Основой для литературной реконструкции послужили подшивки старых газет. Из них вышли все сюжеты, изложенные лёгким слогом с оттенком иронии. Книга иллюстрирована фотографиями той эпохи и содержит много справочного материала.

Кольцов Г.

Спасательный круг: стихотворения. — М. : ММТК-СТРОЙ, 2017. — 167 с.

В поэтический сборник вошли лучшие стихи талантливого сибирского поэта Георгия Кольцова. Он являлся участником знаменитого Читинского совещания писателей 1965 года, одним из авторов сборника «Зерна» (1966), персональной книги стихов «Корни кедра» и других многочисленных публикаций. Стихи Георгия Кольцова отличаются особой проникновенностью и пронзительным звучанием. Главные его темы — любовь к Родине, матери, природе Сибири. Всё творчество поэта пронизано любовью к жизни, которая, увы, выдалась у него, такой недолгой...

Книга «Спасательный круг» выпущена к 72-летию со дня рождения поэта.

Барановский Б.

Человек о человечестве: к 80-летию Александра Вампилова. — Усолье-Сибирское : [б.и.], 2017. — 72 с.

Усольчанин Борис Барановский делится воспоминаниями об Александре Вампилове, о совместных с ним годах учёбы в Иркутском университете (1957–1960), анализирует его творчество, представляя свою трактовку самой «загадочной» пьесы драматурга «Утиная охота».

Орлов М.

Прозой о поэзии : сб. ст. — Братск : Полиграф, 2017. — 104 с.

В книгу вошли литературно-критические и публицистические статьи, «написанные в разное время и на разные темы», но всех их объединяет личное воззрение автора на поэзию в целом. Кроме того, в книге читатель найдёт статьи о творчестве известных российских поэтов Л. Мартынова, Е. Евтушенко, Ю. Кублановского, В. Козлова.

Корбут С.

Мир открыт для любви: стихи. — Иркутск : [б.и.], 2017 (Тип. «Форвард») — 128 с.

Член Союза писателей России Сергей Корбут — автор поэтических книг «Все стихи-2005», «Себе навстречу» (2015) и «Проза жизни. Стихи» (2016). В книгу «Мир открыт для любви» вошли стихи, написанные в разные годы.

Кузьминский О.

Урок географии: книга стихов. — Иркутск : [б.и.], 2017 (Тип. «Репроцентр А1»). — 44 с.

Третья книга иркутского поэта, члена Союза российских писателей, Олега Кузьминского, в которой он подводит итог своему детству, юности, молодости и заходит в зрелость — по тем же самым дорогам, вспоминая и обдумывая прошлое. Это в полном смысле «географическая» книга, дороги её узнаваемы, а финал — открыт. Автор продолжает свой путь...

Баранов Ю.

В поисках тайны Ремеза: историко-приключенческая повесть. — Иркутск : [б.и.], 2017 — (Тип. «Принт Лайн»). — 86 с.: ил.

В марте 2017 года в Иркутске вышла историко-приключенческая повесть для детей и юношества «В поисках тайны Ремеза», её написал известный прозаик и поэт Юрий Баранов. Повесть посвящена гениальному русскому самородку, великому географу, художнику и историку Семёну Ульяновичу Ремезову, автору уникальной Сибирской летописи, им же проиллюстрированной, а также многих других выдающихся работ. Книга вышла в год 375-летия со дня рождения С.У. Ремезова. Она явилась своеобразным продолжением повести Юрия Баранова «Иркутский драгун Лешка, или Тайна Наполеона», рассказывающей о событиях Отечественной войны 1812 года.

Автором идеи книги «В поисках тайны Ремеза» стал Аркадий Елфимов, председатель общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». С его статьей «Герои на все времена», посвящённой книге Ю. Баранова, читатели смогут познакомиться в разделе «Критика» в этом номере журнала.

Анохина Е.

Кто-то пролил молоко... очень много! — Иркутск : Рекламаград, 2016 — 36 с.: ил.

Новая книга молодого иркутского поэта Елены Анохиной предназначена для детей младшего школьного возраста. Это сборник забавных, весёлых стихотворений, написанных автором со знанием детской психологии, а главное, с большой любовью к маленьким читателям. Стихи не оставят равнодушными и взрослых, они с удовольствием окунутся в мир детства, который с большим мастерством представляет автор.

Книга прекрасно иллюстрирована художником Ю. Ружниковой.

Редакция журнала «Сибирь» приносит извинения фотохудожнику Б.В. Дмитриеву за то, что в № 2 за 2017 г. были использованы его фотографии без указания авторства.